- "ЭТА ШТУКА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ "ФАУСТ" ГЕТЕ"

(Феликс Розинер, стр. 4)

- ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДИКТАТУРА — ИЗРАИЛЬСКИЙ ВАРИАНТ

(Бени Пелед, стр. 96)

- ГОМУЛКА, ГЕРЕК и БРЕЖНЕВ

(А. В. С., стр. 153)

- ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

(Майя Каганская, стр. 177)

- ГОЛГОФА КАЖДЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

(Георг Бен, стр. 203)

22

МОСКВА ■ ИЕРУСАЛИМ

№ 17 ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 1981

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

17

ТЕЛЬ-АВИВ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1981

ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:

В. Богуславский
А. Воронель
Н. Воронель
Э. Кузнецов
Ю. Меклер
Р. Нудельман (гл. ред.)
Н. Рубинштейн
Я. Цигельман
И. Чаплина

секретарь редакции
М. Бар-Ор
корректор
Н. Островская
технический редактор
Н. Рубина
Оформление номера
В. Богуславский

Адрес редакции: ул. Снапир, 11, кв. 25, Тель-Авив
Тел. (03) – 394525
Корреспонденцию направлять по адресу: "22",
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Представители журнала за рубежом:

Англия: 1. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England.
Франция, Швейцария: D. Fradkin, 23 rue Dancet 1205, Geneve, Swisse.
ФРГ: L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.
США: L. Khotin, 51 Lincoln Ave., Daly City, Ca. 94015, USA.
Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages, Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA.
J. Tuvin, c/o Waters Associates Inc., Maple str., Milford, Mass. 01757, USA.
Y. Kitaevich, 1297, Meadowbright Lane, Cincinnati, Ohio, 45230, USA.
A. Englin, 66-10 Thornton Place, apt. 6E Rego Park, N. Y. 11374, USA.

Отвергнутые рукописи не возвращаются

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПРОЗА
Ф. РОЗИНЕР. Три капли адамового ногтя 4

КРУГ РАССКАЗЧИКОВ
А. ГОЛЬДМАН. А может, крокодил 54
Ш. РОЖАНСКАЯ. Привяжись к мачте 62
Ю. МИЛОСЛАВСКИЙ. Скажите, девушки, подружке вашей 83

ПОЭЗИЯ
А.В. Стихи из России 93

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Б. ПЕЛЕД. А хотели ли мы 96

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
"Мы не можем ждать еще две тысячи лет!" (интервью с Б. Пеледом) . . . 108

ПОЛЕМИКА
М. ЮРЬЕВ. Демократия как форма диктатуры 123
В. БОГУСЛАВСКИЙ и А. ВОРОНЕЛЬ. Над статьей М. Юрьева 132

СУДЬБЫ ИДЕЙ
Э. РЭНД. Права человека 143

У КАРТЫ МИРА
А.В.С. Польша 1956-1970-1980 153

РУССКИЙ ВОПРОС
В. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. Почему советские рабочие
пассивнее польских? 163

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ
Н. ВОРОНЕЛЬ. ...И все начать сначала. 172

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ
М. КАГАНСКАЯ. Остановка в пустыне. 177

ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ
Г. БЕН. Новость, которая всегда нова 203

СРЕДИ КНИГ 215

На последней странице обложки: А. Окунь "Портрет М. Каганской".

Феликс Розинер

ТРИ КАПЛИ АДАМОВОГО НОГТЯ

© Copyright автора

Забывается, как известно, все, и теперь, конечно, мало кто помнит о мюнхенской выставке „Искусство 60-х". Между тем, шум, поднявшийся вокруг одного из ее экспонатов, работы Адама Авири „Симультанные игры", не утихал года два. Искусствоведы, правда, отнеслись к творению Адама с немалой долей скептицизма: принцип симультанности, говорили они, для нас вовсе не нов, а что до коммерческой стороны дела, то тут уж пусть судят торговцы, а не мы, так сказать, жрецы Аполлона. Чувствовалось при этом, что скептицизм критиков вызван растерянностью: они просто не знали, по какому ведомству числить работу Адама — назвать ли ее видом абстрактной живописи, или отнести к искусству мультипликационного кино, или просто посчитать развлекательным аттракционом. К последнему из этих мнений склонялись многие, причем консерваторы вкладывали в свое определение смысл издевательский (говорили, например, не „симультанное", а „симулятивное"), тогда как критики левого толка восторженно писали именно об *„аттракционизме"* Адама Авири как о решающем новом слове в искусстве, — которое, как все мы знаем, безнадежно зашло в тупик где-то во времена наших дедушек... Так или иначе, о си-

мультанных играх говорили все. Созданию Адама посвящали свои страницы солидные еженедельники, работу показывали в Париже и в Музее Гугенхейма. Однако потом все как-то заглохло. Коммерческий эффект, который, по предположениям, мог быть фантастическим, свелся лишь к тому, что дала демонстрация экспоната на нескольких выставках: люди, которым предоставлялась возможность „играть в симультанные игры", подлинно были только людьми, то есть тварями хоть и Божьими, но без Божественного огня, с ленивым воображением и с тугодумным рассудком. Игры вели к спонтанному творчеству, а люди хотели пустых развлечений, почти всегда этап выбора у них оказывался связан с дурным эротизмом, и около демонстрационного экрана царил дух то кафешантанного веселья, то плохо скрываемой неловкости. Кто-то из меценатов, обещавших вложить в создание коммерческого варианта „Игр" немалые деньги, потребовал изменить живописные серии и если не убрать, то значительно уменьшить возможности сексуального изовыражения. Адам отказался, и меценат не дал ни гроша. Начались неприятности и с компаньонами, сооружавшими экспонат: они захотели соавторства. Свое желание они обосновывали тем убедительным доводом, что составление программ тоже несет в себе элемент творчества. Действительно, Адаму Авири как автору принадлежали, разумеется, собственно живописные серии и сама идея „Игр", которая заключалась в реализации ряда последовательных и одновременных творческих элементов, а именно — выбора, наложения, выявления и движения. Живописные серии служили исходным материалом, который посредством реализующих действий получал свое визуальное воплощение на экране. Эти действия, допускавшие практически бесчисленное количество вариаций, производил художник-интегратор, то есть любой садившийся перед экраном и желавший проявить в симультанной игре свои творческие устремления. Интергратор просматривал какую-либо из выбранных живописных серий и после ряда пробных попыток, а при желании — сразу, следуя лишь интуиции или случайным комбинациям изображений, переходил к одновременной реализации трех процессов, которые и составляли саму игру: набор мануалов позволял управлять происходящим на экране, где возникали и растворялись в небытие, проявлялись, проникая одно сквозь другое, двигаясь и замирая, обретали яркость и темнели совмещенные друг с другом картины живописной серии. Сквозь пейзаж могло проступить лицо, в его приближающихся контурах

всплыть, как в памяти, детская комната с брошенной куклой, смениться чудовищной мордой, оскал которой переходил в обворожительную улыбку женщины, появлялось и женское тело, возлежащее на постели, ее засыпало цветами, сверкала молния из облаков, клубился вулкан, его поглощала пучина вод, из которой в бездонное черное небо взмывал серебристый корабль, уносившийся к звездам и к сонмам бесчисленных ангелов... Такой, примерно, набор безнадежных банальностей мог реализовать какой-нибудь турист-американец, чье воображение не простиралось дальше того, что могли вложить в его сознание картинки телевизионных уик-эндов. Студент из Сорбонны, который с тоской, как о лучших своих временах, вспоминал те прекрасные дни, когда с сотоварищами лихо громил он Латинский квартал, реализовывал это недавнее прошлое в неких абстрактных видениях, где тьма, потоки крови, блеск железа и битых стекол мешались в одно с громадными гениталиями, вдруг начинавшими раскачиваться с устрашающей силой, грозя сдвинуть с места и сокрушить весь этот столь неустойчивый мир... И так далее. Юные существа в белоснежных передниках, садясь за манипулятор, витали в розовом и голубом одной из пастельных серий, которую Адам написал специально для девственниц; пенсионные старики тянулись пребывать средь райских кущ под кирпичного цвета двускатной крышей, ютящейся между плодоносящими яблонями; интеллектуалы, которые, пожалуй, с наибольшим энтузиазмом отнеслись к симультанным играм, почти без исключения выбирали полуабстрактную серию, составляя из ее набора блистательную и, однако, весьма безысходную картину блужданий некой фигурки, напоминающей человека, внутри светящихся решеток и вложенных одну в другую сфер. Это тоже было банально, только на ином, так сказать, философском уровне. Лишь музыканты и парижские алкоголики (последних Адам Авири сам затаскивал к маникулятору и даже платил им немного) выбирали лучшие из его серий и творили действительно стоящие комбинации, в которых уже и Его Величество Секс оказывался вполне уместен, как бывает уместен монарх при наличии демократических институтов... Словом, как было сказано, все эти симультанные элементы творчества — наложение, выявление и движение — были тем, что составляло всю суть, саму идею работы Адама. Взяв в компаньоны трех человек — программиста-математика, специалиста по управляющим устройствам и художника-дизайнера, он смог превратить свою идею в действую-

щий экспонат. Деньги на него дала одна из крупных химических фирм при том условии, что в каждой из творческих реализаций „Игры" будет жестко запрограммировано тройное появление рекламы этой фирмы. Кстати сказать, меценат, обещавший и не давший деньги на новый, уже коммерческий образец, был главой другой, конкурирующей с первой, химической фирмы. Адам подозревал, что меценат отказался от финансирования вовсе не из моральных соображений, а лишь потому, что у прежних покровителей дела шли хуже и хуже, несмотря на столь выразительную рекламу. Возможно, меценат был суеверен. Так или иначе, денег не оказалось, компаньоны предъявляли претензии на авторство, Адам же в этом не уступал, утверждая, что программирование, сколь бы оно изобретательным ни было, никак не относится к области художественного творчества и является наукой, тогда как компаньон-математик, имевший, ни много ни мало, докторскую степень, нанял адвоката, умело приводившего доказательства в пользу того мнения, будто программирование такого уровня — это уже не только наука, но в большей степени искусство, что устраивало и присоединившегося к математику дизайнера, который тоже, само собой разумеется, делал только искусство. Третий — инженер-электроник — не захотел отставать, и его позиция была хотя и более уязвимой, зато полной здравого смысла: „Как же ты не понимаешь, Адам, — говорил он, — если они двое хотят быть твоими соавторами, зачем мне оставаться в дураках?" Именно этот обезоруживающий своей простотой подход к делу был той каплей яда, испив которую, Адам почувствовал, что хватит с него этой гнусной возни, он ею сыт по горло, и симультанная погоня за несколькими химерами сразу — за деньгами, славой, свободой, любовью дорогостоящих женщин и, страшно даже повторить, за *истинным творчеством* (когда при нем по его же адресу восторженно произносили это звучное словосочетание, он начинал цинично и громко хохотать) — вся эта погоня грозит раздавить, уничтожить его, как будто бы мчится не он за химерами, а они сами вот-вот настигнут его, и все кончится разом. У Адама оставалась еще вполне сносная сумма. Завершался показ на „Бьеннале" в Венеции, и, не отвечая больше ни на какие предложения, он погрузил „Симультанные игры" в трюм какой-то старой лохани, забрался в каюту первого класса и не выходил из нее, пока пароход не доставил его домой.

Здесь о его триумфах и поражениях, конечно, знали, и возвра-

щение Адама Авири живо обсуждалось. К чувству гордости за своего соотечественника, которое почти без исключений разделялось всеми, примешивались недоумение и даже нечто похожее на обиду: никто не мог понять, почему Адам с недвусмысленной твердостью заявил, что свою работу демонстрировать не станет. При этом он сослался на неполадки в установке, но было ясно, что это лишь отговорка. Преобладало мнение, что, как видно, подписан какой-то крупный контракт, который связал Адама особым условием не выставлять до поры до времени своей работы. Он просто-напросто ждет, говорили о нем. На самом же деле Адам пребывал в полнейшей прострации. Стояла сильная жара, воздух от моря тянул душной влагой, загрязневшие смятые простыни раздражали кожу, но Адаму и в голову не приходило их сменить. Целыми днями голый валялся он на кушетке, вставая лишь по нужде или чтобы окатить себя под душем. Мальчишка из лавки приносил еду, кока-колу, вино и газеты. Вечерами кто-нибудь заглядывал, случалась иногда и партия в покер, и он обычно в пух проигрывался, после чего со сладостным удовольствием крутил авторучкой нули, вписывая в чек кругленькую сумму. Адам смутно чувствовал, что жизнь, как тот лоханистый пароход, на котором он приехал, поворачивается к нему толстым своим проржавевшим, но крашенным-разукрашенным боком, и на нем большими буквами горит надраенное юнгой слово, но постичь его смысл невозможно. Как в тех же его симультанных играх, плыло перед ним в разогретом пространстве изображение мальчика в шапке-ушанке, он тянет вверх на обледенелый откос пустые саночки, ложится на них животом, рыхлый снег мелькает у лица, и санки, как будто они лопата в чьих-то руках, подкидывают его, чтобы мог он увидеть небо на миг и чтоб теперь он во вкусе пота смог ощутить вкус крови, потянувшейся ко рту из ноздрей. И это, как он знал, было все, что осталось в нем от Сибири. Адам не имел представления, сколько времени там мальчик-саночки пребывал, в этом тесно звучащем „сибирь", так уж было, что он раз от разу взбирался и скатывался и лизал языком свою кровь и взбирался и скатывался — безымянный, совсем не Адам, и лицо ускользает, чему есть объяснение — именно то, что все смотрится изнутри — из лица, и внешняя лепка его имеет картину обратной, отторгнутой маски, в которой наружное сходство не узнается. Туда, в эту полость лица, помещается город, который весь открывается с башни, костелы со сдвоенными колокольнями из-за условий внутрисферического бытия клонятся друг к другу,

почти смыкаясь крестами, по старым стенам проползают трещины, осыпается с крыш черепица, но можно спуститься вниз к улицам, там параллельность, хоть и не совсем, но восстанавливается, и это позволяет вместе с Анабель — Анна-Белла-Анабель — поместиться в двугранность угла меж стеной ее дома и кладкой кирпичной ограды. Оштукатуренная поначалу, ограда прежнюю свою поверхность потеряла почти всю, остался от нее один лишь Анатолийский полуостров, но на нем вместо „Турция" — краткое русское слово, которое для Анабель и не было словом, а только набором наклонных прямых, но все равно оно настойчиво старалось отделиться от стены и потому то и дело виделось сквозь Анабель, которая часто дышала. Тут, рядом с Анабель, прижимаясь к ней с робостью и с поспешностью отвлекая от нее свой зыблющийся торс, едва она, чуть отклоняясь, давала понять, что стыдливость возобладала, и ей поэтому надо на краткий и столь нежеланный миг хоть чуть уступить, — тут Адам, безусловно, видел себя, причем, кое-где на его ипостаси существовали детали, реальность которых не подлежала сомнению. Так, стриженый затылок имел фасольной формы родинку, и если бы Адаму вздумалось сейчас отрезать свои слишком длинные патлы, эта метка из-под волос появилась бы, однако Адам никак не припоминал, что когда-то ее рассматривал, приставляя, например, к затылку зеркальце и глядя в другое. Или складки-вытачки на спине рубашки, он тоже их никогда не видел, однако рубашку знал по фотографии, оставшейся от того дня, когда Адам и Анабель поехали однажды на чью-то дачу. Были вытачки, но каковы манжеты, этого сказать не удавалось, и тем же скрытым образом вели себя не только сами рукава, но и торчавшие из них руки, которые поддерживали Анабель, — они ощущались в пространстве, имели вес и протяженность, но не объем и не очерк: спина, затылок, также и лицо и грудь, обращенная к нежной груди Анабель, — все это, верно, было, но не сказать, что та же уверенность могла относиться и к остальному, неотъемлемому от того, что звалось Адам. Тогда он был Адам Авирис — на литовский лад: из Сибири семья возвратилась в Вильнюс и сколько-то в нем прозябала в беспамятстве, в оцепенении, словно загодя зная, что жернов судеб еще подберет под себя недомолотое. И так обернулось, что сгинувший в гетто Варшавы отец вдруг воззвал к ним из пепла: когда началась неожиданно репатриация в Польшу, один из Авири прислал им фальшивку, сказавшись их живым главой семьи, они снялись с места, и Адам готов себя обнаружить среди

сборища громко орущих варшавских студентов. На факультете прикладных искусств он оказался в числе наиболее левых. Никто не замечал, что чистая абстракция редко когда его привлекала, важно было, что талант Адама был признан даже крайне консервативными профессорами, и потому, едва возникал какой-то скандал — с манифестом, протестом и, в результате, с репрессиями, — без студента Авири Адама, или, как его знали в варшавской богеме, Адама Кудлатого, дело не обходилось. К началу последнего курса за ним числились два первых места на общепольских конкурсах, с полдесятка подписанных им воззваний и писем к властям, три предупреждения об исключении из академии искусств и хотя всего и одна, зато вполне серьезная беседа с полковником безопасности. Беседа состоялась незадолго до того, как начались события в Венгрии, а когда варшавский резонанс их пошел на спад, стало очевидно, что свои познания в прикладных искусствах Адам сможет применить лишь для раскраски тюремных стен в цвета успокоительных тонов.

В самолете, который впервые приблизил Адама к тому отдаленному пестрому краю срединного моря, где в жаре без одежд, без надежд, без сколько-нибудь возбуждающих душу желаний лежал он сейчас, пришло ему в голову, что он будет здесь жить, как художник Гоген. С недоумением и любопытством наспех обсмотрел он мир, чей вид во всем зависел от неудержимых оргий солнца, способного мгновенно возбуждать любой чуть теплящийся цвет до буйства и бесстыдств. Адам неоднократно наблюдал, как при этом цвета отделялись от плоти предметов чуть ли не с воем и скрипом, как если бы от ящика, сдираясь со своих гвоздей, вдруг отлетали стенки, стремясь избавить свои спины от бремени объема, ими же коллективно созданного, но такого пустого, бессмысленного и ненужного им. Под самовластьем цвета сомнительно само существование вещей — примерно так Адам Авири сформулировал идею одной из первых своих работ. Желавший увидеть ее входил в небольшую темную камеру, внезапно вспыхивал резкий свет, и все вновь исчезало. Зрители всегда могли сказать после этого „красное", „желтое", „золотое" и „что-то блестящее", но никому не удавалось рассмотреть, что увиденное было композицией из апельсиновых корок, двух сигаретных коробок и пивной банки, которые располагались на поверхности привезенного из пустынных мест песка и частично были погружены в него. Адам много работал с песком, считая его материалом, способным с большой

выразительностью воплощать процессы исчезновения. Песочные часы разных форм и размеров стояли у Адама повсюду — на столах, на книжных полках, на полу, были даже подвешенные к потолку. Он покупал их, где только возможно, старинные песочные часы торговцы антиквариатом разыскивали и заказывали за границей специально для него. Даже теперь, в своем нынешнем состоянии полного безразличия, Адам, когда приходилось вставать, машинально следовал привычке переворачивать то одну, то другую песочную колбу. Бесцельно глядя на течение колеблющихся струек, он сам перетекал совместно с ними, весь воплощенный в их мельчайшие частицы, разъединенный, ниспадающий сквозь узкие врата мгновений — от самого себя к себе же, но переставленному, перевернутому, измененному и все-таки, как прежде много раз, опять приобретающему форму той стеклянной оболочки, в которую он был однажды воплощен и из которой невозможно выйти, не расколов ее и не распавшись в мириад рассеявшихся по земле песчинок. В один из дней, сморенный духотой, он среди дня уснул, проснулся же при льющемся через окно сиянии луны, остановившейся над морем. Холодные ее бесцветные лучи просвечивали через выпуклость стекла больших часов, которые Адам переворачивал, он помнил, незадолго перед тем, как погрузиться в сон. Часы работы мастера из Венеции, соорудившего их двести с лишним лет назад, — орехового дерева оправа была исполнена в хорошем, неиспорченном барокко, — имели суточную меру времени. Адам смотрел на пустую верхнюю половину колбы и видел, что она наполнена одним лишь лунным светом. Во всех других — даже лишь с пятиминутным запасом песка часах, стоявших на низеньком столике у кушетки тут же, перед лицом Адама, — текли чуть дрожащие струйки, которые в лучах луны отблескивали водой. С той же безотчетностью, какой определялось в эти дни его существование, Адам отметил, что все наблюдаемое им бесспорно говорит о невозможности употребить здесь логику и здравый смысл. Это с самого начала избавляло от желания задуматься над тем, что было за пределом досягаемости разума, и, может, только потому Адам не потерял рассудка. Он поднялся, перевернул большую колбу и, убедившись, что течение песка возобновилось, лег на кушетку, и вновь уснул.

На следующий день Адам Авири встал рано утром. Выйдя из дому, он первым делом зашел к женщине, убиравшей у него, и оставил ей ключ, чтобы в его отсутствие она могла навести в квар-

тире порядок. Потом наскоро выпил кофе в ближайшем баре, хозяин которого сказал ему: „Ну, слава Богу, ты наконец появился, а то не знаешь, что и подумать. Ты не болел?" Адам кивнул, не слишком вежливо пробормотал „болел, болел", расплатился и направился в банк, где попросил дать справку о деньгах, имевшихся на его счете. Врученная ему бумажка с цифрами оказалась еще не слишком плоха. Здесь же в банке он спросил, не укажут ли ему хорошей посреднической конторы по аренде и купле-продаже торговых и деловых помещений. Ему дали адрес. Двумя часами позже Адам был в одном из оживленнейших кварталов центра и рассматривал высокий просторный зал с витринной передней стеной, соседствовавшей с ресторанчиком, в котором завсегдатаями были журналисты, музыканты, художники и актеры. Кто-то из знакомых заговорил с Адамом, и назавтра в утренней газете уже можно было прочесть, что впервые после триумфальных турне по Европе и Америке художник Авири вчера появился на людях. „Свои планы художник хранит в секрете, — сообщала газета, — однако ходят слухи, что он хочет открыть галерею. Если это так, то мы, без сомнения, скоро увидим его „Симультанные игры" и даже сможем принять в них участие. Художественное воображение — большая редкость, тем не менее каждый уверен, что обладает им. Мы бы посоветовали Адаму повесить на двери галереи табличку: „Лицам с отсутствием воображения рекомендуется не входить". Табличка послужит лучшей приманкой, и у владельца галереи не будет отбоя от посетителей".

Но острословие репортера пропало впустую. Адам в самом деле открыл галерею, но „Симультанных игр" там не было. Под вывеской „Контраст — гармония. Адам Авири" располагалось вполне респектабельное заведение, поначалу казавшееся магазином по торговле мягкой комнатной мебелью. Входившие бросали первый взгляд на кресла, столики, кушетки и шезлонги и только затем обращали внимание на картины, развешанные по стенам. Адам Авири давал пояснения. Законы красоты просты, с улыбкой начинал он. Вы можете прочесть десятки монографий по эстетике, как это некогда проделал я, продолжал художник, но неизбежно придете к выводу, что вся их премудрость — это те два слова, что написаны на моей вывеске: контраст и гармония. Это противоположные принципы. Вы выбираете любой из них, совершенно произвольно или следуя своим соображениям. Разумеется, есть определенные различия, и тут полезно кое-что принять в расчет. Предпо-

ложим, — продолжал Авири, увлекая меж тем посетителя в уголок, где стояли письменный стол, рабочее кресло и книжная этажерка, — вы хотите создать обстановку спокойствия и сосредоточенности, в таком случае применим только принцип гармонии, не правда ли? Взгляните на картину. Она вам может нравиться или не нравиться, и разумеется, я, автор, меньше всего могу вслух рассуждать о ее живописных достоинствах; но вы должны согласиться, что картина, как я говорю, *гармонически презентативна.* Тогда как — прошу вас сюда — ... Посетитель продолжал еще смотреть на гармонически презентативную картину, где был изображен залив с вечерними водами, группой деревьев на берегу в отдалении, с рыбацкой лодкой и сетями на переднем плане, — тогда как, — прошу вас сюда... Адам предлагал пройти к другому кабинетному скоплению рабочей мебели. Примерно та же ситуация, не правда ли? — показывал он. — Но здесь вы принимаете заказчиков. Среди них иностранцы, да и вообще народ разнообразный, обычно спешащий и возбужденный. Здесь уместна картина *контрастной презентативности,* активная и динамичная. Я думаю, вы согласитесь, что роль этой моей картины именно такова, — заканчивал Авири свой вступительный монолог, и все, кивая головами, подтверждали, что абстрактная композиция из несмешанных ярких пятен, напоминающая чем-то обнаженный женский торс, была контрастно презентативна по отношению к солидной обстановке делового кабинета. Адам Авири далее подробно обсуждал, какой из принципов заказчик хочет выбрать, советовал, выслушивал, высказывал сомнения и случалось даже, что отговаривал покупателя приобретать понравившуюся картину и предлагал купить другую, пусть и много меньшей стоимости: важно было наилучшим образом соблюсти соответствие принципу.

Спустя два года предприятие Авири действовало столь активно, что он не мог обойтись без помощников. Теперь Адам редко бывал в галерее, и обработкой ее посетителей занимался уже молодой человек по имени Альфред, который ради прибыльной службы бросил университет. Два паренька готовили для Адама подрамники, натягивали холсты, нарезали стекло и вставляли картины в рамы. Сам он работал с семи до одиннадцати в ателье, успевал сделать за утро одну, две или три картины — в зависимости от размера. Ровно в четверть двенадцатого, просмотрев газеты и покончив с чашечкой кофе, он отправлялся к заказчикам для „визуальных погружений". Необходимость в них возникала не всегда,

но по крайней мере в половине случаев об этом просили сами заказчики, а нередко маэстро Авири передавал через Альфреда, что для успешной работы он нуждается в погружении. Разумеется, стоимость его входила в стоимость заказа. Это был особый способ обслуживания клиентуры, придуманный и введенный в практику Адамом Авири. И пожалуй, ничто так не способствовало успеху его предприятия, как примененная в его галерее новинка — „визуальное погружение", некая творческая акция художника, суть которой составлял особый способ постижения глубоких связей между интерьером и замышляемой картиной. Расспросов заказчика, утверждал Авири, обычно бывает недостаточно, чтобы эти связи стали ясны для художника. Точно так же и цветные фото, к которым иногда художник прибегал, нередко оказывались бесполезными. В сложных и наиболее интересных с творческой точки зрения случаях художник ощущал необходимость личного проникновения в дух интерьера. Для этого он сам приезжал к заказчику, осматривал помещение и наблюдал в течение краткого периода жизнь, протекавшую среди стен, на одной из которых и надлежало в дальнейшем висеть его нерожденной еще картине. Характеры и эмоции тех, чье постоянное или временное присутствие в помещении определяло его атмосферу, интересовали маэстро Авири не меньше, чем цвет обоев, освещенность или стиль обстановки. Но собственно „погружение" начиналось с того момента, когда художник просил оставить его, так сказать, один на один с интерьером. Минут двадцать — полчаса проводил художник в полной тишине и чаще всего в неподвижности, и легко догадаться, что таинство акта творения — зачатие будущего полотна тогда-то и совершалось. После этого, задумчивый и усталый, покидал Авири заказчика, роняя немногословно: „Ну что же... кажется, ясно... посмотрим, посмотрим..." В папке у него лежали уже эскизы, назавтра переводившиеся в картину.

„Что в этой жизни лучше постоянства?" — говорил себе Авири. Случалось, этот же вопрос он обсуждал и вслух, сидя вечером с компанией знакомых за столиком открытого кафе.

— Кое-кто утверждает, что перемены необходимы, — философствовал Авири и качал своей кудлатой все еще, но начинавшей седеть головой. — С меня перемен довольно.

— Ну-ну, а банковский счет? — веселится кто-то. — Ведь он меняется — ну хотя бы за счет процентов? Если это тебя беспокоит, я могу стать твоим избавителем, хочешь?

— А женщины? — среди общего смеха спрашивают Авири. — Может, ты позавчера женился?

— Ах, это было бы ужасно! — щебечет милый голосок. — Адам, я так ждала, что ты наконец сделаешь мне предложение! Неужто для меня все потеряно?

— Сдаюсь, сдаюсь! — объявляет Авири. — Чем больше денег, тем лучше, и чем больше женщин, тем тоже лучше, согласен! Но это все, так сказать... поверхность моря житейского...

— Нахал! — заявляет одна из присутствующих.

— Прошу прощения у дам, — прикладывая к сердцу руку, говорит Авири. — Но если обратиться к делу, — я не имею в виду одно лишь искусство, я готов вести речь о цивилизации в целом, — чем были для человечества перемены?

Его начинали слушать, и Авири, не скрывая парадоксальности своих мыслей, а напротив, бравируя ею, доказывал, что история цивилизации — это ода во славу человеческой лени и глупости. Она, людская лень, породила не только нынешние средства передвижения и все эти автоматы, будто бы облегчающие труд рабочих, но она же, лень, обожествила ту всеобщую глупость, по которой выходит, что люди, надрываясь по восемь часов ежедневно, трудятся лишь для того, чтобы высвобождать время для работы над все теми же вещами, которые освобождают время и труд. Меж тем средневековый ремесленник и земледелец, как выяснилось, работали в течение года в среднем по три-четыре часа в сутки. В виде символа общей нелепости Адам приводил пример застежки-молнии: вы, женщины, с ума посходили бы от счастья, если бы вам дали древнеримские булавки-фибулы вместо этих дурацких молний — и так во всем: нет ничего стоящего из того, что накопилось на свалках цивилизации, в том числе и на свалках искусства, поскольку и в нем времена античной давности оказались непревзойденными, и, кстати сказать, пример — та же фабула: попробуйте решить, что в ней искусство и что ремесло, где кончается утилитарность и где начинается эстетическое? Цивилизация подобна взмыленной цирковой лошади, бегущей круг за кругом по арене истории, и лучше бы этой старой кобыле пастись, как некогда ее дикие предки, на воле, пощипывать травку и пить из болотца.

В тирадах Авири, не в их простых, довольно несамостоятельных идеях, а в странной интонации, с которой он их произносил, слышалось что-то, заставлявшее взглядывать на художника внимательно и с тревогой. Особенно поддавались этому чувству тревоги

женщины, как создания, более чутко воспринимающие настроение и окраску речи, нежели ее логику. Но и мужчины ощущали нечто, поскольку они, усмехаясь и пожимая плечами, только слушали, и редко бывало, что кто-то хотел подать свою реплику в ответ на слова Адама. Что в нем таилось? Этого не знал никто, не знал и он, Адам Авири, который, вполне довольный собой и своей работой, затевал эти длинные монологи о лени и глупости цивилизации, вероятно, лишь потому, что для его житейской *гармонии* была необходима толика *контраста* — в соответствии с принципом, начертанным на вывеске „Контраст — гармония. Адам Авири".

Дела в галерее шли лучше и лучше. Люди не знали, куда девать деньги, искусство все больше входило в моду, и на пестрой ярмарке красок и форм товар художника Авири покупался едва ли не быстрей, чем автор успевал его производить. Ему понадобилась секретарша — для переписки и оформления финансовых бумаг, и Адам как раз собирался дать в газету о том объявление, но случилось так, что в галерею к нему пришла молодая женщина, которая уже спустя два дня сидела за канцелярским столиком в служебной комнатке, расположенной сзади большого зала. Она явилась к Авири после звонка от одного из антикваров, сказавшего, что в галерею сейчас принесут кое-что любопытное. Тонкая, стройная, с длинными прямыми волосами женщина, храня на открытом, почти что детском своем лице пугающую отрешенность, развернула пакет, и Авири увидел небольшие песочные часы. Колба размещалась между фигурками Адама и Евы, чьи соединенные поверху руки вместе с ветвями Древа Познания образовывали подобие арки.

— Прекрасное литье. Чугун, — сказал Авири. — Конец прошлого века. — Он нашел на подставке надпись и прочитал: — „Касли". Привет, Россия! — добавил он по-русски.

— Вы знаете русский? — спросила она с чуть заметной улыбкой.

— Ну да. Мальчишкой был в Сибири. Касли — это на Урале. Вы из России?

Она кивнула.

Альфред принес кофе и, кажется, сам не прочь был присоединиться к ним, но обиженно удалился, так как Адам не повернул головы в его сторону и тем дал понять, что предпочитает беседовать с гостьей один.

Ее звали... — она замялась, прежде чем ответила на его вопрос, — ее звали Ева! — и как же смеялся Адам, услыхав ее имя! — а она

никак не могла понять, отчего это он, заходясь непрерывным хохотом и вытирая платком не то пот, не то веселые слезы, тычет в себя и выдавливает среди смеха „Адам! Ева! Ева!.. Адам!..“ — пока наконец, схватив ее за руку и все так же смеясь, не вывел ее наружу и не показал на вывеске написанное там „Адам Авири“.

— В самом деле, забавно, — сказала она и с любопытством посмотрела на Адама, как бы недоумевая, что эта малость — сочетание их имен — вызвала столь бурный взрыв смеха. — Но видите ли, Ева — здешнее мое имя по документам. Ведь я крещеная по православному обряду, и священник дал мне имя Евдокия. Называла меня Евдокией одна только бабка, она-то и носила меня крестить, — Евдокия да Евдокия, по-деревенски. Для остальных же я была Ева. Мне мое имя не нравилось никогда. Лет в шестнадцать придумала я себе „Надя“. Так меня все и зовут. Ну, а здесь, когда оформляла бумаги, мне сказали, что Ева — вполне по-библейски, вот в удостоверение и записали. Поэтому для одних я Ева, для других — Надя. Это имя я больше люблю.

Заговорили о часах. Она сказала цену — ту, что ей назвал антиквар, Адам предложил дать больше, однако натолкнулся на решительный отказ.

— Послушайте-ка, Надя, — я буду называть вас Надя, да? — признавайтесь, вам нужны деньги, иначе вы не продавали бы эту вещь, — начал было Адам.

— Деньги — да, а благодеяние мне не нужно.

Она сказала это с такой простотой, что у него не нашлось ответа.

— У вас семья? — стал он вдруг расспрашивать, чувствуя, что вопросы, заданные впрямую, ее не могут обидеть.

— Мальчик. Семь лет.

— Муж... — он уже догадывался, что...

— ...нет, год с лишним назад в катастрофе.

— Вам приходится зарабатывать?

— Да, тут и там. Немного шью.

Его осенило.

— Альфред! — крикнул он. — Ты объявление заготовил? Неси сюда!

Альфред подошел к ним, протянул бумагу и, когда Адам передал ее Наде, сел в свободное кресло. На недовольный взгляд Адама он обезоруживающе заулыбался:

— Шеф, если нам предстоит работать бок о бок, вы должны нас познакомить, не правда ли?

Адам смотрел, как Надя читает, и думал об особой привлекательности женщин, которых не затрагивает суета.

Она подняла глаза.

— У меня не слишком хороший английский. Печатать могу, но медленно. Но если бы вы меня взяли... На самом деле мне очень нужна работа.

Спустя несколько дней у Адама возникло навязчивое ощущение, будто он должен сделать что-то, однако забыл, что именно. По утрам, приходя в ателье, он против обыкновения начинал заниматься работой не сразу, а какое-то время тупо стоял у окна, перебирал на столах различную мелочь и все пытался сообразить, в чем же причина этого необъяснимого беспокойства. В таком вот состоянии стоя как-то раз перед пустым холстом, он машинально очертил углем овал женского лица, нанес прорисовки глазных впадин, крыльев носа и межгубной линии рта, размахнулся было и приступить к волосам, но от резкого нажима уголь обломился, Адам отбросил оставшийся в пальцах кусок и, взявшись за недопитую чашку кофе, вдруг обнаружил, что начатый на холсте набросок был, конечно же, портретом Нади. Достаточно опытный для того, чтобы понимать, сколь эфемерно представшее в наброске сходство с живой натурой, он, опасаясь, что тихое это дыхание жизни вспорхнет, словно бабочка, при первом же неосторожном движении, — то, что уголь сломался, служило предупреждением, поданным вовремя, — он, художник Авири, стал воплощением кошачьей мягкости и даже замурлыкал, и кончик хвоста у него пошевеливался и дрожал, а в глазах разгорался зеленый огонь. О нет, он не совершит неверных движений, он не спугнет, не упустит! — грош цена тогда тебе, маэстро, если загубишь, это как если б убить... Он взялся было за акрилик, но ощутил почему-то, что нет у него аппетита к акрилику, сколько же можно? — акрилик и акрилик из года в год, сотнями, тысячами картин! Сверху, с пыльных антресолей, торопясь, стащил он, свалив что-то на пол, старый этюдник с набором давно забытого масла, выдавил на палитру из начатых некогда тюбиков, и пошло у него хорошо, безусильно, и мазок всякий раз ложился туда, где ему и хотелось располагаться, словно каждый из них был купальщиком в море, в зеленой волне, и на пляже, в шезлонге, на желтом песке под неярким, осенним уже, сегодняшним солнцем. Постепенно он стал притемнять. Зату-

хало желтое, оставаясь лишь вокруг ее светлых волос, синева полуприкрытых глаз уходила внутрь, вглубь, за холст, но затем проступала тенями на лбу, под границей волос, в чуть заметных впадинах щек и за очертаниями головы, по углам и внизу. Потом появилось нечто в движениях кисти — то сбой, то перерыв, Адам менял и выхватывал кисти, одну и другую — он переходил к проработке и думал, будет ли здесь хороша лессировка, — но бросил внезапно все и через десять минут — как был, в одних шортах, влетел в галерею. Ходили какие-то люди по залу, к художнику обернулись и кинулись было, он той же быстрой кошачьей повадкой проследовал мимо, почти прижимаясь к стене своей шерстью, и уже в дальней комнате остановился. Надя смотрела на него — он попытался вспомнить нужное слово и вспомнил: „взор" — спокойным недоуменным взором смотрела она, брови чуть приподнялись, на щеках появлялся румянец. Он наконец сел.

— Визуальное погружение, — смущенно сказал Авири и противно, мелко засмеялся. Спохватившись, добавил. — Ничего-ничего, я скоро уйду.

Он продолжал рассматривать ее. Оба молчали, но в длящейся паузе не ощущалось натянутости. Он умел смотреть и смотрел внимательно. Модель была почти неподвижна. Читая бумаги и перебирая их, Надя взглядывала на Адама, и не всегда глаза ее опускались сразу же, как будто и она хотела рассмотреть лицо сидящего перед ней человека.

Вошел Альфред.

— Что, босс, за счетами? — сказал он.

Адам обернулся. Около правого глаза Альфреда была налеплена полоска пластыря.

— Что у тебя на скуле? — чтобы хоть что-то произнести, спросил Адам.

Альфред покривился.

— Это вот что, — весело сказала Надя и приподняла руку, чтобы показать колечко с небольшим рубином.

— А-а, — протянул Адам, и осторожно подложив ладонь под Надины пальцы, стал разглядывать кольцо. Ее рука была прохладна и легка. Альфред за спиною Авири хмыкнул.

— Ну что, мне уволить его? — спросил Адам.

— Почему? — С улыбкой насмешливой, но дружелюбной вполне, Надя поверх плеча Адама посмотрела на Альфреда. — Он очень ми-

лый. И такого работника вам не найти. Просто он уверен, что каждой женщине необходимо мужское внимание. И, в общем, он прав.

— Понятно, — произнес Авири и сам удивился скрипучему тону, каким это было сказано. — Послушай, Альфред, я не люблю симметрию. Но если ты и дальше будешь так же внимателен, я устрою тебе еще один пластырь, слева.

— О чем разговор? — равнодушно сказал Альфред. — Ясно и так. Разве я ожидал? Хлоп! — и сразу съездила. Так я вам не нужен? А то у меня клиенты. — И он направился в зал.

Только теперь до Адама дошло, что он сидит, обращенный к Наде своей ничем не прикрытой, поросшей густым рыжеватым волосом грудью. Он вскочил и, комкая слова прощания, поспешил уйти.

Портрет был закончен далеко не скоро: опасаясь, что небольшая ошибка разом испортит все, Адам писал чем дальше, тем с большей вдумчивостью, ему, в общем-то, не свойственной. Неожиданно для себя он обнаружил однажды, что начал бессознательно затягивать работу. Тогда он отбросил палитру, поставил картину на пол лицом к стене и день за днем мучился, не давая себе взглянуть на сделанное. Лишь по прошествии недельного поста портрет был вновь водружен на опоры мольберта, и Адам решил, что трогать больше ничего не будет. Раму он сделал сам.

В галерее „Контраст — гармония" наступал обеденный перерыв, посетителей не было, и Надя как раз собиралась приготовить кофе для себя и для Альфреда. Колокольчик, висевший над входной дверью, звякнул, Альфред пробормотал „кого это несет?" — но тут же кинулся ко входу, потому что увидел хозяина, который, держа что-то перед собой и с трудом отжимая спиною и задом тугую стеклянную створку дверей, пытался протиснуться внутрь. Альфред ухватился за раму, картину внесли, и Адам, заранее знавший, где ее поместит, повесил портрет на стену. Оба — Адам и его онемевший служащий встали перед картиной, потом Альфред схватил художника за плечо и стал трясти его, крича:

— Маэстро! Маэстро!.. Адам, вы — маэстро! Это же... это — чудо, маэстро!.. Надя! — крикнул он! — Скорее, Надя!

Она уже шла к ним, и подойдя, встала от Адама по другую сторону, взглянула на картину и сбоку — на него, на художника, и так как он, тоже сбоку и в те же мгновенья, смотрел на нее, они опять, как в тот раз, в дальней комнате, увидели друг друга близко, взгляд во взгляд. Он убедился, что она, какой была воображен-

ной им и какой осталась на холсте, ничем не мешает ему теперь смотреть на стоящую рядом Надю, не заслоняет и не туманит обращенное к нему ее лицо.

Колокольчик звякнул. ,,Господи, Господи!..'' — проговорила Надя. Колокольчик снова зазвенел, это Альфред успел выбежать и вернуться с бутылкой вина и какой-то благоухающей снедью из соседнего ресторана, втроем они уселись за столик прямо посредине зала и устроили небольшое пиршество. Альфред вскакивал то и дело, чтобы еще и еще увидеть картину.

— Бесподобно, маэстро! — повторял он. — Шедевр! И вам не жалко ее продавать?

— Я, дорогой мой, профессионал. Матерый, — отвечал не без рисовки Адам. — От дилетанта профессионал тем и отличается, что ему не жалко продавать.

— О! Это афоризм! — подхватил Альфред.

— Ну что ж, запиши, — небрежно кивнул Адам. — Потом опубликуешь. ,,Философия искусства Адама Авири''. Гонорар пополам. Но если говорить серьезно...

Он повернулся к Наде.

— Картина — ваша. Я вам ее подарил. Она, конечно, стоит немалых денег. Мы ее продадим, а чек будет на ваше имя.

— Нет, — сказала Надя. — Нет и нет!

Она встала с кресла, подошла к картине. Адам и Альфред издали смотрели на нее.

— Нет, — повторила она еще раз, стоя там, перед своим портретом. — Не нужно отдавать в чужие руки. Я...

Она вернулась к ним и села, чуть покусывая нижнюю губу.

— Спасибо, Адам. — Он отметил, что впервые услыхал свое имя из уст Нади. — Я должна отказаться. Но я прошу вас: не продавайте, понимаете?

Она заговорила с неожиданной страстностью, зрачки ее чуть расширились, голос зазвучал убеждающе и с явной тревогой.

— Такие вещи нельзя продавать, вы представляете себе, мне придется изо дня в день, годами находиться где-то в незнакомом мне доме, у чужих людей, может быть, недобрых, — я же не знаю. Почувствую тоску, представьте, мне будет не по себе, и это все из-за того, что картина у них, — это будет ужасно!

— У кого — у них? — оторопело спросил Адам. Он ничего не мог понять.

— У этих людей; у плохих людей, понимаешь?

И Адам, и Альфред, оба взирали на нее с изумлением.

— Здорово! — воскликнул Альфред. Надя метнула на него быстрый взгляд, и он прикусил язык.

— Надя, дорогая, — начал Адам и успокаивающе дотронулся до ее руки. — Ну, неужели... действительно это имеет значение? Портреты молодых красивых женщин — да ведь они писались всюду и всегда... какая-нибудь „Маха"... мадам Рекамье... или актриса Жанна Самари... Разве кого-то из них волновало, где оказывались их изображения и кто на них смотрел?

— Мы этого не знаем, волновало или нет, и что они при этом чувствовали. Они и сами могли об этом не знать, — возразила Надя. И попросила смиренно. — Не надо, хорошо?

Адам развел руками.

— Я только должен повторить, что картина принадлежит тебе. Но деньги, ты могла бы получить немалые деньги!

— Брось, Надя, это же глупо! — попробовал было вмешаться Альфред, но на этот раз не был удостоен и взгляда.

— Это в самом деле подарок? — тихо спросила Надя.

— Конечно.

— И я могу... сама решить, где буду... где будет картина?

— Да, но... Разве не у тебя? Не дома?..

Она помедлила с ответом.

— Дома? Нет, не дома. — Она приложила руки к груди. — Я — это вот она, я. А она, — раскрыла Надя руки, — она — тоже я, но я переменчива, а она такая, какой я — не знаю, бываю ли так хороша, как она, и я, может быть, стану ее стесняться? — Надя весело рассмеялась, но продолжила серьезно: — Я бы хотела, если ты разрешишь... Есть человек, он очень хороший. Он мне друг. Ты не против?

Похожее на ревность чувство шевельнулось у Адама, но исчезло тут же, потому что его охватила волна благодарности к ней, так доверчиво раскрывшей перед ним свои наивные страхи, тайные ощущения и эту привязанность к человеку, ему неизвестному. И Адам сказал только:

— Совсем не против, Надя. Сделай так, как ты хочешь.

Быстрым порывом она к нему наклонилась и поцеловала, задержав на миг этот быстрый свой поцелуй, — поцеловала, может быть, из-за неверного поспешного движения не в поросшую густо щеку, а в угол рта и складку, пролегающую к губам от носа, и Адам ощутил ее поцелуй и губы его бессознательно дрогнули,

чтобы ответить ей, но Надя уже от него отклонялась, и ему пришлось перехватить глоток-другой воздуху, чтоб восстановить сбившееся дыхание.

Картину Надя попросила снять. В тот же день она ее увезла.

Адам вернулся к заказам, и так как запустил за последнее время дела, то работал много, чувствуя, однако, что готов свою работу бросить и уехать куда-нибудь, чтоб затеряться в диком пространстве — бессловесном, безлюдном, безжизненном: лица, жилые коробки, слова, картины, автомашины — все ему было в тягость. Альфред ушел на военные сборы, Надя взяла на себя заботы по галерее, и роль хозяйки ей вполне удавалась. В противоположность Альфреду, который говорил с клиентами много и покорял заказчиков столько же эрудицией, сколько и экспансивностью, Надя обычно лишь излагала содержание идеи Адама, а затем беседовала с посетителями, так сказать, на равных и с женской простотой обсуждала с ними те или иные возможности, проявляя при этом незаурядный вкус и практический здравый смысл. Адам воспользовался случаем и в полтора раза повысил Наде зарплату.

Была вторая половина дня, и Адам собирался куда-то поехать, когда зазвонил телефон, и в трубке раздался взволнованный Надин голос:

— Адам, Адам! Ты дома? Я должна к тебе заехать и отдать ключи.

— Ключи? Что случилось? Я могу сам приехать, если...

— Нет, нет, Адам! — остановила она. — Я на такси, через две минуты.

Он встретил такси внизу, Надя не хотела выйти из машины: она везла сына в больницу. Он лежал — белокурый, с ангельским личиком мальчуган пяти-шести лет, бледный до зелени, и голубые глаза его то и дело страдальчески прикрывались.

— Упал, — торопясь, доставая из сумки ключи, говорила Надя. — У него сотрясение: была рвота, его все время тошнит.

— Врач смотрел?

— Нет. Это было с четверть часа назад. Мне позвонила няня — он гулял с группой, и я тут же поехала.

Надя протягивала Адаму ключи, но он покачал головой и решительно открыл заднюю дверцу.

— Мы положим его у меня и вызовем врача, — твердо сказал он и, не дожидаясь согласия Нади, обратился к малышу. — А ну-ка, приятель, давай мы возьмем тебя...

Мальчик обнял его за шею и спокойно лежал на руках у Адама, пока он не внес его в свою спальню и не положил на постель. Вскоре приехал врач, сказавший, что если не будет повторной рвоты, то все обойдется. Но мальчик нуждался в полном покое, и в ответ на робкий вопрос Нади, можно ли его перевезти домой, врач состроил недовольную гримасу. „Завтра к вечеру зайду, тогда решим", — сказал он.

— Почему другой доктор, мама? — спросил мальчик, когда врач ушел.

— Теперь у нас будет новый доктор, милый! — ответила ему Надя.

— Почему? — повторил мальчик и заплакал. Она его утешала. Ребенок, всхипывая и вздыхая, стал засыпать. Адам и Надя сидели подле него до сумерек, позже ужинали, а близко к полуночи оба легли рядом с мальчиком, и Надя, что-то шепча, прижалась к Адаму.

От последствий падения мальчик вскоре полностью оправился, но отдавать его снова в сад врач пока не советовал. Днем мальчик оставался в ателье у Адама, что-то клеил или строил, смотрел, как художник работает, а то спускался во двор и играл там в прохладной тени. В часы обеда приезжала Надя. Адам купался в непривычно тихом счастье, но не слишком доверял себе, подозревая, что не готов к нему, не приспособлен, стар и слишком эгоистичен, чтоб воспринять пришедшее благо как нечто реальное и устойчивое. Он постоянно ждал, что все вновь переменится, а может, и желал того. Он ощущал, что ему хорошо, но в то же время жил со стесняющим чувством, будто в том, что с ним происходит, наличествует обман. Правда, Адам не мог сказать себе, в чем этот обман заключается. То, что он чувствовал, легче всего выражалось в недоумении, с которым задавался он такими, приблизительно, вопросами: если нынешняя жизнь действительно хороша для меня, то не следует ли все предыдущее посчитать пустейшей, дурацкой ложью; а если прошлое не ложно и прожитое вполне привлекательно — а оно, как он понимал, таковым и было, — то не выглядело разве чем-то обманным нынешнее его положение, столь непохожее на всю его прежнюю жизнь?

Внешних перемен, однако, не происходило. Разве что, когда вернулся с армейских призывов Альфред, у Нади явилась возможность уходить из галереи раньше, а то и вовсе в нее не являться и работать с чеками и счетами у Адама в ателье, одновременно при-

глядывая за мальчиком. Сам же Адам делал один заказ за другим, по-прежнему ездил смотреть интерьеры, хотя все чаще ловил себя на том, что торопится покончить с очередным „погружением" и стремится пораньше вернуться домой. Поэтому он был достаточно раздражен, когда пожилой человек, доктор Мэвин, у которого был взят заказ на картину, буквально подстерег Адама в галерее и с непонятной настойчивостью стал просить о визуальном погружении: доктор считал это совершенно необходимым и хотел, чтобы Адам приехал к нему как можно раньше.

— Не знаю, доктор. Я очень занят. Не только всю эту неделю, но и следующую, — говорил не слишком вежливо Адам и с неохотой лез в карман, чтобы достать записную книжку.

Но с неожиданной решительностью доктор сказал:

— Я предлагаю, раз уж мы с вами встретились, ехать сейчас. Вы не пожалеете. Уверяю вас, вам будет интересно.

С полминуты и Адам и доктор смотрели друг на друга: Адам с удивлением и оценивающе — не скрываются ли в необычном приглашении столь частые людские глупость и тщеславие? — тогда как доктор откровенно изучал физиономию Адама — с любопытством и с явной иронией. Именно ирония, поймать которую во взгляде доктора было нетрудно, и заставила Адама принужденно засмеяться.

— Что же у вас за кабинет? Может быть, вы доктор Фауст? Хорошо, поедем!

— Прекрасно! — Доктор был так обрадован, что теперь уже Адам мог иронически поглядеть на него. Кто-кто, а сам художник превосходно знал, стоит ли „погружение" той радости, какую выражал сейчас доктор Мэвин... Так или иначе, лед был сломан, и в квартиру доктора они вошли, оживленно беседуя.

В манере несколько церемонной хозяин пригласил выпить вермута; Адам предложил свою рецептуру — кроме обычных льда и сока грейпфрута также сухое вино, что доктора удивило, но было принято, как очень удачное сочетание; осмотрели развешанные по стенам гостиной гравюры, которые доктор любил покупать, бывая в Европе, — все изысканного вкуса и отличного исполнения, о чем Адам не замедлил сказать, чувствуя все больше, что доктор далеко не прост и что его предупреждение — „вам будет интересно" — уже начинает сбываться; перешли в приемный кабинет — обычный кабинет приватного врача, практикующего на дому, доктор оставил художника в одиночестве, а затем, когда Адам вышел, держа в

руках листы с набросками, было предложено выпить еще, и после того, как оба устроились в креслах, Адам проговорил:

— Признаться, я в растерянности. Просто не знаю, что было бы лучше для вашего кабинета.

Он сказал это искренне — в той степени, в какой мог быть искренним, когда имел дело с заказчиками. Он чувствовал, что не решится сделать для доктора какой-нибудь триста второй вариант одной из своих наезженных композиций.

— Да-да, понимаю, — ответил медленно доктор. — Гармония... — как там у вас?.. — и контраст? Очень неплохо придумано. Я вас вполне понимаю, вполне...

Он замолчал. Помолчал немного и Адам. И он понимал, что имел в виду доктор Мэвин. Адам, тем не менее, не был обескуражен. Ему приходилось встречаться с заказчиками подобного сорта — всепонимающими скептиками, знающими толк в искусстве. И если Адам не сразу заговорил, то лишь потому, что несколько мгновений хладнокровно соображал, с чего будет лучше начать.

— Вы хотите сказать, что ваши вкусы выше того, что я делаю? — сказал Авири. И когда доктор вскинул на него глаза, останавливающе поднял ладонь. — Не возражайте, доктор, ведь это так? Позвольте быть откровенным. Каждый из нас зарабатывает своим — искусством или ремеслом, как хотите. Я лично никогда не считал, что врачебное искусство лежит в другом ряду понятий, нежели искусство художественное. Все, на чем основана моя деятельность, — способности, интуиция, техника, опыт и ряд соответствующих познаний — все это необходимо и в деятельности врача. И у нас с вами одна и та же сфера приложения наших искусств: человек, одно и то же существо, с его страстями, похотями, потребностями, больною печенью, расстроенными нервами. Он ваш заказчик — и он же заказчик мой. Разве нам обоим непонятно, что картина, которую я буду делать для вашего кабинета, нужна для клиентов, которые туда придут, а не лично для вас — как я вижу, незаурядного знатока искусств? Я должен думать о них, учитывать их интересы, иметь в виду то воздействие, какое картина окажет на них — не на вас, дорогой доктор Мэвин. И я смиренно принимаю ваше пренебрежение — к моей вывеске и к моему занятию в целом. Честное слово, моя откровенность не должна повергнуть вас в смущение. Напротив, я всегда рад, когда мое ремесло приводит меня к человеку, способному видеть истинный смысл моего ре-

месла. Я не обольщаюсь, доктор. И разумеется, не должен ждать того же от вас.

Доктор раскуривал трубку, и Адам не видел его лица, когда тот кивнул — и раз, и другой, и третий. В этом покачивании головой — всепонимающем, сокрушенном и вполне еврейском — Адам предвидел начало длинного монолога — о чем? — все о том же: об истинном смысле искусства, о предназначении художника, возможно, о себе, о своих загубленных жизнью талантах...

— Я был в Мюнхене на той самой выставке, где вы показывали „Симультанные игры", — сказал доктор. — Это было действительно интересно! И вам, конечно, следовало продолжать. Та ваша модель была, в сущности говоря, примитивной. Над идеей стоило потрудиться, чтобы если и не придти к совершенству, то все же двигаться дальше и дальше, к лучшему воплощению. Только этот путь и достоин нас, смертных. Но вы, простите... Вы, как я вижу теперь, оказались трусом. Я имею в виду не одно лишь живописное совершенство. Так удачно обмануть себя, свою натуру, — обмануть и остаться довольным собой, — людям удается очень редко. Я поздравляю вас, Адам Авири!

Стояли уже негустые жемчужные сумерки, скрадывавшие цвета и тени, что и было бессознательно отмечено Адамом, который пытался представить себе, как выглядит сейчас его растерянное лицо.

— А... вы не слишком ли жестоки, доктор? — спросил он. И сбивчивые его слова прозвучали как весть о капитуляции, оглашенная усталым офицером.

— Нет, — коротко ответил доктор и встал. — Пойдемте со мной.

Они прошли еще в одну комнату, которую по обилию книг, что помещались в ней, можно было определить как библиотеку. Были тут рабочий стол с креслом и небольшая кушетка. Не сразу Адам заметил то, ради чего привел его сюда доктор: на стене висел портрет Нади.

— У вас?! — пораженно воскликнул Адам. — Каким образом?!

Доктор включил настольную лампу, Адам, не помня о церемониях, бросился в кресло, хозяину же оставалось присесть на кушетку.

— Ну-ну, не волнуйтесь, — сказал с усмешкой доктор. — Сперва о том, жесток ли я по отношению к вам. Как видите, у меня есть веское основание ценить вас по иному счету, чем вы сами того хотите, господин Авири. Вот оно, доказательство вашей трусости, — этот портрет. И если есть жестокая правда в том, что я высказал,

то не во мне она родилась. Вот она — ваша работа, собственноручный памятник — самопредательству!

Доктор вскочил и заходил взад-вперед вдоль узкой комнаты, останавливаясь то у картины, то перед Адамом.

— Это ваш шедевр, вы это знаете, и вообще — да, да! — это великой, немыслимой прелести вещь, — как же вы, способный на такое, столько лет бездельничали, черт возьми! И хуже того — плодили эту вашу чушь контраст-гармонию!

— Э, доктор, перестаньте!.. — миролюбиво прервал его Адам. Он уже вполне владел собой. — Да я не виноват, что этот портрет так удачно вышел. Случайность, доктор, случайность!..

— Согласен, не виноват! — продолжал в запальчивости доктор. — Как не виноват в своем таланте! Виноват же в том, что...

— ...предал свой талант! — закончил Авири и с деланной скорбью воздел руки к небу.

Этот жест разом вскрыл комизм ситуации. Доктор Мэвин ломился в открытую дверь: разумеется, Авири и сам отлично знал все то, в чем доктор взялся его обличать.

Теперь они снова оба сидели, и доктор неторопливо рассказывал. Картину Надя привезла сюда прямо из галереи. Она объяснила доктору, что портрету надлежит заменить здесь ее, Надю. И не только здесь, в стенах квартиры, но и, главное, в сознании самого доктора, так как она просила его больше не видеться с ней. Пораженный доктор Мэвин попытался было сказать, что это условие излишне, но Надя ничего не стала обсуждать. Для доктора это было ударом. Он знал ее на протяжении многих лет, помнил еще ее мужа, а когда родился мальчик, стал их семейным детским врачом. Мальчик привязался к нему, доктор же любил его с глубокой нежностью.

— Незачем скрывать от вас, что мне всегда были дороги они оба, — продолжал доктор. — Верно, что в последнее время я стал думать о Наде, как о женщине, способной подарить мне новую жизнь. Но я отлично понимал, что она во мне видит лишь старшего друга — близкого и, смею сказать, нужного ей — но не больше того. В сущности, я ей гожусь в отцы, а ее сыну — в дедушки. Не сомневаюсь, Надя не раз задавала себе вопрос, сможет ли она стать моей возлюбленной, моей женой, и она, конечно, всякий раз отвечала на это одно лишь „нет".

Доктор умолк, подумал немного, затем взял со стола два небольших листочка — из тех, что предназначены для записи телефо-

нов и различных повседневных дел, и что-то коротко набросал на одном из них. Второй листок он протянул Адаму.

— Я хочу просить вас ответить мне на один вопрос. Вы можете быть уверены, что у вас нет никаких причин уклоняться от него: ваш ответ важен лишь мне одному. Я, видите ли, написал то, что предполагаю, вот здесь. — Он показал Адаму свой сложенный вдвое листок. — Напишите и вы ваше слово, и мы сравним оба ответа. Вот что я хотел бы знать: когда писался ее портрет или когда он был только закончен, вы уже были близки?

Адам сразу же написал ,,нет'', сложил листок и отдал его доктору. Тот развернул свой, затем листок Адама, странно, как-то беспомощно поглядел на художника и тихо, с расстановкой спросил:

— Но вы... вы, Адам, уже знали, что любите... или хотите ею обладать?..

Адам покачал головой.

— Нет, доктор. Ни я, ни... думаю, что... ни она. — Вдруг он оживился. — В самом деле, портрет, наверно, был той самой незримой границей, после которой... когда людей начинает вести друг к другу уже бессознательной волей... В портрете высказалось что-то, что...

Он остановился, потому что доктор показывал ему свой листок: на нем было написано ,,да''.

— Как я плохо ее знал, оказывается... — бормотал доктор Мэвин. — Она удивительна... неземная, да-да, неземная!.. Я был уверен, что эта просьба — не видеться с ней, — означает, что она кому-то принадлежит уже, и поэтому она не хочет двусмысленного моего положения. Теперь же оказалось — она решила щадить мои чувства, — доктор усмехнулся, — еще до того, как я начну по ее лицу читать окончательный приговор... — Он стал смотреть на портрет. — Но здесь, в ее чертах, — разве в них не выражение любви? Разве тут не сама любовь, — художник, вы же должны это видеть?!

Адам повернулся на вертящемся сиденье и тоже вгляделся в лицо, освещенное плохо, потому что свету было только от расположенной низко настольной лампы. Он мог согласиться с доктором, что там, в проступавшем из темноты лице, запечатлелась любовь. Но он никогда не смог бы объяснить, как эта ясно проступавшая печать любви легла на сделанную им картину, и потому ничего не ответил доктору.

— Я знал, что Надя стала работать у вас, — решил доктор продолжить, — но выполнял ее волю и не делал попыток с ней встре-

титься. Я сильно скучал по мальчику. Я подумал, что на свидание с ним запрета не существует. Тогда я отправился к детскому саду, и там-то мне сказали, что у мальчика случилось сотрясение и что в сад его мама больше не приводила. Она им, правда, сообщила, что все благополучно обошлось, но... Я и волнуюсь и... признаюсь, тоскую. — Неловкая пауза была короткой. — Я ничего не скрываю, Адам. И я не хочу быть смешон и назойлив. Моя жизнь и дальше будет идти своим чередом, и если можно быть за них спокойным, то ничего другого для себя я не желаю. А если это так, то почему бы нам всем не быть друзьями, Адам?..

Доктор напряженно ждал ответа, но вместо того Адам снял телефонную трубку, набрал номер и, выждав, пока на другом конце линии заговорят, сказал нарочито обыденным тоном:

— Надя, добрый вечер. Мы сейчас приедем вместе с нашим общим другом — доктором Мэвином.

Доктор стал бывать у них в доме чуть ли не ежедневно. Мальчик души в нем не чаял. Адам вел с доктором обычные мужские разговоры — политика, экономические непорядки, ход Уимблдонского турнира, — но они затевали также и нескончаемые споры относительно искусства, в коих доктор проявлял себя неисправимым романтиком, Адам же прагматиком тем большим, чем эмоциональнее доктор наступал на него. Адама ничуть не обижали, а скорее, забавляли наскоки доктора, со страстью громившего то, чем Адам занимался. Обвиняя художника в цинизме, безответственности и трусости, доктор доходил в своих эскападах до пророческих обличений, и картины греха, в котором погрязало современное искусство — и с ним вместе маэстро Авири, — выглядели действительно устрашающими. Адаму было не занимать изощренности в возражениях, которые он всегда находил в достаточном числе, — потому хотя бы, что отстаивать негативизм всегда неизмеримо легче, нежели начала позитивные. Это доставляло немалое удовольствие. Но в том, что испытывал Адам, споря с доктором, было и нечто мазохистское: он все сильнее ощущал постыдную тайную сладость от пылающих праведным гневом слов, которые сыпались на него. По сути дела, доктор высказывал то, чего сам Адам не говорил себе; вместо исповеди — проповедь, от которой грешная душа тоже чувствовала облегчение, — вот, чем становились для Адама эти споры с доктором. Надя же с самого начала воздерживалась от участия в них, но, без сомнения, на спорящих действовало само ее присутствие, поскольку при подобных столкновениях женщина

является обычно той, пусть и молчаливой стороной, к которой мужчины апеллируют, даже не сознавая того. Когда спор принимал слишком острый характер, Надя поглядывала с изумлением и тревогой то на одного, то на другого, и оба снижали немедленно тон, иногда кто-нибудь говорил ей несколько успокоительных слов, вроде того, что до дуэли у них никак не дойдет, пусть она не волнуется. И некоторой — тонкой, в неслышимых обертонах звучащей — струной среди частых споров Адама и доктора была и та особенная их атмосфера, в которой проявлялось Надино к ним отношение: она любила Адама и хотела всегда видеть правым и непогрешимым его; но безгрешная сама, она принимала чистые помыслы доктора, к которому питала если не любовь, то чувство давней общности, неизменной близости к нему. Нечто не совсем обычное установилось в доме Адама: он не мог сказать, что они с Надей только любовники, ведь был рядом с ними и мальчик, но если кто-то и заменял ребенку отца, то наверное доктор Мэвин; сам же доктор, сдружившись с Адамом и проявляя подчеркнутую заботу о мальчике и о Наде, — он, например, направляясь к ним, мог привезти не только сластей для ребенка, но и накупить недельный запас продуктов на всех четверых, приобрести что-нибудь из необходимых Наде вещей, — словом, держал себя как член семейства, причем весьма внимательный к хозяйству, — меж тем не делал и малого шага к тому, чтобы напомнить о чувствах к Наде более глубоких, чем это выражалось в его столь ровном, заботливом поведении. Назвать сложившиеся отношения „удобными" было бы слишком грубо, но... волей-неволей Адам именно так и расценивал их. И если под вечер ему вдруг приходило в голову отправиться в одно из тех местечек, где он привык сидеть в компании друзей, то делал это с легким сердцем: Надя не одна, говорил он себе. Сама же Надя интереса к подобным вечерам не проявляла. Однажды он познакомил ее кое с кем из тех, кто его окружал, и между прочим, не без некоторой неловкости — с оказавшейся некстати тут же одной женщиной, еще недавно бывшей с ним в связи; Надя была очень оживлена и умело поддерживала беседу, но когда они, возвращаясь домой, садились в машину, сказала: „Ох! Они все очень симпатичные, только, знаешь, ты уж как-нибудь без меня. Не обижайся, ладно? — И она его поцеловала так, будто они не виделись долгое время. — А скажи, вот эта, в красном платье, вы, наверно..? Правда же?.." Он изумленно взглянул на нее и кивнул. Со смутным беспокойством ему подумалось, что она как будто все о нем знает.

Он так ей и сказал: „Я вижу, ты все обо мне знаешь". — „Да, — подтвердила она серьезно — Я знаю о тебе". Его поразила не столько странная фраза, сколько тон, каким она была сказана: казалось, Надя пускала его на порог некой тайны. Потом не однажды Адам вспоминал звучание этих слов — всякий раз, когда оказывалось, что Надя провидела не только что поступки Адама, а даже его намерения. Вдруг она говорила: „Ты завтра утром едешь на север, я достала теплую куртку". Адам безуспешно пытался вспомнить, когда он успел сказать ей о поездке. „Разве я тебе говорил, что еду?" — спрашивал он ее наконец. „Нет. Ты едешь на два дня, но если задержишься еще, позвони, пожалуйста, хорошо?" — и она целовала его — как всегда целовала, когда о чем-то просила. Он действительно собирался пробыть там, в горах, на севере, где у приятеля был домик, именно два дня и действительно думал, что, может, еще на денек-другой задержится. И об этом Надя — знала?.. И все же таковое знание — если было именно знанием — касалось всего лишь событий, где случайность совпадений, да и не столь большая важность их позволяли не особенно вникать в сущность Надиных предвосхищений. Иначе воспринимал Адам то, сколь явственно ощущала Надя малейшее движение его чувств. Достаточно скрытный, умевший носить всевозможные маски, быть внешне безразличным и когда его захлестывали страсти, — он видел теперь, что открыт перед Надей всегда, в любую минуту, и что для Нади любая его попытка быть не тем, что он есть в этот миг, просто-напросто безнадежна. То он ловил на себе ее чуть замедленный взгляд, то замечал, что голос ее зазвучал напряженно, — тогда Адам обращался к себе и нередко к собственному удивлению обнаруживал, что играл сейчас какую-то роль и пытался не то, чтобы скрыть, а оставить что-то вне своего разговора с Надей. Он ощущал поэтому уже едва ли не с физической достоверностью соединявшие их нити, а чем явственнее проявлялось это ощущение, тем настойчивее он стремился его избежать. Адам понимал, что жизнь шаг за шагом входит в разлад. Он любил. Но он видел, как любовь предъявляет на него свои права и требует отказа от многого, чем он дорожил, к чему привык и от чего не желал отказаться, и потому он временами готов был отказаться от любви, лишь бы оставить за собой права на самого себя — такого, каким он был всегда и каким хотел себя видеть и дальше. Он работал. Но его художество давно ему претило и, споря с доктором, он убеждался все больше, что лишь обратившись к настоящей живописи, он найдет

в работе какой-то смысл, и он готов был порвать со своим убогим ремеслом, но знал прекрасно, что творчество всепоглощающе и более, чем любовь, способно требовать от человека жертвенности, а Адам собою жертвовать не хотел. Он вообще не хотел ничем жертвовать. Когда случилось опять, что все та же его прежняя подруга — ,,вот эта, в красном платье'' — вновь повстречалась с ним на вечеринке в доме у приятеля и, закрыв дверь в комнату, обняла его, он вдруг ощутил дыхание утерянной свободы и стал, казалось бы, со страстью целовать свою забытую любовницу. Но она шепнула: ,,Мы могли бы поехать ко мне, хочешь?'' — и он внезапно отстранился от нее: не звонить же, в самом деле, Наде, что он не приедет ночевать! Он явственно почувствовал, что не сможет ее обмануть, это невозможно, как невозможно обмануть, положим, солнечный свет, делая вид, что его нет и что еще продолжается ночь, потому только, что голова твоя засунута под подушку. Тут же он направился домой, испытывая ощущение разлада особенно остро: сожалел, что уклонился от соблазна, и был доволен, что избежал угрозы усугубить владевшее им беспокойство. Ложась вместе с Надей, он жаждал любить ее, он с гордостью и торжеством нес ей свою ненарушенную верность — но Надя остановила его: ,,Нет-нет, милый мой. Сегодня это не мое. Я не могу к тебе придти. Мы лучше будем спать, хорошо?'' Она его поцеловала, и губы у нее дрожали.

Утром Надя выглядела больной: в глазах стоял лихорадочный блеск, она призналась, что чувствует озноб. Доктор потребовал измерить температуру — жар оказался сильным, и ей пришлось лечь в постель. Под вечер, когда Адам присел около Нади, она вдруг, страдальчески глядя ему в глаза, спросила: ,,Ты же простишь меня, правда?'' — ,,За что?'' — спросил он ее и подумал со страхом, не явилась ли ей мысль о смерти. ,,Ты теперь не будешь жить, как хочешь'', — сказала она и внезапно зарыдала, повторяя сквозь слезы ,,прости меня, прости...'' и по-детски прижимаясь заплаканным лицом к его рукам. А еще через день дом выглядел, как лазарет: больная Надя лежала в одной из комнат, тогда как в другой устроился лишившийся подвижности Адам: у него воспалился вдруг безымянный палец левой ноги. Резкую нестерпимую боль он почувствовал, идя где-то по городу. Ему показалось, что пальцы его ноги попали в ,,испанский сапог'', и колодка с каждым мгновением завинчивается все туже. Адам застонал и должен был остановиться. С трудом добравшись до дому, он повалился на по-

стель и некоторое время приходил в себя, прежде чем смог стащить с ноги ботинок. Позже доктор Мэвин осмотрел заболевшее место. „Вероятно, инфекция", — сказал он и хотел положить на палец мазь. Но Надя почему-то воспротивилась этому. Оба мужчины с удивлением внимали, как горячо она отстаивала собственное средство против воспаления — мякоть алоэ, говорила она, и ничто другое. Доктор пожал плечами и спустился вниз, чтобы оторвать молодое перо от одичавшего куста алоэ, который рос у соседнего дома. Надя встала с постели, чтобы собственноручно сделать компресс. „Что все это значит, по-вашему?" — вполголоса спросил у доктора Адам, когда Надя вернулась в свою комнату и легла там. „Весьма своеобразное проявление интимных чувств", — ответил доктор.

Уже на следующий день Надя была здорова. Напротив, у Адама нога болела сильней и сильней, Надя меняла ему компрессы, доктор качал головой, опасаясь, что инфекция распространится шире. Но этого не случилось: опухоль опала, краснота исчезла, и воспаление прошло так же неожиданно, как и началось. Доктор оглядел палец, спрашивая, не больно ли Адаму, надавил тут и там, — не было ни боли, ни каких-либо иных признаков недавнего процесса. „Любопытная картина, — бормотал доктор. — Ни гнойных выделений, ни изменений поверхностных. Кожа чистая. Может быть, это трофическое?" Адам сказал, что никаких забот с сосудами у него до сих пор не было. „Да что вы тут смотрите, доктор, все в порядке!" — заключил Адам, радуясь, что снова обрел свободу. И он забыл бы об этой мелкой неприятности, если бы Надя не спрашивала его по нескольку раз на день, как его палец. Его даже начали было раздражать ненужные эти вопросы — вообще, беспокойство, владевшее им последнее время, стало усиливаться, — как однажды вечером, раздеваясь, он обнаружил неожиданное явление. „Надя! — позвал он. — Смотри". Она подошла, взглянула и тихонько вскрикнула. На недавно болевшем пальце отходил от лунки ноготь, и видно было, что он держится на месте одной лишь боковой кромкой. Под ногтем была нежная младенческая кожица, и снизу, там, где сидел отошедший ноготь, виднелся молоденький — новый его заместитель, тоже розовый, тонкий и по-праздничному блестящий. „Не трогай!" — быстро предупредила Надя, в сильном возбуждении выбежала и тут же вернулась, держа небольшой маникюрный пинцет. Адам не успел опомниться, как старый ноготь без усилия и боли был окончательно удален.

Этой ночью Надя с особенной страстью любила Адама и, лаская его, несколько раз прошептала все те же слова: „Ты простишь меня, да?" — „За что, за что, Надя?" — „Скажи, что простишь! Не спрашивай. За то, что люблю!" — „Разве за это нужно прощать? За это — любят", — отвечал он, понимая, что осознать ее состояние ему не удастся. Она уже спала, когда Адам, почувствовав сильное желание закурить, поднялся и прошел в гостиную за сигаретами. Вспыхнувший в темноте огонек зажигалки отразился в стеклянных колбах многочисленных, стоящих тут и там среди гостиной песочных часов. Адам вгляделся. Повторялось некогда им виденное: была пуста верхняя половина большой суточной колбы, иссякла струйка песка и в четырехчасовых часах, тогда как песчинки в часах с периодами короткими, вплоть до пятиминутных, продолжали мерно течь, как будто только недавно начали отмерять они новое время после того, что стояло оно, неощутимое никем, — прерванное и несоединимое, как провал в памяти. Первым движением Адама было пойти тут же в комнату, где оставался ночевать у них доктор, разбудить его, привести в гостиную, спросить... О чем? Переворачивал ли он две минуты назад маленькие часы? Помнит ли он, сколько было песка вечером в суточных, которые Адам ежедневно по утрам сам же устанавливает в начальное положение? Стоя у окна и глядя в тускло мерцающую полоску ночного моря, он курил сигарету и пытался мыслить строго и последовательно. Ему становилось страшно. Жизнь проделывала что-то с ним. Он чувствовал свою беспомощность под ее рукой — и прежде всего потому, что не знал, должен ли сопротивляться или, наоборот, приять со смирением все, что она ни сделает. Смятение охватывало его все сильнее и сильнее, ему было муторно до головокружения, его, казалось, внесло в какую-то вращающуюся спираль, в гигантскую воронку, где он, распластанный, подвержен неукротимым, мощным силам, противостоять которым невозможно, он подумал о Наде, и эта мысль оказалась спасительной: Адам ухватился за нее, и его вынесло из жуткой воронки, так что он смог вздохнуть с облегчением раз и другой, приходя в себя. Сигарета его погасла. Он пошел в спальню, лег к Наде, она во сне ответила на его объятья, и, погружаясь в сон, успел он запечатлеть в себе, как тонким, длинным и гладким ножом своим пронизало его мгновение счастья.

Несколько последующих дней Адам провел в состоянии необъяснимой тревоги. Надя взглядывала на него то и дело, и в гла-

зах ее была мука: она словно силилась что-то сказать и не могла. Лишь однажды, подойдя к нему и приложив ладони к его густо заросшим щекам, спросила: „Скажи мне, милый, что ты чувствуешь?" Он заключил ее узкие запястья в своих руках и, помолчав, сказал: „Я знаю, что есть ты. Но жизнь уплывает. Что-то уходит из меня". Она вздрогнула и спрятала лицо у него на груди. Он услышал, как она шепчет: „Боже, это страшно... Господи, помоги нам..."

Он свалился с ужасной болью в ногах — на этот раз надолго. Воспаление распространилось мгновенно и, затронув сперва только пальцы, охватило затем и обе стопы вплоть до лодыжек. Доктор Мэвин то и дело присаживался на постель Адама, откидывал простыню и пристально рассматривал пораженное поле. Он никак не мог взять в толк, что же происходит у него перед глазами. Вид кожных покровов — воспаленных, покрасневших и начинавших покрываться зерноподобными выпуклостями, — говорил, пожалуй, об аллергии. Но больной не чувствовал зуда, не пытался расчесывать кожу, а напротив, испытывал мучительные боли где-то в глубоко лежащих тканях и, по его словам, чуть ли не в костях. Гангрена? Но что могло ее вызвать, да сразу на обеих конечностях? Доктор следил за температурой: она держалась на уровне чуть выше нормальной, тогда как воспаление такой силы должно было дать скачок на несколько градусов. Самым же поразительным, вовсе необъяснимым выглядело, однако, другое: палец с новым ногтем — младенчески розовый, с чистой кожицей, народившейся на месте той, что сошла вскоре после компрессов алоэ, — этот безымянный палец на левой ноге не участвовал в схватке сил, ведущих внутри организма войну, называемую болезнью: он был, так сказать, вне театра военных действий, как маленькое государство, храбро объявившее нейтралитет и разоружившееся перед лицом столкнувшихся грозных военных гигантов. Мальчик-с-пальчик, преспокойно спящий рядом с великаном-людоедом — вот как выглядело это сочленение трех небольших фаланг с невинно розовым ноготочком. Доктору случалось практиковать и в дерматологии, а во время нескольких войн он работал в госпиталях, где оперировал гнойные раны и с гангреной сталкивался на каждом шагу. Ничего похожего на данный случай ему не встречалось — ни на практике, ни в литературе. Не доверяя себе, он обратился к справочникам, вознамерился созвать консилиум из двух-трех своих друзей-коллег, но потом решил не делать этого. Он чув-

ствовал, что больному пока ничто особенно не угрожает. Конечно, мучительные боли доставляли ему страдания, Адам плохо спал, и все же организм в целом не казался обессиленным. Доктор выжидал, давая лишь пить общеукрепляющее и невинные таблетки для облегчения болей, типа анальгина. Сильные наркотические средства он приберегал на случай, если положение ухудшится.

Кризис наступил ночью, когда Адам внезапно дико закричал. Проснулся и заплакал мальчик, доктор вбежал в спальню и увидел, что Надя пытается удержать голову Адама, которого била сильная судорога. Глаза его обезумели от боли, по Надиному лицу текли слезы. Доктор схватил шприц — у него здесь, в спальне, все было приготовлено на этот случай заранее, — Надя быстро спросила:

— Что это?

— Морфий. Я боюсь шока.

И вдруг Адам, тяжело выдыхая из легких, медленно произнес:

— К черту, доктор... Меня отпускает...

Он задышал ровнее и минут через десять уснул. Голова его покоилась на коленях у Нади, и она, чуть подремывая, до утра сидела около него. Когда пришло время заняться мальчиком, она осторожно подложила под голову Адама подушку, и сон его продолжался до вечера. В поздних сумерках он проснулся, попросил воды и много пил. ,,Как ты прекрасна, — сказал он Наде. — Ты голубая. Я напишу твой портрет в голубом''. — ,,Ты уже писал мой портрет'', — сказала Надя. — ,,Писал? Ах, да... В зеленом''. Он прикрыл глаза, блаженно улыбнулся и снова уснул.

Все признаки воспаления исчезли в течение каких-нибудь суток, и состояние Адама настолько улучшилось, что он уже собирался покинуть постель. Но на переболевших стопах началась новая, видимо, последняя фаза процесса: кожа стала морщиться, темнеть — скукоживаться, как шкурка змеи перед линькой. Лишь безымянный палец на левой ноге сиял, как ни в чем не бывало, своей наивной розовой поверхностью. У доктора мелькнуло неясное предположение. Он взял пинцет, дотронулся до молодого ногтя, попробовал чуть пошатать — тот прочно сидел в своем гнездышке. Тогда доктор взялся за побуревшие соседние — за один, и другой, и третий, — ороговевшие, толстые мертвые ногтевые образования поддавались на любое слабое покачивание и готовы были оторваться от лунок.

— Вот-вот, — сказал Адам. — И мне подумалось, что это то же самое. Все, как в тот раз. Только другие, так сказать, масштабы.

— „То же самое..." — повторил в раздумье доктор. — Но что именно? Я не могу диагностировать болезнь. В конце концов, меня это задевает как врача! А в прошлом — вы не помните чего-то подобного? В детстве? У кого-то из родных?

— Не было ли странностей у вашей бабушки, не боялись ли вы в детстве темноты, — так, доктор? — стал иронизировать Адам. — Не волнуйтесь, ваша квалификация тут, похоже, ни при чем. И не вздумайте созывать консилиум.

— Я как раз и хотел это сделать.

— Оставьте! Глупости. Вы такой же специалист, как ваши коллеги, а среди них — из лучших, можете не возражать. Вам нужно только смириться с тем, что медицина дальше грубой эмпирики не идет и, записав мой случай в анналы вашей, с позволения сказать, науки, продолжать надо мной наблюдения.

— Вы считаете, что может быть что-то еще? — быстро спросил доктор Мэвин.

— Почему бы и нет? — ответил Адам. — Два раза было, отчего же не быть и третьему? — Он приподнял руки и пошевелил пальцами у доктора перед глазами. — Не придет ли пора обновиться и этим ноготочкам тоже, как по-вашему?

Мороз прошел по спине у доктора, и он промолчал.

Ногти на ногах, действительно, легко выпали, под ними стали расти другие. Лоскутами, вызывая приятное щекочущее раздражение, стала сходить омертвелая кожа. Заменивший ее гладкий слой был нежен и тонок. Как Адам ни возмущался повышенным вниманием к своей особе, доктор продолжал тщательно следить за происходящим. Он собрал несколько крупных кожных лоскутов и унес к себе домой. Над чем-то он явно раздумывал.

— Вспомните, а у вас тут были волосы? — спросил как-то доктор, указывая на внешнюю поверхность пальцев ног Адама.

— Были. Такие, знаете, рыжие кустики. И тут, на подъеме, тоже.

— Здесь сейчас нет волос, — констатировал доктор.

— Ну и что же? Какое это имеет значение? Отрастут.

— Посмотрим, — уклончиво ответил доктор. — Значение же следующее. Если не отрастут, то это укажет нам на одно из двух: или процесс замещения тканей был достаточно глубок, или... — Доктор странно засмеялся. — Замещается ваш генетический код, маэстро!

Закончились мучения с ногами — начался новый приступ депрессии. Адам не мог работать. Вид галереи ему претил. Он пришел туда только раз по настоянию Альфреда, безразлично слушал, что тот го-

ворил ему о заказах и приглашениях, а когда вошел кто-то из старых клиентов, он с трудом узнал его и в середине разговора вдруг сказал: „Простите, я должен вернуться домой". Альфред за его спиной что-то поспешно объяснял насчет болезни хозяина, уговаривал клиента подождать еще месяц, меж тем как Авири направлялся к выходу, поглядывая словно впервые на свои висящие по стенам работы. Альфред, опережая клиента, спешил за ним. „Снял бы ты всю эту чушь", — устало сказал Адам и вышел.

Теперь и нескольких часов не мог он провести без Нади. Когда она уходила куда-то с мальчиком, он молча сидел в мягком кресле и ждал, глядя, как тонкоструйное время течет и течет в песочных часах. Ему нужно было присутствие Нади, ее голос, жест ее, поза, мерцание ее глаз. Его профессией стало — смотреть на нее. Он жил в состоянии, которое можно было бы определить как элегическое. Он думал о том, что всей предшествующей жизнью был обманут; что блага ее оказались пусты, недолговечны и совсем не нужны ему; единственным же, что принесла ему жизнь, была слишком поздняя встреча с Надей, любовь к ней, которая единственная и питала его сейчас, заставляла карабкаться от прожитого часа к следующему в каком-то неизбывном ожидании — чего? — сказать он, конечно, не мог, но мог он понимать, что неизбывность именно и есть сама любовь, что она никогда не бывает полна и никогда не дает собой утолиться, пока живет и продолжает быть любовью. В этом ему тоже чудился жестокий и неисправимый обман. Все это время они с Надей почти не обменивались словами. То, что испытывали оба, стояло вне слов, было невидимым образованием, окружавшим каждого и немедленно обращавшимся в единую, обнимающую двоих оболочку, когда они находились рядом. Оно, это общее их подвижное окружение легко возникало — и с трудом распадалось на два отдельных, когда Наде и Адаму приходилось покидать друг друга. Так легко стекаются две капли влаги в одну, разделить которую снова на две значит разрушать ее естественно сложившуюся форму и терять часть влаги вовне... Среди молчания Адам следил за жизнью их непрочной оболочки, и второй несправедливостью, как еще один обман, воспринимал он невозможность остановить непрерывное это движение, перетекание, разрыв, недолговечное слияние и вновь разрыв. Он хотел, чтобы, образовавшись вокруг них, сотканная из частичек света и тепла она не распадалась и не иссякала, а стала бы непреходящей данностью, свидетельством и знаком, самим источником и средоточием любви, которая таким

лишь образом могла бы обратиться в вечное и потому правдивое. В сознании его, теснясь и заслоняя одна другую, возникали смутные картины, бывшие, как ему хотелось думать, неизбывным источником постоянства, и поскольку Адам обладал вполне понятным у художника свойством мыслить зрительно, он стремился увидеть перед собой реальные и пусть не статичные, но хотя бы различимые по формам образы. Это не удавалось. Сами образы, возможно, и были той оболочкой, остановить движение которой хотелось Адаму, и если и возникала в его мыслях связь с миром материальным, то лишь потому, что он поневоле пытался представить свои видения запечатленными на холсте. Казалось иногда, что его тянет взяться за кисти. Но лишь вспоминал он, сколь грубы они, эти лезущие из тюбиков цветные жгуты, сколь неспособны передать они жизнь потрясенного духа, как немедленно отвращался от желания приблизиться к мольберту. И все же!.. Если когда-то и была надежда, то только еще здесь, в этом тяжком бесславном занятии, где он не раз терпел уже страшные поражения. Так говорил он себе, когда думал, что, может быть, кто-то найдет — не он, так кто-то другой — найдет то, что ему не дано уже было найти. Он был уверен, что все уже позади, и когда он вкушал, будто истекающие соком чуть привядшие плоды на затянувшемся пире, минуты своих элегических размышлений, присутствие смерти всему придавало терпкий, вяжущий привкус.

И однажды он заснул, и во сне, среди ночи, страшная судорога свела его члены и вырвала стон из его груди, гримасой исказила лицо и оставила так, с дыханием, не вышедшим наружу, лежать его тело — жесткое, все из углов, как кусок исковерканного железа.

— Адам, Адам! — закричала Надя и с этим криком неодетая вбежала к доктору и, едва он вскочил на своей постели, снова выбежала вон. Доктор бросился вслед за нею.

— Он умер! — рыдала Надя. — Он умер, он умер! Это я, я своими руками убила его, я уйду вместе с ним, он умер, доктор, он умер!

Верхняя простыня была откинута в сторону, и то, что увидел доктор, потрясло его. Немыслимое усилие напрягало все тело Адама. Бугрились мышцы, вены и сухожилия готовы были лопнуть, натянутая кожа лоснилась и белела там, где кости суставов едва не прорывали ее. Недвижимое и бездыханное человеческое существо было сейчас непрочным сосудом, грозившем мгновенно распасться на части от плотного сгустка вошедшей в него энергии.

— Возьми себя в руки! Он жив! — крикнул доктор и кинулся к своей переносной аптечке. Немедля сделал он инъекцию антиспазматического препарата, затем ввел камфору и адреналин. Минуту-другую он решил выждать. Надя, всхлипывая и смахивая слезы, успокаивалась. И в этот момент, повинуясь инстинктивному побуждению, доктор снял простыню, прикрывавшую ноги Адама, и посмотрел на них. Вид детски розовых ступней и молодых ноготочков побудил доктора присмотреться и ощупать пальцы ног и выше, всю стопу до лодыжек, где словно кромка коротких носков шла граница вновь образовавшейся кожной поверхности. Доктор не верил себе: спазм, охвативший все тело Адама, скрючивший ноги и руки и исказивший лицо, на стопах ничем не проявлялся! Пальцы были мягки и податливы, и оставались подвижны оба голенностопных сустава! Пока доктор мучительно вспоминал, описана ли где-то каталепсия такого рода, тело Адама сильно содрогнулось раз и другой и так, продолжая вдрагивать с ослабевающей силой, но все чаще и чаще, стало освобождаться от напряжения. Судороги обратились в мелкую дрожь, и у Адама, как при малярии, застучали зубы. Воздух со свистом вышел из легких, последовал глубокий вздох, и Адам задышал — с хрипом и шумом, прерывисто, неспокойно. Потом дыханье стало чередоваться с затяжной зевотой, сорвавшейся внезапно в тяжелый, нескончаемый кашель. Появились слюна и розоватые выделения, и доктор, беспокоясь, что больной может захлебнуться, стал торопливо переворачивать Адама на бок. Надя помогала ему. Кашель стих, Адам задышал ровнее, последние слабые судороги исчезли. Доктор Мэвин и Надя лишь переглянулись, боясь после всего происшедшего сказать вслух о том, что видели они теперь: Адам спал.

Остаток ночи прошел спокойно. Правда, Надя так и не заснула больше и сидела до утра рядом с Адамом в кресле, да и доктор уснул далеко не сразу. В сознании его то и дело возникала картина мучительного процесса, который он только что наблюдал. И все новые и новые попытки объяснить происхождение странной болезни Адама доктора ни к чему не приводили. Одно лишь ему было ясно: и незначительное воспаление вокруг ногтевой лунки, и процесс, захвативший обе стопы, и то, что происходило этой ночью, не было случайным, разрозненным сочетанием фактов, у всех имелась общая причина. Аллерген? — думал доктор. Мало похоже, даже если это был еще один вид в дополнение к множеству известных и действующий столь неожиданным образом. Инфекция? Но на инфек-

ционное заболевание походило разве что начало процесса. Необъяснимое началось потом: анализ крови, который по настоянию доктора был сделан Адаму в период воспаления обеих ног, не дал увеличения против нормы числа лейкоцитов и условного числа эритроцитов! При воспалении такой силы этого просто... не могло быть. Анализ повторили, и результат был еще более поразительным: гемоглобин увеличивался, общий состав крови оказался превосходным! Именно тогда-то доктор Мэвин заинтересовался кожным покровом пораженных ног. Затратив немало труда, прибегнув даже к микрофотосъемке при боковом освещении, доктор получил рисунок линий на лоскуте кожи, сошедшей с одного из участков подошвы ноги. А затем, сославшись на пользу лечения парафином, удалось сделать и отпечаток новой кожи с того же самого участка. Сравнение двух рисунков дало явное несовпадение линий. Доктор показал результат знакомому врачу-криминалисту — тот, рассмотрев фотоснимки, сказал „полная ерунда" и не стал продолжать беседу: я готов обсуждать, заявил он, точно проверенные данные, соответствующие научным знаниям, а не, простите, дорогой мой, черт знает что. С этого момента у доктора не раз являлась воистину ненаучная мысль о перерождении организма — мысль, которую он гнал от себя, как наваждение. Однажды, постоянно подавляемая, эта мысль ненароком была произнесена, — когда доктор, сам того не желая, сказал вдруг Адаму о замещении генетического кода. Сформулированное таким образом объяснение, хотя и оставалось ненаучным, все же выглядело не совсем уж абсурдным, и доктор ухватился за него как за что-то реальное. Была во всей этой истории и еще одна скрытая сторона. Поневоле наблюдая за состоянием Нади, доктор то и дело ловил себя на странном чувстве, будто Надя знает больше него о болезни Адама и как будто предвидит развитие событий. Ведь и перед этой ночью она с особенной настойчивостью уговаривала доктора остаться у них до утра. Доктор вспомнил и тот компресс из алоэ, отказаться от которого Надя никак не хотела; необъяснимой была и ее сдержанность и внимательная деловитость в те дни, когда сам доктор готов был впасть в панику при виде ног Адама. И лишь сегодняшней ночью Надя была действительно в ужасе от случившегося. Что значили слова „я убила его, я уйду вместе с ним"? Со страхом доктор подумал, что, если Адам погибнет, Надя не задумается наложить на себя руки. За ней надо следить внимательно, говорил себе доктор. Беспокойство долго еще не давало ему заснуть. Все гово-

рило за то, что надо ждать дальнейших неожиданностей, которые потребуют от него сил и выдержки.

На следующий день Адам выглядел разбитым и опустошенным. Было непонятно, осталось ли в его сознании что-то от прошлой ночи, или сон и беспамятство не позволили минувшему кошмару лечь на душу тягостным бременем. Он лежал молча и ни о чем не спрашивал. За день он с великим трудом раза два или три поднялся — однажды для того только, чтоб совершить обычный ритуал переворачивания песочных колб. Часы с фигурками Адама и Евы, что принесла ему Надя, он взял в спальню и поставил на прикроватную тумбочку. Наде он при этом сказал:

— Я всегда помнил, что ты — Ева. Как ты думаешь, мы вернемся в рай?

— Да, — ответила Надя.

— Я люблю тебя все больше и больше. Может быть, моей любви окажется достаточно для жизни в раю?

— Одной твоей? Нет, милый. Ты хотел сказать — твоей и моей. Мы будем там вместе.

Он пролежал весь день, то прикрыв глаза, то напряженно всматриваясь куда-то в пространство, где, казалось, видел что-то недоступное взгляду других. Ближе к вечеру он просил позвать к нему Альфреда. Когда тот пришел, Надя провела его в спальню и закрыла за ним дверь. Альфред пробыл у Адама около двух часов и вышел от него в состоянии, определить которое было бы затруднительно. Он бормотал: ,,все сначала... или самому... зачем же он..." — и на осторожный вопрос доктора, в чем дело, ответил, что о подробностях разговора с Адамом говорить не должен, а может лишь сказать, что ему предложен выбор: или взять на себя ликвидацию галереи, или продолжать дело без участия Авири. ,,Что ж, — кивнул доктор, — давно пора. Бросайте-ка вы это все, молодой человек". Альфред оторопело посмотрел на доктора и ушел, забыв проститься.

Перед ужином Адам сказал, что посидит немного с доктором в гостиной. Надя оставила их, занявшись мальчиком.

— Скажите, доктор, — спросил Адам, — ночью что-то случилось со мной?

Доктор на мгновенье замялся, но решил сказать правду:

— Было тяжелое спазматическое состояние, сильные судороги. Почему вы справшиваете? Вы что-то помните?

Адам отрицательно покачал головой.

— В том-то и дело, что ничего не помню. Но я... Я чувствую, что... потерял себя еще больше.

— Потерял себя?

— Я не могу это выразить лучше. Может быть, это похоже на опьянение. Только потому, что и при опьянении бытие — весь этот житейский бред — перестает тебя волновать. Но есть и другое... И это, доктор, не объяснить.

— Все же, Адам, раз уж мы заговорили?..

— Я все дальше ухожу от себя. С каждым из этих приступов со мной происходит явная метаморфоза. Например, я знаю, что с сегодняшнего дня я уже не способен совершить какой-то поступок или взяться за дела, которые вчера для меня были обычными. Сегодня у меня другие мысли и иные побуждения, не те, что день тому назад. А что мы есть, доктор, кроме как наши поступки и мысли? Я упрощаю, но иначе не сумею объяснить вам и толики.

— Продолжайте, Адам. Я очень хочу вас понять.

— И что-то направляющее входит в меня. Я всегда был уверен, что принадлежу себе целиком и полностью, что нет на свете ничего, что поколебало бы мое ,,я''. Но, доктор, я теперь не столь самонадеян. Есть некое во мне начало, которое на меня воздействует и меняет меня, ввергает в мучение, выводит из него и ввергает снова, и я был бы готов возроптать, как несчастный Иов, если бы не чувствовал, что это к лучшему — вы понимаете? — к лучшему! К лучшему — или к смерти, что, может быть, дорогой мой доктор, одно и то же — совершенство, точка схода. Я быстро изменяюсь к лучшему, что значит — я это чувствую — быстро приближаюсь к смерти. И почему такой подъем? — Адам и в самом деле был возбужден, хотя в течение дня находился, как считал доктор, в депрессии. — Я готов сидеть или лежать, не шевелясь, часами и слушать то, что во мне происходит, как меня наполняет...

Он остановился, и доктор подумал, что слово ,,любовь'' должно было быть продолжением. Но Адам не закончил фразу. Вместо этого он спросил:

— Это действительно похоже на конец?

Доктор отвечал Адаму задумчиво и говорил при этом не одному только Адаму, но самому себе тоже.

— Во всем, что с вами происходит, меня пугает одно: неизвестность. Я не знаю, что это. Я даже затрудняюсь квалифицировать происходящее как болезнь. Скорее всего мы имеем в данном случае, — доктор заговорил так, будто был в кругу коллег, — ряд пе-

риодически повторяющихся состояний организма. То, что вы о себе говорите, заставляет предполагать не одни соматические перемены, а, конечно, психосоматические. Если мы пока для простоты не станем принимать во внимание, *как* эти перемены проявляются, то принципиально ничего неправдоподобного в происходящем не найдем. Мы знаем, что причиной изменений в соме сплошь и рядом являются душевные катаклизмы, состояния стресса или, напротив, большого душевного подъема. Вы — как я думаю, боясь задеть меня, — не решились сказать ,,любовь", но, возможно, где-то здесь ключ к тому, что я пока не рискую обозначить иначе, как ,,неизвестность". В конце концов, от любви не только худеют, — ,,сохнут", говорят в народе, — нередки случаи глубоких изменений во всей системе функционирования организма. Почему ваш случай не отнести к той же категории? То есть, скажем мы, под влиянием серьезных эмоциональных сдвигов наступает, определим это так, глубокое перерождение организма. И это понятие, пожалуй, наиболее точное. Не изменение только, а именно перерождение, и знаете, почему? Посмотрите на свои ноги, Адам. Эти обе ваши ступни, уже немало потоптавшие бренную землю, — разве не выглядят так, будто принадлежат они юноше лет шестнадцати? И потом... они просто не ваши, Адам!

— Что это значит — не ваши? — недоуменно переспросил Адам.

— Их ткани — так, по крайней мере, выглядит кожа — обладают свойствами иными, чем до перерождения. Отмершее — умерло, но вместо отмершего появилась не копия прежнего, а нечто совершенно новое, раньше вам несвойственное. И вот здесь-то и начинается неизвестность! Это противоречит... — Доктор остановился и, не найдя подходящего выражения, развел руками. — Всему! — с трудом договорил он.

Вдруг он наклонился к Адаму и, близко глядя ему в глаза, сжав его колено цепкими пальцами, продолжил:

— Вы говорите — смерть? Смерть — это старение сомы, разрушение тканей. Мы наблюдали пока что обратное. Регресс — в сторону молодости?! — Доктор нервно захохотал, но оборвал себя и, по-прежнему напряженно вглядываясь в лицо Адама, полувопросительно сказал. — Не смерть — бессмертие?

— Одно и то же, доктор, одно и то же! — быстро подхватил Адам, как будто только и ждал произнесенного доктором слова. Вероятно, в продолжение всего монолога доктора он сдерживал возбуждение и теперь заговорил увлеченно.

— Я упомянул о точке схода, помните? Она есть совершенство, есть выражение бесконечности мира и в то же время — смерть мира, исчезновение. Я поясню. Представьте себе картину, построенную по идеальным законам классической перспективы. Это, как вам известно, означает, что жизнь картины подчинена направлениям лучей, протянувшихся к одной-единственной точке схода. Представьте себе эту точку и лучи, идущие к ней. Теперь представьте, как изображение начинает уходить в глубь картины строго в соответствии со схождением лучей к одной точке. Изображение уменьшается, так что сперва пустеют края картины, затем все более и более концентрируется вокруг точки схода, а затем и входит в нее, обращаясь полностью только в одну эту точку, — между прочим, в симультанных играх я это проделывал, — и вот мир исчез, его нет! Наступила смерть материального пространства, ушедшего в бесконечность, обращенного в точку, но обретшего тем самым совершенное — без каких-либо видимых или невидимых недостатков — воплощение и ставшего бессмертным, потому что какое же мы можем предположить умирание внутри нашей точки? И начнись обратный процесс — движение по лучам, но теперь из точки схода, все ближе и ближе — и мир вновь возродится в своем естестве! Поэтому я так люблю эти песчинки, доктор! Каждая из них — воплощенный в точке мир, каждая — гигантское пространство, в котором сосредоточена бесконечность. Они живут — покоятся и снова движутся, каждая из них мертва и каждая бессмертна!

Оба умолкли. Словно почувствовав, что после слов „бессмертие" и „смерть" беседа себя исчерпала, вошла Надя и пригласила к ужину. За столом Адама охватила внезапная слабость. Ему помогли добраться до постели. Он лег — и началось последнее его мучение. Потянулись дни и недели, полные страданий, боль и ужас которых переносил он в глухом одиночестве, потому что с первых же минут, сказав лишь несколько слов в утешение Наде, умолк, а потом впал в забытье, из которого уже не выходил. Глаза его были прикрыты. Но веки вздрагивали, и глазные яблоки под ними двигались. Не оставались неподвижны и мускулы лица, на котором постоянно отражалась идущая где-то глубоко в сознании жизнь: невидимые внутренние силы вели свою тяжелую борьбу или, может быть, игру, и на лице как будто рисовалась картина их схватки. Напряженное ожидание и внезапный порыв, животный страх и детская улыбка, беспощадность и мольба — непрерывная череда

изменений шла волнами по лицу неподвижно лежащего человека. За сутки лишь на несколько часов затихала подспудная эта деятельность, лицевые мускулы переставали сокращаться, расслаблялись, и изнуренный дух погружался в сон. Но даже и этот краткий покой распространялся только на сознание, тонкая структура которого, возможно, и не выдержала бы непрекращающейся борьбы. Однако та часть организма, что составляла бренную плоть и была материей грубой, то есть была природой для того и создана, чтобы переносить невозможное, испытывала страдания постоянные, без единого перерыва, и жестокость их нарастала. Было грозное величие в их неумолимом шествии. В человеческом теле вершилась работа, подобная той, какую вела инквизиция в свои самые жуткие времена: немыслимые пытки подвергали истязаниям каждую живую клетку, и арсенал этих пыток становился все изощреннее со дня на день. Как и прежде, сперва воспалилась кожа. Но если первоначально был захвачен один только палец ноги, а затем во время второго по счету приступа воспалились лишь обе стопы, то теперь процесс пошел выше и выше и, интенсивно распространяясь, стал охватывать все тело и остановился у шеи. Была при этом деталь, которую доктор, по-прежнему недоумевая перед необъяснимым, все же предвидел: процесс уже не затронул стопы, „переболевшие" раньше. Пораженное тело доктор тщательно осматривал по нескольку раз в день. Со временем выяснилась еще одна подробность, заставившая доктора не только удивиться в очередной раз, но и снова задуматься над общим смыслом происходящего в организме: быстро захватывая поверхность тела, процесс обошел детородные органы и ближайшую вокруг них область. Говорило ли это о повышенной сопротивляемости организма именно в данной сфере, что было бы вполне естественным? Или же таковая картина, напротив, указывала на необыкновенный ход процесса, на то, положим, что механизм его был связан с работой желез внутренней секреции? Доктор Мэвин мог только теряться в догадках. А скоро у него уже недоставало ни времени, ни сил, ни внутренних эмоций предаваться теоретическим размышлениям: состояние Адама стало меняться таким ускоренным темпом, изменения на его безжизненно лежащем теле стали столь значительны и устрашающи, что доктор успевал лишь делать краткие записи в истории болезни. Призванные для консилиума врачи — всего пятеро, среди них два профессора — в подавленном молчании читали и передавали друг другу записи доктора Мэвина:

„бурное образование твердых вздутий по всему телу размером от чечевичного зерна до ореха на фоне общего мелкого высыпания...

появление эксудата... волдыри, напоминающие картину ожога второй степени на внутренних поверхностях конечностей и на боках...

физиологический раствор, кальций, дерматоген... воздержался от переливания крови, так как анализы по-прежнему превосходны (тут у доктора стоит латинское sic! и далее идут цифровые данные) ...

общий отек... поражение слизистой... вероятное распространение процесса на дыхательные пути, затрудненность дыхания, хрипы, отделяемое (данные анализа, после которых написано „чисто!") ...

сердце и легкие — норма; пульс — норма; давление — норма..."

Это был странный консилиум. Все, что представил доктор — и прежние свои записи, выводы, догадки и предположения, и записи, сделанные сейчас, во время нынешнего периода болезни Адама, — выглядели исчерпывающе полными и с профессиональной точки зрения безукоризненными. Консилиум почитал, помолчал, порассматривал тело Адама и согласился со всем, что предпринимает доктор Мэвин. Коллеги сошлись также в том, что условия ухода и врачебного наблюдения позволяют, по крайней мере пока, не госпитализировать больного. Когда все уходили, один из врачей, давний друг доктора Мэвина, взял его под руку и тихо, так что никто не слышал, сказал:

— Вы не исключаете отравления? Что-то малоизвестное?

Доктор медленно кивнул в знак согласия, но обсуждать ничего не стал.

Вечером, когда доктор и Надя ужинали, она спросила:

— Зачем вы их позвали? Разве они могут знать больше вас?

— Полагается — ответил доктор. — Этого требует врачебная этика. Да и мне спокойней. А по поводу того, что они знают и что знаю я... — Доктор взглянул на Надю: — Ты ничего не хочешь мне сказать?

Она не отвечала. Склонив голову и опустив глаза, исхудавшая, тонкая, обессиленная заботами и страхами всех этих дней, сидела она перед доктором, и весь вид ее словно взывал о пощаде.

— Я ни о чем бы не стал тебя спрашивать, Надя, — продолжил доктор с усилием. — Но я врач. Ты же видишь, что происходит. В

ближайшее время следует ждать кризиса. Бог знает, чем все кончится.

Надя плакала и кусала губы. Потом она встала, прошла в ванную, чтоб привести себя в порядок, а вернувшись, заговорила ровно, вернее старалась так говорить.

— Вы можете не поверить мне... Я сама боялась поверить, пока... Пока с Адамом не началось... Я жила в деревне у бабки. Мне было шестнадцать. Господи, как давно! В другой жизни... Я влюбилась в мужчину. Он был взрослый, я думаю, лет тридцати, и у него была девка — из магазина сельпо. Их обоих часто видели пьяными. Но он был красивый, большой и, наверно, добрый. Он заметил, да и все замечали, как я на него смотрю, и он стал водить меня в сарай, где были корова с телкой и поросенок. Я ревела ночами, а бабке сказала, не побоялась. Она меня жалела, она понимала все, моя бабка. Она вообще все знала. Это была Мещера, там травы — много-много!.. Бабка собирала, сушила, и у нее лечились. Говорили, что даже докторша из райцентра звала ее к себе — у нее было какое-то женское заболевание, и бабка ее вылечила. Ну так вот, она много чего мне рассказала и научила, чему успела, — не только в это лето, я и раньше у нее жила, несколько лет подряд. А в этот раз сказала, уже перед самым моим отъездом: Евдокия, говорит... — помните, доктор, я как-то вам объясняла, что мое полное имя было — Евдокия? — на вот, Евдокия, возьми, ты уже баба, тебе все можно доверить, а я уже старая, скоро Господь приберет, знаю, уже не увидимся мы... Она дала мне семена... Семена адамова ногтя — это цветок такой, и вот почему он так называется: если семена растолочь...

Надя оборвала себя на полуслове.

— Я слушаю тебя, — сказал доктор.

— Да, да, — вздохнула Надя. — Просто нельзя об этом рассказывать. Но теперь уж все равно, и я вам все расскажу. Адамов ноготь надо растолочь и настоять на спирту. Нужны еще можжевельник, ландыш, пыльца земляники, но адамов ноготь из этого сбора самое главное. Знаете сказки о приворотном зелье? Если дать его выпить, в человека вселится любовь, и она никогда не пройдет. У меня был муж, и мы хорошо жили с ним. Но я не очень сильно его любила. Несколько раз — я знала всегда, когда это было, — он мне изменил, но этих женщин он не любил, а ко мне, как это бывает, потом относился с большей лаской. Когда он погиб, я тосковала, но все равно я знала, что сильной любви у меня так и не было.

Доктор, — вдруг с мучительной нежностью в голосе сказала Надя, — вы же знаете, я бы и вас любила, я вас любила всегда! — но и это было бы обманом, доктор, вы же все и так хорошо понимаете, правда?

— Конечно, Надя, конечно, — сказал доктор так, будто из Надиных слов выходило, что не он, а она нуждалась сейчас в утешении.

— Когда случилось, что я встретилась с Адамом, — продолжала Надя, — я подумала сразу же, что мы будем любить друг друга. Но я ни шага к нему не сделала. И он тоже. Только когда он принес мой портрет, мы оба поняли, что нам не от чего уходить. Ну, а потом... Доктор, я полюбила его до безумия, доктор, и мне каждую секунду было страшно его потерять. А он, бедный, сам не знал, что с ним происходит. Он метался. Он просто не привык любить и, может быть, не умел любить так, как я, и я боялась, что все кончится вдруг — ну вот, не пришел однажды — и все, и конец, и можно умереть, все это было непереносимо, доктор, и я не выдержала, не хватило сил у меня — я дала ему семя... И вот причина, доктор, все с этого началось!..

Надя попыталась остановить рыдания, но безуспешно. Доктор давал ей воды и гладил по волосам, повторяя „не надо, Надя, не надо..."

— Вы уж меня простите, — сквозь слезы улыбнулась наконец она. — Вы можете меня спрашивать обо всем.

— Хорошо, — согласился доктор, чувствуя, что жалость к Наде уступает жгучему интересу врача. — Итак, ты дала ему выпить настой, — потом ты скажешь мне все пропорции, хорошо? — и что же дальше?

— Дальше было, как сказала бабка. Вы же знаете, у него сошел ноготь.

— Это предсказала бабка?! — воскликнул доктор, но тут же поспешил спросить: — Так, сошел ноготь, а дальше?

— Я взяла его ноготь.

— Взяла?.. Ну и...?

— Распарила над кипятком и добавила.

— Как... куда добавила?

— В тот же настой адамова ногтя. И дала ему три капли.

— Так велела бабка?

— Она велела это сделать. Но я теперь уже боюсь, что в чем-то ошиблась. Она сказала: дай три капли, это я точно помню, но она говорила, что если он еще... если не чувствуешь, что он любит так,

как ты хочешь, так же сильно, как ты... тогда надо дать еще? Или мне кажется, что она так велела? Доктор, я уже не уверена, запомнила я правильно или нет, ведь бабка бормотала, а иногда заговаривалась. „Любовь-греховодница сгинь-уходи, любовь-первородница вечна пребуди..." — „У кого душа готова, тот перемучается и всех других моложе будет; у кого душа не готова — вовсе тому не быть..." Я стала пить сама, доктор, но...

— Что?! — вскричал доктор. — Ты пила эту...? — он хотел сказать: „отраву", но сдержался вовремя, однако увидал, как Надя горько усмехнулась.

— В том-то и дело. Я думала, что мы сможем погибнуть вместе. Но я ничего не чувствую. Потому что это — для мужчины.

Они долго молчали. Было уже далеко за полночь. Доктор всем существом своим осознавал, что он живет сейчас в мире, где царят иные, нежели привычные ему, представления о разумном и упорядоченном, где понятие „человек" оказывается расплывчатым и необъяснимым, где властвует одна лишь всепобеждающая, мощная и непостижимая сила, что именовалась там, в его прошлом мире, словом „любовь", которое в этом оставленном мире было немного постыдным, выдававшем, скорее, слабость, а не силу, и бывшую как бы не слишком-то удобным и не очень нужным приложением к тому, что несла людям жизнь — будничная, полная забот, несчастий, болтовни и грязи — грубая, смертная и бесконечная жизнь. Куда-то она сметена теперь, эта мелкая жизнь, взмахом огненного крыла, задевшего всех их, сошедшихся здесь, — и доктора с его тихой любовью к Наде и мальчику, и саму захваченную страстью Надю, и распластанного на своей постели художника.

И то, что началось, то продолжалось и шло к завершению. Тело Адама покрылось струпами, и отвратительное зловоние стало распространяться от язв, поразивших его. Слившись все вместе, образовали они единую кору, скрывшую все то, что где-то там, под корой, оставалось еще незатронутым. Так это выглядело: сгнивающее бревно с четырьмя необрубленными ветвями. И только обе стопы — младенчески первозданные, и только лицо — живущее в недоступности, говорили о том, что не все еще кончено и что впереди еще брезжит надежда. Но когда процесс достиг апогея и исчерпал себя, когда, затвердевая и засыхая, струпная корка стала отшелушиваться, отпадать от тела слоями, и наружу могли вот-вот выступить незащищенные ткани — двинулась вдруг вся невидимая сила на лицо и поглотила его. Черная — из темной глины,

покрытая углями и пеплом и сочащаяся влагой, — лежала неподвижная жуткая маска и смотрела в бездонность пространства. Счет времени был прерван. Лишь голосок мальчугана где-то в глубине квартиры весело возвещал иногда о том, что мир существует, и Надя спешила к ребенку. Доктор трудился день и ночь, стоя один на один с неизвестностью. И однажды жестким голосом он повелел Наде выйти и не входить, пока ей не будет разрешено. Он стал снимать отставший от тела струп. Его работа напоминала труд археолога, взявшегося раскрывать тысячелетия назад спеленутую мумию. Но не иссохшие кости надеялся доктор увидеть, и он видел уже, что... Суеверное чувство мешало ему дать название происходившему. Под ярким светом сильной лампы, на фоне ослепительной белизны простыни лежала лицевая маска. Доктор, орудуя скальпелями и пинцетом, принялся за нее. Она была едина и почти не рассыпалась, лишь то, что было некогда дремучей бородой и седоватой шевелюрой Адама Кудлатого, опадало серыми свалявшимися клочьями. Доктор сделал круговой надрез по абрису лица, попробовал приподнять с одной стороны и с другой... Резина влажных перчаток скользила, доктор наскоро вытер их о салфетку и взялся снова. Высушенный, перегоревший струп, сложившийся в омертвелую эту маску, стал отходить, выше и выше отделял его доктор от...

Лицо светилось свежестью и чистотой, а молодое гладкое тело было покойно и полнилось силой. И — когда открылись ясные, устремленные далеко-далеко глаза, тот, кто некогда был Адамом, встал, и Ева подошла к нему. Никто не слышал, чтобы они говорили друг с другом, но каждое движение их было полно согласия и смысла.

Они ушли и взяли ребенка с собой, но доктору было обещано, что мальчик будет видеться с ним. Они жили в горной долине к северу от Тивериадского озера, и никто не знал точно, где. Время от времени отправлялся в те края Альфред, и в небольшой деревне молчаливый человек передавал ему объемистый ящик. Это были работы художника. В городе же, где он прежде жил, восстановили давний, всеми забытый уже симультанный аппарат Адама, умевший оживлять все то, что люди скрывали в себе. И привозившееся от художника представало пред доктором и Альфредом, которые проводили за аппаратом нескончаемые часы. Иногда с Альфредом приезжал и мальчик. Он ничего не рассказывал о жизни

на севере. Мальчик радовался встречам с доктором и, подрастая, ничуть не терял своей привязанности к нему.

Доктор решился однажды позвать к симультанному аппарату знакомого писателя. Потрясенный, тот сказал, что ни сам художник, ни еще кто-либо другой не имеют права возражать против открытого доступа к аппарату. Установку усовершенствовали: Альфред, как оказалось, многое о ней знал от самого художника. И с некоторых пор один из небольших концертных залов стал местом, куда шли люди, чтоб видеть и познавать себя. Не один из них обнаруживал, что, покинув зал, не мог уже жить так, как жил до сих пор. После нескольких случаев самоубийства многие поняли, как велика очищающая сила этой на первый взгляд невинной игры, которую никто не решался назвать искусством. В ней заключалась новая, неизвестная людям жизнь. И те, кто были к ней готовы, жаждали испить ее.

Июль-октябрь 1979
Раанана

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

выпускает в первом квартале 1981 г.
НОВУЮ КНИГУ:

ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО" (СБОРНИК ВТОРОЙ) — до упаду смешные, до слез язвительные и горькие четверостишия, в России уже ставшие фольклором, цитатой, неизменным спутником дружеского застолья. Кто из русских евреев (и не только евреев) не улыбнется понимающе, читая: "Царь-колокол не звонит, поломатый, царь-пушка не стреляет, мать ети, — и ясно, что евреи виноваты: осталось только летопись найти"?! В сборнике, иллюстрированном веселыми фотографиями, — свыше 150 новых жемчужин находящегося сейчас в советской ссылке автора. Цена 6 долларов.

Книготоварищество предлагает также книгу: **ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО" (СБОРНИК ПЕРВЫЙ)**. При заказе обоих сборников вместе цена 10 долларов.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", **СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**: "MOSCOW JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

Александр Гольдман

А МОЖЕТ, КРОКОДИЛ

„Одну простую сказку, а может, и не сказку, а может, непростую хочу я рассказать. Ее я помню с детства, а может, и не с детства, а может, и не помню, но буду вспоминать". Эдуард Успенский. Господи, темнота, Успенского не знают! Эх, так вот и понимать начинаешь, что свалили вы, ребята, прорву времени тому. Да от него вся Россия без ума! Пишет для детей я-ко-бы. „...Не помню, но буду вспоминать". Не хочу вспоминать, но буду.

Начинают в унисон тромбон, труба и саксофон-альт: „Та-уа-та, та-па-та-там-пам-па-ра-рам, та-па-та-там-пам-па-ра-па-та-там, та-па-та-там-пам-па-ра-ра-рам-пам-пам-пам-пам-пам..." Теперь певец, баритоном: „День Победы..." Как там у Успенского дальше? „В одном огромном парке, а может, и не в парке, а может, в зоопарке у мамы с папой жил один смешной слоненок, а может, не слоненок, а может, поросенок, а может, крокодил". Жил, точно, и папа был жив тогда, вот я у мамы с папой и жил. Крокодил. Нет, милые вы мои, я был теленок — вы ж помните, ребята, добродушный такой телок, не эмигрант брюхатый и морщинистый, не плешь и бабы, водка с пивом в жару, водка только начиналась, а стихи еще не кончились. Мы ж с тобой, Жаник, клуб любителей поэзии открывали, а я к открытию стихи написал — „...и пускай юноголовые здесь рождаются мечты Солженицынской суровости, Паустовской чистоты..." Год шестьдесят пятый... Телок, истинный, друзья мои, теленок. Давно только. Я даже еще красивый был тогда, красивый еврейский мальчик. А может, не еврейский. А может, крокодил. В самом деле, что во мне от еврея? Нос курносый? Гамсун мой от еврея?

Ну, ладно, наливай, Трифонов, и поехали — развелось вас здесь в Израиле: Голубев, Лебедев, Терещенко — как жидов нерезаных. „Однажды зимним вечером, а может, летним вечером он погулять по парку без мамы захотел..."

В мае это было, девятого мая. Погулять по парку захотел. Без мамы, а с девушкой Сильвой. Бродили по парку с девяти утра до

восьми вечера, потому что очень хорошо было нам с девушкой Сильвой на дорожках, толченым кирпичом нарумяненных, как марокканочка, под деревьями, похожими на рисунки из детской книжки-раскраски: коснулся ветвей карандаш зеленый — и брошен капризно и вдруг, и скелет прекрасный виден, и зелень разбросана послюнявленным грифелем случайно и ярко. Одиннадцать часов вещал я о том, как я ее люблю. Сильву. А может, и не Сильву. А может быть, Гюльджан. Очень уж я любил мою Гюльджан, среднюю дочь азиатского партийного мандарина. Все рассказывал ей, рассказывал о том, как поженимся, как родится у нас девочка и как назовем мы ее в знак уважения к родительским народам Гюль-Сара.

Но: проголодались мы с Гюльджан. Очень и разом. Двадцать два года все-таки. Одиннадцать часов. Плюс весна. И пошли мы с тобой, Сильва, в ресторан „Пльзень", Центральный парк культуры и отдыха города Москвы, круглая такая деревяшка. Или было это в ресторане „Норок" кишиневского треста общественного питания, парк имени Пушкина, бюст поэта работы Опекушина? И — баритоном, как и говорил: „День Победы... Приближали, как могли..." Эт-точно, как могли, так и приближали. Что лучше не могли — в это я верю, чего я не понимаю — как могли? Как смогли? Как этот монгол с железными зубами победил фон Браухича? Но — приближал, видать, как мог!

Не певец это был. Певица жирная и напудренная. Вся в зеленом — как крокодил. Да и дело было в Казани, ресторан при гостинице „Заря". Шашлык рубленый „Заря" — забудешь такое?

Что за сказки-происки-врагов-пропагандистские-штучки — не пьют, мол, в Израиле? Да мне и в лучшие времена так не шло. Вот ты и плесни мне, Трифонов! Или ты Голубев? А может, крокодил?

Итак, заказали мы с Галиной, счастье мое Галечка, из ленинградского „Дома книги" продавщица, бутылку „Столичной". На двоих. С закусью. А на закусь заказали мы салат „Столичный", также и эскалоп „Юность". Всегда Галка брала эскалоп, и любовался я ею, едящей эскалоп, богиней, едящей эскалоп, выходящей из пены и едящей эскалоп.

И не день Победы ничьей ни над кем это был. А день рождения Ленина...

Или победы все же?

Гаерничаю, ребята, а на самом деле подступиться боюсь. Бред, да? Ресторан, кто чего заказывал?.. Не бред!

Что я помню отчетливо: Золотые зубы. У официанта были золотые зубы. И золотой перстень. Массивный перстенюга. Я бы этого гада по перстню... Сегодня, говорю, сегодня я бы эту мразь узнал. Даже мертвого и без перстня.

Узнал бы гада.

Мертвого. Изувеченного.

Он *бил* меня!!! Они *меня* бииииили...

...и вот приносят нам бутылку водки...

Это трудно передать, я не эксперт, не водочный дегустатор, но — *утверждаю: эта водка была слита...*

Сразу как-то передалось это — от залапанного МГУ чувство шло, от того, как легко дернулась и слетела жестяная головка...

Налили.

— По первой, крокодил...

Не мо-гу. Эта водка была на золотых зубах настоена. Кричали в эту водку: „Будь здоров", дышали луком в эту водку.

— Официант!

— Горячее нести?

— Официант, — спокойно, я — будьте любезны, бутылку замените нам...

— А в чем дело, шеф? (По зубам золотым понял я, как попал, перстень выразил недовольство; недоволен, ох, недоволен был перстень с печаткой — буква „Л" посередочке — Леня? Лаврик? Люда? Но уж не крокодил никак, а? И туда он, и сюда, и блестит сухо...)

— Впрочем, нет, заменять, — я, — пожалуй, не нужно. Эту мы оставляем. Я ее возьму на экспертизу, а вы нам принесите другую, хорошо? (Почти ласково говорю; мальчишка!)

— Не знаю, не знаю, — мерзкой скороговорочкой, — ты зря, шеф, я заменю, чего там. Эскалопчики уже несу...

— Обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста, — пацан бушует во мне. — И позовите метрдотеля.

— Да не горячитесь вы, клиент. Пройдемте, поговорим. Шум-гам в зале... В банкетный, на минуточку...

— Извини, Сильва, я сейчас.

Недолго и отсутствовал... вот идем мы... Через весь зал конвоируют меня зубы золотые. В лучах иду, в сиянии небесном золотистом... Шаг вправо, шаг влево... „Порохом пропах"...

Потрохом, сучьим потрохом...

...влип в танцующую тетку...

...„с сединою на висках"...

— Вот сюда, за портьеру. (За портьерой Полоний, как крыса пищал, когда закалывали).

И не глянул на меня — врезал перстнем. В живот. Я на него — ууууббиввать!!! А он меня — не убивать. Побить только, но сильно очень.

Сзади меня ударили. По почкам.

Боль глухая, но очень страшная какая-то.

Меня *ни разу* не ударили в лицо...

Меня били в пах...

...перстень... кистень... приближается медленно и вроде бы плавится... расплавленное золото — в животе тепло и тяжело. (Из старого анекдота: „...ефрейтор Сидоров, не капайте мне, пожалуйста расплавленным оловом на голову"... Расплавленным золотом...)

Меня били в солнечное сплетение...

...в хромосомы...

На мне не осталось ни одного синяка.

— Иди, — сказали.

Сзади:

— Выпей водки, шеф! Вы-пей-те...

Засмеялись и ушли.

Я остался один в банкетном зале. Пустой зал, а из него дверь в директорский кабинет. Обитая, но открытая — *там слышали.*

...там мужик стоял перед директором, как перед военкомом. Ростом — метра два, молодой — мне ровесник, но с перстнем тоже. Масонская ложа у них? Читайте Емельянова: евреи и масоны правят миром. Масоны.

...говорил перстнявый: „Товарищ директор: Такой день! Разрешите провозгласить тост в честь маршала Жукова. Такой день... С ним — на смерть... Наши отцы"...

Помните по-ра-зи-тель-ные стихи Бродского, техническое совершенство — на смерть Жукова? Ритм барабанно-похоронный, с державинским „Снегирем" аналогии нарочитые.

„Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труб. Вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков".

Пла-мен-ный!

Анекдот расскажу, если нальешь, Трифонов.

...приходит мужик в кабак: „Официант! Значит, так: на столик слева подашь водки, грузинам туда вон — три „Цинандали", влюбленным в углу — шампанское, цветы, мне бутылку „Юбилейного" — пока... Ну, и себе бери бутылку чего хочешь..." ...погуляли. Весь ресторан напоил. С размахом.

Подает официант счет почтительно.

— Да какой там счет? Ни гроша у меня, что хошь со мной делай!

Ну, тот захотел, ну, он ему сделал — еле „скорая" откачала.

Через две недели — в гипсе, в бинтах — приваливает этот мужичонка в тот же кабак, садится к тому же официанту за столик:

„Официант! Мужикам тем четверым от меня — две бутылки беленькой, старичкам портвейну, бабе одинокой слева от меня — сладенького *со значением,* мне „Двину" ноль пять... А тебе хрен, ты, когда выпьешь, — дуреешь".

Нравится, Трифонов?

„...И заблудился сразу, а может, и не сразу, уселся на скамеечку и громко заревел".

Ну, не громко, положим. Тихонечко так. А сначала я действительно заплутал — ноги куда-то несли. Это я по залу блуждаю, Наденьку свою ненаглядную ищу. Кругом не протолкаться — в Хосте, летом, в кабаке — сами знаете.

...встает-таки мурло: „За здоровье маршала Жукова!"

...ну, пошел, черное, белками вращать: „Раншэ Сталин, патом Жуков". Грузинская иерархия.

„Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра о Ганнибале напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо, в опале, как Велизарий или Помпей".

А ведь точно — победили. Пир победителей в ресторане „Дружба". Ресторан „Дружба" — звучит, что твой „Трамвай Желание". Победители сидят. Вон у колонны победитель рыгает.

...и вот победитель.

Кого победили — знаем. Те — детей руками надвое разрывали. Евреев в печах жгли. Циклон Б.

Кто победил?

„К правому делу (еще раз: к правому делу...) Жуков десницу больше уже не приложит свою. Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою".

В страхе вернулся я к своему столику. Вранье. Без страха и

упрека рыцарь твой вернулся, Сильва. Какие упреки, к кому претензии? „Уселся на скамеечку"...

Вот и опять Успенский. (Великий стих, энциклопедия русского чего-то. Вот: энциклопедия русского отсутствия жизни). Как там дальше у него?

„Какой-то взрослый аист, а может, и не аист, а может, и не взрослый, а очень молодой решил помочь слоненку, а может, поросенку, а может, крокодильчику и взял его с собой".

...взяла меня с собой Наденька. Надежды маленький оркестрик под управлением моей к тебе любви... говорила, что у меня лицо страшное... и ничего не страшное — лица моего гордого не коснулся никто. Солнечного сплетения — это да, коснулись. Но не видно совершенно. И паха коснулись перстни бесстыдные. Взяла меня с собой. Решив помочь жиденку... а может, не решила... а может, не помочь.

— Уйди сейчас, ладно?

— Ну куда я одна? — (психолог мой, Жанка). — И грузины пьяные бродят — здесь знаешь что творится?

— Ну, на посошок, как у *вас* говорят, — (зубной водки). — Творится... Здесь у *вас* творится... А водка, как водка. Зря я привередничал (пресловутая наша понятливость — объясни нам только вразумительно).

...боль не проходит...

Было это в городе Барселона. В маленьком ресторанчике сидел я один — ни Сильвы со мной не было, ни Изабелки моей. В ресторанчике, на дверях которого значилось: „Вино и хлеб включены в стоимость обеда". Мочу, ослиную мочу, настоенную на сигарных окурках, принес мне официант — на оливковой (что характерно) коже багровые прыщи. Вместо благородного „Риоха альта".

— Замени — сказал я ему.

Четверть секунды он глядел на меня — и буква „П" виселицей выросла в мозгу, портьера была в его глазах, перстень присутствовал непременно, и подлость. Подонок был он, паскуда, прохвост и пакостник, проститутка и педераст...

...побои были в его глазах, ужасные побои. И помои.

...заменил бутылку, и „риоха" успокоила.

В этот раз я совсем не так боялся, а тогда боялся, вот Надежда меня и провожала, точь в точь как у Успенского, великого и многозначительного Эдика Успенского, созидателя талантливых пустяков:

„ — Вот это твоя улица? — Вот это моя улица, а может быть, не эта, а может, не моя. — Вот это твоя клетка? — Вот это моя клетка, а может, и не эта, не помню точно я".

Моя клетка каждая болела нестерпимо. Тут уж не собьете, тут уж помню точно я. Я плакал уже вслух, Сильвы не стесняясь, головой в пальмы утыкался, а она все спрашивала: „Где ты остановился? Ну где?" Совсем оркестрик выбился из-под управления моей любви...

„Так целый час ходили, а может, два ходили от клетки до бассейна под солнцем и в пыли..." Клетка — от бассейна Донецкого до бассейна Кузнецкого. Вся в ресторанах-официантах-Лавриках-одноклеточных.

Круги делали...

...вон она родная стекляшка светится уютно... громыхает:

— „Этот День победы порохом пропах"...

В пах!!!

Борщом пропах твой День победы, биточками-по-нижнетагильски...

Во фраке мой Лаврик скользит, что твой Горшков. Завтра у мальчика выходной, но приведет его убогая официантская фантазия в тот же занюханный кабак, сядет он, развалившись, за свой столик, за мой столик, где сидели мы с Галей сегодня, и скажет сменщику важно: „Принесешь бутылку водки; скажешь в буфете, что для меня".

Психология это — официант, способ мышления — официант. Если бы был я составителем британской энциклопедии, то так бы там и написал: „Официант — это тип, которому *ничего* не стоит заманить невинного человека за портьеру и избить его до полусмерти".

„...Но дом, где жил слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, в конце концов нашли..."

— Ты меня не приглашаешь?

— Я тебя не приглашаю, Гюльджан, я тебя, как мог, приближал. Приближали, как могли... А теперь — не могу и не приближаю. Поцелуй меня, у меня губы совершенно целы, ты только в пах и в почки меня не целуй, очень мне больно...

...нашли мы дом... Нашли дом?

Клетку?

Сильву обманул? Себя?

А может, и не Сильву, а может, и нашли.

„А дома папа с бабушкой, а может, мама с дедушкой сейчас же накормили голодного сынка, слегка его погладили, а может, не погладили, слегка его пошлепали, а может, не слегка".

Не слегка.

Нет, каков? И ведь „Детгиз" издает. А книголюбы за это „Детгиз" разрывают. А такого там сроду не видывали. И все Успенского о-бо-жа-ют...

„И с этих пор слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик свой адрес заучил и помнит очень твердо, и даже очень твердо. Я сам его запомнил, но только позабыл..." Мой адрес: улица Сирени, дом 35, квартира 8. Чтобы не забыть.

Октябрь 1980 г.
Реховот

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

выпускает в первом квартале 1981 г.

НОВЫЕ КНИГИ:

АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. "КОНТУРЫ ТАЛМУДА" — книга "одного из крупнейших религиозных мыслителей современного Израиля" (журнал "Комментари"), впервые на русском языке рассказывающая о возникновении, содержании и значении уникальнейшей в истории человечества книги — еврейского Талмуда.

216 стр. цена 9 долларов

ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН. "ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ" — "вероятно, важнейшая еврейская книга за последние десятилетия" (журнал "Мидстрим"), остро и глубоко ставящая важнейшие проблемы жизни еврейства в Израиле и на Западе.

216 стр. цена 9 долларов

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW–JERUSALEM", **СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"**: "MOSCOW–JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Он поставил палатку не так, как она хотела. При этом, конечно, спросил:

— Как ты хочешь, чтоб я поставил палатку: развернул ее к морю, или к морю боком поставил?

Она ответила, может быть, слишком поспешно:

— К морю!

Потом еще раз попросила:

— Разверни ее к морю!

И он сделал наоборот. Может, догадывается уже о чем-то? Пока она зевает, уже все понял? Нет, это просто его обычная поперечность.

— Чего же ты ее поставил боком к морю? Сам спросил "как" — а сделал наоборот. — Она сказала это обычным тоном недовольной жены, немного сварливо, но не слишком, чтоб не вызывать ссору. Спросить нужно было! Показалось бы неестественно, если бы она не спросила!

Она даже не слышала, что он ответил. Наверно что-то обычное, вроде: "Так получилось". Она уже забыла о палатке. Ей нужно было сосредоточиться на другом.

Она неохотно влезла внутрь, на резиновый матрац, накрытый простыней, положила младшего Амоса, сама легла рядом на подстилку, заранее уверенная, что сегодня все потеряно. Суета этого дня опять мелкими острыми камешками будет падать

Шали Рожанская

ПРИВЯЖИСЬ К МАЧТЕ

и падать на душу, постепенно заполнит ее, навалится всей тяжестью, вытеснит все остальное, желания и воспоминания. И к концу дня останется там пустота...

Она повернула голову направо и в узком окне палатки увидела Море.

Амос заснул скоро. Даже напевая ему, она чувствовала уже, что все будет... Амос ей не мешал. Он вообще умел не мешать, даже когда не спал.

Засыпая, он повторял время от времени "мама", проверяя, как всегда, тут ли она. И она отвечала ему, как обычно: "Я здесь, маленький, спи, спи". И уходила, оставаясь лежать рядом с ним на подстилке, — уходила... Море в ней: прилив — волна — плюх — всплеск. Тихо шуршат камни и ракушки по песку, оно вновь откатывается назад, опять: плюх — всплеск, и снова шуршание камней... Море в окне палатки совсем другое. Тоже бесконечное, но совсем иное.

Сегодня ей повезло: видны еще и камни, черные камни, через которые перекатывается вода: плюх — скатилось, плюх — скатилось, и так — без конца.

Возвращалось то, что должно было вернуться... И чтобы это произошло поскорей, она даже легла в ту же позу. Неудобную позу, как тогда на швертботе. Было неудобно тогда. Палубы на этом маленьком швертботе не было.

Тогда она лежала на баке*. Ногам ее, длинным, очень тонким ногам, было неудобно.

Вот тогда налетел тайфун. Тот знаменитый ленинградский тайфун, который обрушился вдруг на все суда, яхты, рыбацкие лодки, беспечные, полные раздетых людей, радостно впитывающих теплые солнечные лучи. Шторм налетел неожиданно. До того всю неделю стояли жаркие солнечные дни. И вдруг, к концу воскресного дня — шквал.

— Давай, давай перебирайся к мачте! Отпусти ванты!

Она еще не успела тогда войти в ритм моря. Вернее, у Него еще не было понятного ей ритма. Жуткое ослепительное солнце, жуткая рябь по сине-серой воде и жуткий ветер. Сейчас ее сорвет с перевернутого швертбота, пронесет над поверхностью воды, над самой рябью и в светлую пучину... Она продолжала карабкаться вверх по шершавому боку полузатонувшей лод-

---

* бак — нос судна

ки, не чувствуя кожи: кожа одеревенела — так сильно давил ветер.

Вот тогда он впервые коснулся ее рукой. Какая она была — теплая или, холодная? Это единственное, чего уже не вспомнить. Жесткая, наверно, жесткая. Он стянул ее вниз, в теплую воду, и она оказалась под прикрытием швертбота, который несся, перевернутый, куда-то, даже вода бурлила.

Но даже сквозь этот вой ветра она услышала слова, которые Максим повторял ей уже, наверно, много раз:

— Давай, давай перебирайся ко мне, к мачте.

Кроме того, мозг ее, который шквал просто как будто выдул из черепной коробки, теперь стал оседать и шевелиться.

"Следует привязать себя к мачте" или "Следует привязаться к мачте?" Она была хорошей ученицей и старалась вспомнить эту фразу точно.

Это учили, когда сдавали теорию вождения парусных судов. Так надлежит сделать, когда швербот переворачивается.

...И ждать помощи.

Она всегда ходила на больших килевых яхтах. На швертботе — это ее первый выход. Тренировочный поход на маленьких швертботах перед большим многонедельным походом на крейсерской яхте. Из четверых только Женька-гонщик швертбота. А они, все трое (она, Максим и Лешка) — крейсерщики.

Максим здесь, рядом.

Где же остальные?

Тогда, только тогда, единственный раз на этом швертботе, холодным отчаяньем наполнило ее всю. И начало качать, появились волны. Немного поднимет, обдаст теплом, скатится. Она только успела подумать о беременной Женькиной жене, которая провожала их и махала с пирса... И о том, что Леха совсем маленький, толстомордый, с подпухшими глазами, и что он никому не нужен. Отец-алкоголик давно умер, а мать гуляет...

Она ослабила хватку, волна приподняла ее, и тут она увидела их обоих: Женьку и Лешу. Они зацепились за что-то с другой стороны швертбота. Наверно, намокшие серые паруса закрывали их прежде. А может, они только теперь выбрались сюда, раньше держались за ванты или клотик... Теперь этого уже никто не узнает, потому что из всех четверых осталась она одна — "живучая жидовка, кошка"...

А тогда Максим привязывал ее к мачте, а она, улыбаясь онемевшим ртом, смотрела на Леху и Женьку.

Они были все четверо живы тогда, и были вместе — чего же еще?!

— Сарритик, он спит?

Амос давно уже спит, подложив ручку под головку. А он (нет, не Максим, не Женька, не Леха, а тот, кто нарочно поставил эту палатку боком к морю) смотрит на нее весело. Он рад, что младший уснул. И она рада: тоже улыбается...

Он, только он один придумал для нее это имя — Сарритик. Веселое имя. Наверно, поэтому ей сразу было с ним легко и не страшно.

На минуту она потеряла бдительность. Он заметил ее взгляд, устремленный в окошко.

— Посмотри, какой чудесный вид из окна (наверно он действительно был не против, чтоб она сейчас увидела Море).

Может, и палатку случайно поставил боком?

Все сразу пропало. Она увидела чудесный вид. Синяя, очень синяя вода, черные камни, белые брызги. Красивый вид. Вид. Слово — убийца.

Она сказала скучным голосом:

— Закрой, пожалуйста, окошко брезентом — малышу дует. Я еще полежу здесь немного. Вы пока с Даней поешьте.

Амос зашевелился. Амос часто приходит на помощь.

Он не стал спорить и сразу закрыл окно брезентом. А она тоже во-время отвернулась.

Она лежала, и Море опять возвращалось к ней, и она вновь увидела рядом коричневые глаза Максима, который вдруг замер. И стал дышать глубоко-глубоко. Вода закрывала их обоих по пояс, они упирались ногами в затонувшую палубу, и шкот поддерживал ее возле мачты. Одну ее или его тоже? Нет, он был свободен в движениях, просто держался руками, и смотрел на нее не в глаза, а ниже. И она поняла: на ней не было верхней части купальника, сорвало ее, видно.

И она была красивой!..

Ей говорили обычно, что у нее красивые глаза. Но тогда Максим смотрел не на ее глаза... И ее вдруг всю обдало теплом. Оно проникло внутрь, в сердце, глубже — в живот.

Даже сейчас в палатке, она чувствовала, как ее вновь обдало теплой волной.

Он продолжал смотреть на нее, и она знала, что красива сейчас вся, вся, даже тонкие костлявые ноги стали сейчас красивыми.

— Какая ты красивая, Господи!

Затем он вдруг исчез и тут же вынырнул с кипкой, надувным спасательным жилетом, и сказал:

— Надевай!

"Надевай", — сказал он, и она сразу стала "его" девушкой. Он не хотел, чтобы Женька и Леха видели ее раздетой. И он помог ей надеть жилет, тоже чувствуя радость своей власти над ней.

Но Женька ничего не понял. Он подобрался к мачте, к ним поближе, и сказал, цепляясь посиневшей от холода рукой за борт: "Отдай жилет Лехе — он же мальчишка!"

Леха услышал как-то, замотал головой, волна подбросила его и подтолкнула к ним троим.

И тогда она осознала, что Леха все время наблюдает за ней преданными красноватыми глазами, глазами сына алкоголика.

Сколько ему сейчас — 15 или 16? — подумала она. Когда они познакомились ему было лет 11. Его выгнали тогда из школы, и он все дни проводил в яхт-клубе, даже ночевал там.

А она, уже взрослая девушка, учительница, тощая учительница, стала говорить ему то, что положено говорить учительнице, что, мол, надо учиться. И как ни странно, первый раз в жизни кто-то ее послушался. Может потому, что она говорила это, не задумываясь.

В общем, с Лешкой все было, как в плохом советском романе: она на него повлияла, он исправился — бросил пить, стал работать и учиться в вечерней школе.

Но она не любила советских романов. Кроме того, на самом деле все было не как в романе, а как в жизни: Леха не учился, а сдувал контрольные, не работал, а больше прогуливал, доставал подложные больничные справки. Только пить он бросил по-настоящему.

И еще странно было, что повлияла на Леху не какая-нибудь Люба или Таня, блондинка с курносым и гордо вздернутым носиком, а она, длинноносая и тонконогая Сарра.

— Как тебя зовут, девочка?

— Сарра!

— Как Вас зовут, девушка?

— Сарра!

— Не может быть!

— Да, Сарра!

Не может человек с таким именем прожить в Советском Союзе; ходить в садик, учиться в школе, кончить институт, работать.

А вот может!

Сарра знала, что просто нужно, называя свое имя, смотреть прямо в глаза, спокойно смотреть прямо в глаза.

— Как тебя зовут?

— Сарра!

Ее имя даже помогает ей. Обычно никто не выдерживает ее взгляда: ни плохие люди, ни хорошие, ни слабые, ни сильные.

— Вы такая милая, как вас зовут?

— Сарра! — Прямой, спокойный взгляд.

И слабые, нехорошие люди начинали лебезить, по-доброму заглядывать в глаза.

Хорошие, сильные — просто смотрели с уважением, иногда говорили: красивое имя! (Это дань уважения мужеству). Но в общем, тоже смущались.

Трусливые антисемиты просто терялись перед ее наглостью.

А честные антисемиты прямо в лицо говорили то, что другим сказали бы в спину.

В классе она одна была еврейка.

— Как тебя зовут, девочка?

— Сарра!

— Ах Сарра — ну так получай по носу! Держи подарок!

— Держись, держись, Сарра, — повторял тогда Максим, застегивая на ней жилет и касаясь ее плохо гнущимися одеревеневшими пальцами.

Но ему, как и ей, не было холодно. Он не дал ей снять жилет. Вместо этого пропал, нырнул куда-то, исчез на несколько минут. И она за эти минуты пережила все, что положено пережить каждой женщине в ее жизни с любимым: разлуку, отчаянье, одиночество... И поняла, что мужчины всегда должны уходить...

Она даже стала расстегивать на себе жилет, чтобы передать его Лехе. Хотя знала, что Максим не хочет, чтоб она оказалась даже в воде раздетой.

Но тут Максим вынырнул вместе с волной, накрывшей ее. Где-то под парусами в затонувшем ахтерпике под водой он нашел остальные спасательные жилеты.

Их оставалось два (всего было почему-то три на четверых).

Хорошо еще, что лежали в ахтерпике, и их не смыло. Все остальное: одежда, обувь, часы — исчезло безвозвратно.

Подтянувшись, Максим перебросил жилеты Женьке и Лехе, а сам остался рядом с Саррой.

И она вмиг забыла о Жене и Лехе и сделала то, что никогда не решилась бы сделать прежде: стала греть ему руки, сначала одну, потом другую, потому что одна рука у него должна была быть свободной, чтоб держаться. Она же держалась обеими руками, несмотря на то, что шкот тоже поддерживал ее хорошо и почти совсем не резал. Нет, все же резал тело. Она и сейчас, в палатке, ясно ощущала при каждом отливе волны тупую резь от державшего ее тогда шкота.

"Следует привязать себя к мачте" или "Следует привязаться к мачте"?

Тогда она тоже думала об этом, прижав головой и грея шеей руку Максима, лежавшую у нее на плече. И потекло время совсем другими мерками: не минутами и часами, а волнами, которые тоже не стоит считать.

Волна — тепло (их откатывает друг от друга, поднимает) — ослабевает, потом усиливается натяжение шкота — опять ослабевает — спад воды — опять натяжение — тело ударяется о корпус швертбота, но зато Максим ближе. "Какая ты красивая, Господи!" Это она слышит опять, хоть он и не говорит ничего. Слышит все время.

Можно остаться там, не возвращаться назад в палатку к детям, к мужу, в пустоту заполненных будней.

Она никому сейчас ничего не должна. Можно вернуться к Морю.

Вдруг Женька подобрался к ним (они успели забыть и про него и про Леху, довольно было того, что те были живы). Женька сказал:

— Нужно поплыть на берег за помощью. Это недалеко!

И еще сказал Максиму:

— Оставь свою Сарру!

Лешка тоже смотрел молча на нее злыми глазами. Он, как и Ленька, был против. Только море было за!

Женька не отставал. Он один был полон деятельности, суеты — Море совсем не проникло в него. Он хотел жить.

— Давай, давай двинем, пока светло, — приставал он к Максиму.

Леха сказал, как отрезал: "Я не поплыву", — хотя плавал отлично. Сарру и звать не стоило: еле-еле душа в теле. Но Максим —

спортсмен... И хоть он все еще был с ней, рядом, она поняла, что он всегда будет немного против нее со своими русскими друзьями. Это не так уж важно, но чем-то они чужие — почувствовала она.

Максим понял это: они ведь были одно. Он наклонился, совсем прижался к ней и шепнул: "Не бойся, и я еврей".

Она поверила — ради него. Мужчинам ведь так нужна наша вера, особенно, когда они сами не уверены в том, что говорят правду.

Еще он сказал ей: "Я вернусь — ты держись", — и подтянул державшую ее веревку сильней.

Она знала, что даже привязанная к мачте — утонет. Утонет, когда устанет шея. Голова просто опустится в воду. Уже сейчас шея у нее не двигалась, почти онемела. Она не могла ее повернуть и поэтому не видела, когда Максим отплыл. Наверно, Леха отдал ему свой спасательный жилет. Потому что его нашли потом в жилете. В жилете нашли и Женьку. Они так и лежали на пирсе, на том самом пирсе, с которого Женькина жена когда-то махала им рукой...

И Сарра подошла. Остальное она помнит очень плохо. Плохо запомнились и похороны.

Но это все было позже. А тогда она снова увидела злые Лехины глаза. И еще она увидела, что он без жилета. И она сделала последнее усилие: негнущимися руками, превозмогая ломоту во всем теле, сняла жилет и протянула его Лехе. Но Леха сердито отбросил его в сторону, и жилет сразу пропал в волнах. У нее не было даже сил повернуть голову и проследить за ним взглядом. А Леха смотрел ему вслед... а потом снова взглянул на нее, уже не так зло.

И тогда она сказала Лехе: "Перебирайся ко мне: привяжись к мачте". Губы плохо слушались ее, и голос пропал, и хотя он услышал, но не так понял (люди часто понимали ее не так). И еще, она была теперь совсем раздета, неприкрыта даже жилетом. Ей было уже все равно. Совсем не холодно, просто все равно.

Но ему было не все равно. Он не хотел теперь быть рядом с ней, после Максима.

Он еще вполне держался. Мог бы поплыть с Женькой и Максимом. Но он не хотел без нее — она знала. И, как всегда, он ничего не выучил и не знал, и не помнил, что "следует привязаться к мачте". "Следует привязать себя к мачте".

Она же ничего не могла сделать. Сейчас, в палатке, она опять повторила себе, что ничего не могла сделать тогда! Не могла заставить его привязаться к мачте. Потому что она уже ничего не чувствовала, только где-то внутри было тепло, хорошо, удивительно хорошо и тепло внутри. И тонуть ей было совсем нестрашно. Она просто становилась постепенно частью Моря. И Море это понимало и не очень сильно кидало и било ее теперь. Волны стали меньше. Так что не нужно было уже тянуть вверх голову, чтоб вдыхать воздух. Да она бы и не могла уже, голова ее теперь лежала на краю борта. Леха не был виден. Но она знала, что тогда он еще был там.

Она видела ставшую светло-коричневой воду и рыб, очень много рыб, которые совсем не боялись ее, принимая за свою, и тыкались носами в ее ноги. А ног своих она не чувствовала, смотрела на них, как на что-то незнакомое, чужое. И совсем не чувствовала своего тела, наблюдала за ним как бы со стороны. Только глаза ее еще жили, и еще она ощущала приятную теплоту где-то внутри (спасибо Максиму). Но потом она, очевидно, и глаза закрыла, потому что вдруг чайка задела ее крылом, громко крича. Она тогда открыла глаза на минуту, почувствовала, что одна в целом мире, что и птицы теперь ее совсем не боятся. Что-то сжалось у нее внутри, чуть-чуть: уж очень пронзительно кричала чайка...

Сейчас в палатке, пережив все это, она заснула вновь. Так всегда бывало. Она не хотела просыпаться, потому что первые слова, которые она услышала тогда, проснувшись, были: "Живучая еврейка", и другой голос подтвердил: "Жидовка, кошка"...

Тогда она сразу поняла главное: что осталась в живых одна. Нет, Максим не вернется, нечего ждать. Нет Лехи. И Женьки тоже нет. Нет Максима. Впрочем, и не могло быть у них ничего хорошего. Вот и сейчас, заботливо растирая ее грубыми руками, вливая в нее водку, не забыли эти парни, что она — Сарра.

Ребята-спасатели дошли на своем катере до яхт-клуба. Там в эту ночь никто не спал. Ее уложили в клубе на диван, накрыли. В больницу ехать она отказалась. Кто-то принес ей поесть, помог переодеться, вернее — одеться в ватную куртку и штаны.

А назавтра днем она выползла из-под пальто, которыми ее накрыли. Сползла с кожаного казенного дивана, дошла, шатаясь, до пирса и увидела лежащих у самой воды Максима и Женьку. А Леху нашли позже.

Она осталась в живых одна, потому что привязалась к мачте.

И еще потому, что живучая. Каждый раз она пытается додумать все до конца. Ей кажется, что она все поймет, если вернет то ощущение, когда она стала вдруг частицей Моря, когда Море проникло в нее.

Когда она вдруг оказывается возле Него, у нее разглаживаются морщины и глаза приобретают другой цвет — цвет Моря. Некоторые это замечают. Володя, их друг, сказал как-то: "Ты вдруг стала другой!" — Они тогда сидели на берегу.

— Почему ты тут не плаваешь на яхте? Ты ведь была яхтсменка, да?

— На яхте не плавают, а ходят. Вернее, уходят и все забывают. Я не могу уже уйти и все забыть: я ведь привязана. Меня привязали тем, что привязались ко мне. Как к мачте, Володя...

Он не понял.

— Здесь нельзя заниматься парусным спортом? — (Он еще только приехал и набирал информацию).

— Нет, не в этом дело. Здесь я живу, и не плаваю, не ухожу, а живу!

— Но почему ты не можешь и здесь плавать?

Она постаралась найти другое, более простое объяснение.

Начать ходить в море здесь?.. Это, как начать жить с другим!

Он снова повторил: "Но здесь у моря ты стала совсем иной".

Володя заметил, но это было не опасно... Главное, чтобы этого не заметили дома, в семье. Иначе они никогда не дадут ей приблизиться к Морю. Особенно муж и старший. Наверно, она — та мачта, к которой они себя привязали. Да она и сама не хочет отойти насовсем. Мачтой тоже быть неплохо — ответственность, долг. И одиночество, и безысходность.

"Привязать себя к мачте" или "Привязаться к мачте".

Это основное правило, чтобы выжить.

Привязаться — полюбить, найти опору. Привязать — держать, не отпускать. В первом случае жертвуешь собой, во втором — о том, к кому привязываешься, о мачте, — не думаешь. Привязать себя — и все.

Странно, сколько всего было за эти годы: муж, дети, другая страна, дружба, разлуки, увлечения, разочарования, смерти, и рождения, и переезды, но главным осталось Море, его связь с ней.

Ребята помогли ей тогда сохранить это. Никто не говорил ей

в яхт-клубе, что она "живучая кошка", — там все знали, что такое "Море". Легкое парусное судно — его игрушка. Тогда, после похорон, она вдруг перестала спать. Дома никого не было. Родители были на даче, даже не знали о страшном шторме на заливе. Соседи тоже. Она допоздна болталась в яхт-клубе. Теперь она понимала Леху. Плохо идти домой, когда тебя никто не ждет. Раньше она так любила тишину пустой квартиры, но тогда, после той ночи, не могла оставаться дома одна. Даже читать не могла. Бродила, как тень, по яхт-клубу, и тощие слабые ноги упорно приносили ее к тому пирсу, где недавно лежали Максим и Женька. (Леху она так и не видела. Его нашли и хоронили позже. И она как-то прозевала это. Может, ей нарочно не сказали.) Только там, в яхт-клубе, она чувствовала, что не мешает, не кажется странной.

Хотя она совсем не любила всех тамошних. Даже доверять им стала меньше. (Сказал же ее друг Женька: "Оставь свою Сарру, Максим!")

И Леха ведь был тоже, с его злыми глазами, нежеланием оставить ее и приблизиться к мачте, привязать себя к мачте.

Их яхта готовилась тогда к дальнему походу. "Как и было спланировано", — сказал боцман Овечкин в ответ на ее удивленный взгляд. У всех горели отпуска. Это одной ей было неважно — учительские отпуска длинные.

К походу, в общем, все было готово, но Тимофей никак не мог получить "добро": из шести человек положенной команды нехватало троих — ее, Максима и Лехи. С трудом нашли какую-то толстуху, которая разводилась с мужем и хотела переменить обстановку. С ней стало уже четверо. Нужно было найти еще двоих. Сарра была в курсе дел. Целыми днями сидела безучастно на палубе, видела, как ребята — Юра, Тимофей и боцман Овечкин — пожилой уже мужик — возятся, хлопочут, пакуют продукты...

И вдруг Тимофей сказал:

— Ты, Сарра, с нами идешь. Иначе нас не выпустят!

И она согласилась.

Ей было все равно. С ними — так с ними. Шестым пошел еще один парень, Сергей. Как всегда, раскусить его ей помогло ее имя. У него сразу забегали глаза, он даже оглянулся на остальных, словно удивляясь, что они терпят, не смеются. Но ребята, даже добродушный Овечкин, смотрели на него строго и серьезно, так же, как смотрела Сарра. И Сережка почувствовал себя

так неловко, что даже ушел в форпик, стал там возиться с парусиной. Впрочем, он оказался неплохим парнем, работягой, и ребята к нему хорошо относились. А она нет. Она вообще стала гораздо жестче. Ведь Максим не вернулся.

Им повезло. Вернее это ей повезло: погода держалась свежая — и работы было много. Вахты, авралы, ведь шесть человек всего. Она была в вахте с Тимофеем, и спала в самом удобном на яхте месте, которое все яхтсмены называют "гробом". Это у трапа в кают-компанию. Залезать туда надо ногами вперед, поэтому, наверно, оно так и называется. Но спать там действительно удобно — тепло, никто не задевает, проходя мимо. И на падаешь при любой качке.

Первые дни они все шли и шли. Поутру вставали, завтракали, мылись забортной водой. Именно так: завтракали сначала, мылись потом; дуло сильно, еда быстро остывала и расплескивалась. Потом вахта оставалась наверху, остальные шли досыпать. Затем вахта будила подвахту и сама шла спать.

Сарре было спокойно и легко до тех пор, пока они прямиком не дошли до Куриш-гафа.

Там их настиг штиль, наступила жара. Все разделись, стали отдыхать: загорали, ловили рыбу, купались. Она тоже надела купальник, новый купальник. Но прыгнуть в воду!.. Об этом даже думать не могла! Она помнила, как лежали возле этой самой воды раздутые Максим и Женька. А в Куриш-гафе вода была особенно неприятной: изумрудно-зеленой. Это водоросли росли в жару.

Ей же хотелось видеть серое, холодное море, быстро идти под парусами, держать до онемения румпель.

Приведись — волна — увались.

Долго никто не замечал, что она не купается.

Потом к ней пристал Сергей: "А ты чего не ныряешь?"

Она оглянулась, увидела, что их никто не слышит, и сказала, нагло посмотрев ему в глаза: "Не хочу!"

Врать ему было ниже ее достоинства. Что он мог ей сделать? Не толкнет же в воду!

Толкнуть он и вправду не посмел. Но подошел к Тимофею и что-то тихо стал ему говорить, поглядывая на Сарру. Тимофей же на нее не оглянулся, поэтому она не ушла с палубы: прозевала время. Только услышала, как Тимофей сказал громко: "Я сам, ты не лезь".

Он вдруг одним шагом пересек палубу, молча приподнял Сарру и бросил за борт в зеленую воду.

Обалдев от неожиданности, она вмиг вынырнула, схватилась за свисавший с борта трап и быстро забралась наверх. Тимофей спокойно сидел на палубе, не помогая и не мешая ей. Так же спокойно он снова взял ее на руки, приподнял и снова спокойно уронил в воду.

Она опять вынырнула, забралась по трапу на палубу, готовая бороться, как угодно, лишь бы не дать этой отвратительной воде снова коснуться ее тела. Но Тимофей был ловчей, проворней и сильней, и вода сомкнулась над ней в третий раз.

Теперь, вынырнув, она схватилась за трап, отплевалась и стала ругать Тимофея всеми словами, какие знала. Он ждал, пока она замолчит. Потом сказал, наклонившись:

— Проплыви один раз вокруг яхты, и я тебя оставлю в покое. Проплыви вокруг яхты только один раз.

Выжимаясь побелевшими, несмотря на жару, руками, цепляясь негнущимися ногами, она опять залезла по трапу, и опять он осторожно, на этот раз совсем осторожно, почти ласково, опустил ее с борта в воду.

За ними уже все наблюдали. Юра и Таня перестали плавать и дурачиться, Овечкин свесился с палубы в своих носках, Сережка смотрел... черт его знает, как он смотрел. Она видела, что все на нее смотрят, и понимала, что ничего ей не поможет — пока она не проплывет вокруг яхты, ей не дадут уйти из этой воды.

И она поплыла, преодолевая отвращение. Постепенно ритм движений успокоил ее. Стало легко — Море ласкало и успокаивало ее, вода не помнила зла — она любила Сарру.

Тимофей ее спас. Он не ждал, пока она заберется на яхту, молча ушел в кают-кампанию, стал смотреть карты. А она потом еще долго плавала в тот день. Она снова полюбила Море.

Все стало иным. Покой опустился на нее после того купания. Недвижными были зеленые воды Курши-гафа, ласково грело солнце, стоял штиль. Только к вечеру поднимался легкий ветерок, тогда они снимались с якоря, ставили грот и спинакер и тихо шли длинными галсами. К утру закисало, и они снимали паруса и снова вставали на якорь.

На душе было легко и светло. Даже в штиль ей было хорошо. Сны, засыпала она днем или под утро после вахты, были легкими: Максим появлялся снова и снова, близко и четко видела

она его коричневые глаза и широкие губы. И говорил он всегда одни и те же слова: "Какая ты красивая"... И ей становилось тепло внутри. Только раз, исчезнув после этих слов, вдруг начал он возникать снова — таким, как тогда, на пирсе. Она вновь увидела ясно тот серый дощатый пирс. И сразу сказала строго Максиму: "Перестань, а то я сейчас проснусь". И это помогло: Максим с пирса пропал. Он появился снова — живой, коричневоглазый, и она вновь ощутила тепло его рук.

И еще снился Леха, который смотрел на нее с упреком. И просыпаясь, она много думала о нем. Вспоминалось то, что раньше не замечала: как Лешка ждал ее темными вечерами, когда она возвращалась после вечерней халтуры из техникума (приходилось тогда подрабатывать, отец болел). Лешкина фигура вдруг возникала перед ней в темноте, когда она шагала, с трудом передвигая ноги, обходя лужи.

— Ты чего тут делаешь? — сердилась она. — Я даже говорить не могу — у меня горло устало! Не иди за мной.

— Я — только посмотреть на тебя, — говорил Леха и исчезал, прижимаясь к стене, как всегда похожий на дворнягу.

А она шла дальше, меся грязь.

Ей даже лень бывало повернуть голову, чтобы посмотреть, ушел ли он, да она и так знала, что он по-прежнему следует за ней в отдалении. Весь день он где-то болтался, (никому, и ей в том числе, и дела не было, где он), чтобы потом в десять вечера подойти к ней на секунду и сказать: "Здравствуй". Этого ему хватало. Но разве это давало ему право смотреть на нее с Максимом так, как тогда? Ночами она часто вспоминала тот его взгляд и видела его руку, отшвырнувшую спасательный жилет.

Они все трое жили в ней — Максим, Женька и Леха. Они ее всему научили. Максим помог ей стать красивой. Женька напомнил, что она им — чужая. А Леха — Леха заставлял ее и сейчас хранить им верность.

Хранить эту верность было легко. Разве могла она изменить им с теми, кто лез к ней под пьяную лавочку?

Только один Максим вдруг увидел ее тогда, держащуюся за перевернутый швертборт, и понял, что она красивая.

Теперь, она уже понимала, что ничего бы из этого не получилось.

— Как зовут твою девушку, Максим?

И Максим сказал бы ей: "Измени свое имя, зачем тебе это —

Сарра?!'' Ему, высокому и красивому, всегда было уютно в жизни, наверно. Он к этому привык. Максим бы сказал:

— Давай переменим имя, а, Сарра?

Сейчас, в палатке, она понимала это совершенно отчетливо и все ждала: вот опять обрушится та волна и она опять окажется в воде и будет хвататься за ванты, рядом с Максимом, Лехой и Женькой.

Может быть, до этого муж окликнет ее или проснется Амос, но пока еще можно спокойно вспоминать то лето — лето шторма и штиля.

После того купанья тихо шла их яхта ночами. Вахтили они с Тимофеем или с двенадцати ночи до четырех утра или в ''вахту-собаку'' — с четырех до восьми.

Яхта шла попутным ветром, работы было немного. Тимофей говорил ей: ''Спи пока!'' и слегка подталкивал к банке, и она ложилась и засыпала легким чутким сном... Время от времени поднимала голову — смотрела на меркнувшие звезды и светлеющее небо, засыпала снова. Тимофей осторожно накрывал ее ватником. Она сквозь сон чувствовала это. Всегда неожиданно он касался потом ее густых холодных волос и говорил тихо-тихо, чтоб не разбудить команду (потому что стояла вокруг необыкновенная тишина — яхта двигалась совсем бесшумно), — тихо говорил: ''Вставай, давай поворот скрутим...''

После того купанья (когда несколько раз он бросал ее в воду) она как-то невольно стала смотреть на него по-иному. И порой ловила и его взгляд.

Все кончилось неожиданно. Как-то утром штиль начался раньше времени. Часов в шесть уже совсем не было ветра. Она предложила Тимофею идти спать: судно все равно на якоре. Вдвоем они даже убрали все паруса.

— Ты иди, а мне дай твою куртку, я повахчу пока и простирну ее.

Он внимательно посмотрел на нее, снял куртку.

— Только из карманов все вынь! — напомнила она.

Он послушно проверил карманы, отдал куртку и ушел спать в свой личный ''гроб''.

Она развела в ведре мыльную воду и стала тереть его куртку, посматривая на восходящее солнце. Из куртки вывалились какие-то кружки и поплыли по мыльной воде. Она машинально

взяла их в руки, рассеянно посмотрела на них и тут же поняла, что это, хотя никогда не видела "это" так близко.

Она оглянулась: не заметил ли кто, что у нее в руках? Нет, мокрая от росы палуба была пуста. Что же с этим делать? Это нужно было решить сразу.

Запасся же, гад! Она невольно улыбнулась. Скорее всего, он нарочно не вынул их. Она вспомнила его взгляд и то, как он нарочито дотошно проверял карманы.

Наверно, хотел ее смутить. А может, показать, что, мол, не бойся — все будет в порядке.

Дурак! Как будто она боялась ребенка!

Нарочно оставил или нет?! Но об этом потом можно подумать, позже. Сейчас главное решить, что с ними сделать.

Она сидела, сжав колени, над ведром с плавающими презервативами и говорила сама себе: "Не волнуйся, обдумай все хорошенько!" Это был серьезный вопрос: куда их деть?

Спрятать на яхте — невозможно. Шесть человек на маленьком плавучем островке: тут ничего не спрячешь. Нечего и думать о том, чтоб выплеснуть их вместе с мыльной водой за борт. В такой штиль они тут будут сутки возле яхты плавать, и все будут говорить: "Откуда?" (Она помнила, как болтались такие штуки у набережной Фонтанки — там, где она жила).

Ничего нельзя выкинуть незаметно с яхты...

И, перебрав все варианты, она сделала то единственное, что можно было сделать: вложила эти штуки обратно глубоко в карман и продолжала стирать куртку, как ни в чем ни бывало. Потом аккуратно развесила ее на гике. К этому времени и команда уже стала выползать на палубу. Юра (он дежурил по камбузу) сварил макароны по-флотски.

Тигр посмотрел на аккуратно развешенную куртку, потом на Сарру. И она порадовалась про себя: пусть теперь гадает: видела она или нет.

"Вот ведь гад! — опять улыбнулась она, очень довольная собой. Пусть теперь думает!"

Она не сердилась на него — ведь она победила.

Но он вдруг стал ей после этого почему-то очень неприятен. Ей не нравилось, как он ест, как моется, сморкаясь. Даже неприятно было вспоминать, как он накрывал ее, спящую, ватником.

За Калининградом им сильно поддало. И парус — порвали

парус... Дело было ночью. Пришлось менять. Волна, ветер, темень. Смоет кого — не заметишь. И не найти никогда.

Поставили они тогда славный парус триссель, грот сменили и пошли... К утру море стало спокойнее, но намерзлись они здорово — и устали. На яхте сухого места не найдешь. Все намокло, даже карты. Начали потихоньку раскладывать на палубе одежду — сушить, но пошел дождь. Зато волнение совсем улеглось, — дождь сбил. Потихоньку и ветер стих. Все, кроме рулевого, улеглись спать в мокром. Она, морщась — примус коптил, — сварила ребятам плотный завтрак. Встали, кряхтя, поели, подкрепились, пошли снова...

Они теперь очень сдружились, все шестеро. Иногда казалось, — они одни и остались на всем белом свете. Как шестеро из одного стручка. Лица обветрились, потемнели, руки загрубели. Уже могли спать в любом месте, в любом положении. Одевались во сто одежек. Ели, как звери. Погода была паршивая — то ветер, то дождь, серое штормовое море. Но им это не мешало. В портах они теперь проводили мало времени, больше болтались по шхерам. Там тоже все было серым: скалы, покрытые мхом, небо, камни, вода. И вкусно пахло свежестью, мокрой травой, грибами...

Они заходили в тихие пустые бухты. Одинокие берега спокойно принимали их. Карабкаясь по мокрым камням, они закрепляли швартовые, убирали паруса. Из камбуза уютно пахло чаем и щами. Кто-нибудь, надев болотные сапоги, шел побродить, осмотреть места, залезал на скалу, сидел долго, неподвижно на вершине, потом спускался, рассказывал, что видел: два озера, роща, развалины финской усадьбы, смородина.

Но большинство даже не спешило отойти от берега, осмотреться. Приводили в порядок паруса, концы, сушились (если не было дождя) . Даже костер разводили вечером поближе к яхте.

Сидели, молчали... Вода в бухте становилась черной, бездонной. В тихие ночи сидели у костра долго, пока не начинали гаснуть звезды. Волны темные, гладкие, блестящие в свете луны, тихо шуршали, набегая на гальку... Иногда, особенно после дождя, море в бухте было совершенно неподвижным, черным, таинственным.

Как не хотелось ей возвращаться! У других были семьи, жены, дети. У нее — никого. Никто не ждал ее, и ей торопиться было не к кому. Максим не вернулся. Леха тоже. Никто не будет ждать ее у парадной и во дворе.

Те, с кем она сидит сейчас рядом, — даже адреса ее не знают. Придут — разойдутся по домам, по светлым теплым домам с розовыми абажурами и мягкими диванами. Зазвонят телефоны, забурлит горячая вода в ванне. После похода все хотят принять горячую ванну, позвонить по телефону.

Но почему-то никто не спешил. Все будто нарочно медлили, оттягивали приход. Долго стояли у дамбы морского канала в Ленинграде. Никто не бежал позвонить домой. Им было хорошо вместе. И тогда она поняла, что они тоже не хотят возвращаться, снимать ватники, пропахшие дымом костров и морским ветром. Почему-то долго стояли они тогда на дамбе...

Наконец, когда яхту чуть не долбанул буксир, поднялись, решительно снялись с якоря и пошли прямо в клуб. Быстро подошли к знакомым яхтам, стоящим без парусов у тех самых знакомых пирсов.

Но и теперь никто не спешил домой. За этот месяц они стали, как она, — бездомными. Море вошло в них — и все остальное стало неважным: дом, карьера, сердитый директор, сопливые дети...

Звенел где-то далекий трамвай, гудели машины... Наконец, нехотя пошли — звонить домой, на работу. Ей тоже нужно было идти — покупать учебники, ехать в школу, узнавать, что и как, сколько часов дают... Звон трамвая будил, звал. Море уходило...

— Приходи, Сарра, вечером. Обязательно. Нужно разобрать все. Придешь?

— Конечно!

И когда она через несколько часов пришла, помытая, успев сходить на работу и прибрать дома (родители еще не приехали с дачи), на яхте уже все были в сборе. Не то, чтобы ее особенно ждали, нет, но просто все бы нарушилось, если бы не пришла она — Сарра.

— Сарра пришла уже?

— Да, вот она, внизу.

— Ну, чего ж ты чай не ставишь?

И никто не вспоминал о доме. Их дом был здесь. Дом шестерых совсем разных. Даже говорить-то им не о чем. Поэтому лучше молчать. Это они умеют. Молчать и слушать Море, которое в них самих.

— Девушка, где Вы так загорели, на юге?

Она даже не взглянула на него. Разве объяснишь? И потом, она совсем не загорала — только лицо и кисти рук. Разве загоришь в ватнике?

Но он не отставал.

— Как Вас зовут, девушка? Сарра? Чудесно! У нас, в нашей стране, Вас будут называть Саррит!

Все у него было "чудесно". Никаких проблем, все ясно и... неточно.

В другой стране ее тоже называют Сарра, а не Саррит.

Но разве это та Сарра?!

— Как Вас зовут? Эйх корим лах?

— Сарра, — небрежно отвечает она, жуя яблоко или продолжая разговаривать по телефону.

— Сарра, — бормочет небрежно она теперь. У них в отделе три Сарры: она, секретарша и уборщица. Жена шефа — тоже Сарра.

Но в остальном он оказался прав. Он не сомневался в том, чего хочет.

— Как Вас зовут, девушка? Сарра? Чудесно! Саррит, Сарритик!

Только он так реагировал на ее имя, только он так ее называл.

Они поехали гулять. Прогулка была отвратительной: заплеванные скамейки, затоптанная трава, толпы людей.

Но он был счастлив!

— Как тут прекрасно! Но мы уедем отсюда!

Ему все было ясно.

Она закрыла глаза, чтобы не видеть эту траву, это пошлое небо, эти чужие лица...

И глаза Максима, коричневые глаза Максима оказались совсем близко от нее.

— Меня зовут Миша, — вернее, Моше, — сказал Миша.

Она отодвинулась. Он мешал. Максим стал пропадать.

Миша решительно придвинулся снова. И он нашел те слова, которые она хотела услышать.

Он нашел те слова...

И она родила ему детей и была счастлива. И больше не приходила в яхт-клуб.

Никто там уже не спрашивал уверенно:

— Сарра не пришла еще?

Не спрашивал так, будто мысль, что она вообще может не придти, не приходит никому в голову.

Она исчезла очень быстро и внезапно.

Ей не было стыдно, хоть они так не делали (они уходили постепенно, не спеша. Они не хотели расставаться).

А она исчезла вмиг. У нее было на это право. Ведь она была Сарра!

— Оставь свою Сарру!

Вот Сарра и оставила их. Так было лучше. Она просто перестала приходить.

И все...

А потом уехала в свою страну. Все, почти все было, как сказал Миша.

— Как вы устроились?

— Прекрасно!

— Купили машину?

— Да!

— Как Вас зовут?

— Сарра!

— А раньше как звали, в России?

— Тоже Сарра!

Ну, кто поверит!

— Нет, как вас звали, когда вы жили в России?

— Сарра!

— Там ведь тоже не все было плохо?

— Нет, там все плохо!

— Почему?

— Просто я здесь живу. И не боюсь, что я — Сарра!

— Вы довольны?

— Да. Если говорить про жизнь — да!

— А про что еще можно говорить?

— Не знаю!

Она заснула в палатке. Все улеглось в душе. Амос тихо спал рядом. Миша и Дани тоже уснули в тени, под тентом.

Морской ветер, слишком теплый морской ветер, порывами задувал в палатку...

И тогда она вновь увидела Максима. И на этот раз он вдруг спросил (он всегда молчал прежде):

— Тебе очень плохо?

— Очень!

— Почему?

— Не знаю!

— Чего ж тебе не хватает?

— Не знаю!

— Ты бы хотела вернуться? Мы ждем тебя!..

Она знала, что они ее ждут там, в глубине Моря... Нужно только идти вперед и вперед по каменистому дну, потом плыть и плыть, и не бояться — и они всегда встретят ее Там.

Миша не знает, что там ее ждут, что ее ждет Море. Она пока никогда далеко не заплывает. И не заплывет, наверно... Ведь они — Амос, Дани, Миша — привязали себя к ней. Она — их мачта (кстати, и длинная довольно: метр шестьдесят семь). Она их поддерживает. Они сделали то, что каждый должен сделать в этой жизни, полной опасностей. Они привязали себя к мачте.

А может, и она привязалась... Это хорошо. И то, что палатка поставлена не так, а к морю боком — хорошо! Иначе она все забудет и уйдет, станет частью Моря.

И все же...

— Тебе очень плохо? — тихо спросил Максим.

— Очень!

— Почему?

— Не знаю...

НОВАЯ КНИГА

ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС

"ДИССИДЕНТЫ И ЕВРЕИ: КТО ПОРВАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС?"

200 стр. (с фотографиями) Цена — 11 долларов

Первый документальный и в то же время полемичный рассказ о еврейском национальном движении в СССР, о его героях и его массе, его истории и его противоречиях. Автор — активный участник движения, глубоко знающий его изнутри.

Заказы принимаются по адресу: изд-во "Эффект", Тель-Авив 61230, ул. Мапу, 18-а, п/я 23052.

Юрий Милославский

СКАЖИТЕ, ДЕВУШКИ, ПОДРУЖКЕ ВАШЕЙ...

В тот год на бульваре Дюльбер появились государственные пункты-будки по продаже мороженого на палочках: "эскимо".

Но сохранилось и частное — сливочно-сладко-сахарное — на вафлях. В круговидную формочку с извлекающимся клетчатым дном кладется вафля. На нее накладывается сливочно-сладко-сахарное. Прикрывается сверху вафлей же. Затем все получившееся выдвигается из формочки (дно, как вы помните, незакрепленное — с деревянной толкалкой).

Мороженое ели совсем молодые, малоинтеллигентные и приезжие к морю.

Они же и купались каждый день.

Не только бульвар был "Дюльбер", но и гости́нница была "Дюльбер", и ресторан был "Дюльбер". Все называлось тогда "Дюльбер", — кроме того, что звалось "Крым". Только дальний от берега городской сквер из странных ельчатых кустов и пропаленных дребезжащих акаций стал им. т. Караева. Этого никто из местных жителей не заметил: даже неизвестно — кого и когда убил т. Караев. Кого он так храбро умертвил — или сам погиб смертью храбрых, — или назначился в центральные губернии, — или в столицы... Счастливого пути, товарищ Караев! Ты не так уж страшен, если не влезать с тобою в классовые бои.

В тот самый год моден был фокстрот "Рио-Рита".

Слабые чайные розы росли в амфорах-вазонах по правой линии бульвара "Дюльбер", — если вступать в прогулку со стороны города, минуя ворота курортного парка, идучи от трамвайных остановок. А с левой стороны — санатории и дома отдыха. У колонного бордюра стояли рейчатые скамьи. Между семью и восемью часами вечера менялись сидящие на них — уходили старые

люди и родители с детьми в безнадежных костнотуберкулезных корсетах, приходили те, кто полон сил.

А со стороны лодочной станции поднимались на бульвар местные ребята в запасенных с утра белых шелковых рубашечках-безрукавках. Падет солнце — и загар местных ребят станет теплым мраком. Но осталось десять минут жизни у красной скибки за синим морем — и видать, что загар создан из прозрачного черного хрусталя, простеленного на самосветящееся скользкое золото. Так загорают все детство, отрочество и юность, — за одни курортные сезоны не успеешь. Идут местные ребята, зарожденные скифами на гречанках, иудеями на татарках, армянами на украинках.

Национальность: дюльбер.

Навстречу дюльберам — двинулись морячата в темно-голубом, светло-голубом и едва-голубом. Пояса у них наповерх, чтобы легко снимались, на кулак наматывались. Через пару часов будет драка на танцевальной площадке.

Это рядовые морячата.

Морские офицеры идут в лучшем кремовом пике; рукоятки кортиков — из слоновой кости.

После драки на танцевальной площадке встретит офицеров Тимка Джесмиджиян в зашмяканной кровью рубашке, отберет у них кортики — и одного офицера заколет, другому пересечет иксом лицо; а третий — сбежит.

Девушки.

Как-то раз одна местная девушка поцарапала ножку чуть повыше щиколки. Омыла ту царапину перекисью водорода и перевязала свежею марлею. Пошла гулять. А на другой прогулочный вечер чуть ли не все местные девушки ножки свои перевязали на том же самом месте, — чтобы оттенить форму и цвет. Цвет легче кофейного, светче коричного, глубже шоколадных бобов. Идет на загар ножек не мужское золото, но испод травы-полыни. Платина? Не уверен.

Раскопайте их могилы — и поглядите сами.

На танцевальной площадке симферопольский джаз исполняет "Рио-Риту". В курортном парке, в раковине, исполняет "Рио-Риту" духовой оркестр под руководством дирижера Корецкого. Приказал дирижер победить симферопольских гастролеров: самая крупная труба — "О-о!" Самая мелкая — "Ри-ио — Рита!!"

Ресторан "Дюльбер" еще помалкивает.

Заказали случайно попавшие в "Дюльбер" офицеры мускат "Красный камень". Никаких чужих — кроме тех офицеров — в ресторане нет: только свои, местные.

Пьет первый бокал полусухого шампанского 1926 года урожая Володя Самусин, заедает квадратиком "Миньона", закуривает папиросу "Дюшес". У Володи Самусина — рак горла. Раскрытую папиросную коробку подталкивает Володя ногтем к сидящему насупротив любовнику жены.

— Курите, Саша.

— Ты разве забыл, Володенька, что Саша не курит? — шепчет жена.

— Ах, — сипит Володя Самусин, улыбается, красавец, — вечно я ничего не помню.

Он доливает бокалы шампанским, подламывает дальше "Миньон", кормит им из рук жену. А жена, откусив крошку, отдает ему остаток. Старинная игра.

За соседним столиком ужинают фармацевт Ясный, его жена — и любовник ее Юра Милославский. Белокурый, светлоглазый с дымком, Юра — пьяный и закокаиненный. Он пьяница, наркоман, развратник. И братья его — пьяницы, наркоманы, развратники. Юра — поэт, член Объединения крымских писателей, знаком с Маяковским. Всем своим братьям, всем знакомым помогает Юра соблазнять чужих жен: пишет для них лирические стихи...

Для смеха, на дневной компанейский спор, принял Юра Милославский приглашение фармацевта. А фармацевт — решился Юру отравить. Принес в ресторан из аптеки какую-то мерзость и ждет, пока Юра одуреет.

— Наш аптекарь Боря Ясный пьет касторку ежечасно, — импровизирует Юра. — Ты касторку пьешь напрасно. Водку пей — все будет ясно...

— Пропадет ваш талант, Юрий — вот из-за этого, — фармацевт осторожно притрагивается своею вилкой к Юриной рюмке.

— Не волнуйся, свет мой ясный, фармацевт ты мой прекрасный, — сочиняет дальше Юра. — Ты с женою ласке страстной предавайся, Боря Ясный...

К десяти часам выносят на эстраду шесть стульев. Выходят на эстраду музыкант-скрипач, музыкант-саксофонист, музыкант-трубач, музыкант-виолончелист, музыкант-контрабасист. И подсаживается к ударным инструментам, покрывает малый барабан

лоскутом влажного полотна, щеточки-палочки проверяет, тарелки подвинчивает — Костя-барабанщик.

Готовы к танцам Володя Самусин и Юра Милославский. Готов Саша остаться один за столом, подождать... Готов фармацевт Ясный растворить принесенный яд в Юрином коньяке.

Костя-барабанщик готов запеть.

Он встает, не глядя, чешет щеточками тарелку, не забывает и ритм хранить: жмет педаль основного барабана. Вот поддаст музыкант-скрипач ему тон, вот поддержит его музыкант-саксофонист!

Скажите, девушки, подружке вашей, —

по-московски, не по-дюльберски Костя говорит. Круглый, простой человек он, словно и не дюльбер, а из Ростова-Тамбова, —

что я ночей не сплю — о ней мечтаю.
Что всех красавиц она милей и краше.
Я сам хотел признаться ей, —
но слов я не нашел!

Заводится труба наперекрест скрипке, превышает ее, рвется, теряется — и отбегает в сторону. Как глубоки и черны "эфы" у контрабаса...

Когда б я только смелости набрался,
я б ей сказал: "Напрасно ты скрываешь,
что страстью нежной сама ко мне пылаешь.
Расстанься с хитрой маскою — и сердце мне открой!"

— Володенька, пойди к врачу все-таки, пожалуйста! Возможно...

— Юра, ты сошел с ума, ты сумасшедший...

Покручивает Юрину рюмку в пальцах фармацевт Ясный. Смотрит, как рушится его жена щекою на Юрино плечо, как покидает ее ладонь воротник Юриного белого пиджака, — входит в Юрино белокурое.

Саша пробует закурить папиросу — и захлебывается.

Очей прекрасных огонь я обожаю,
и на земле иного...

Пауза.

...я счастья не желаю.
Я нежной стратью, как цепью, к ней прикован, —
всю жизнь готов тебе отдать,
тобой одной дышать!

Юра Милославский умрет сегодня ночью в городской больнице. Володя Самусин умрет через месяц.

"Дюльбер" по-татарски означает "красивый" или даже "прекрасный".

ПИСЬМО

„Вам кого, вам чего?" — не узнала она.
На руках уж ребенка держала.
„Мне сказали, что ты был в побеге убит..."

Приспело времечко догадаться, почему он отмолчался на десять — примерно — раз повторенную просьбу: подойди, говно интеллектуальное, к будочного вида помещению „Горсправки" (или „Госсправка", или „Союзгосспрaвка", — я не помню, как это там у вас зовется), подойди, заплати двадцать копеек (или оно подорожало?), подойди — и возьми для меня союзгоргосспрaвку — выясни, наконец, адрес! Я тебя прошу...

А он — боится. Его освежаемое только суходрочкой подсознание полагает, что я шпион. То есть я, вне всякого сомнения, его старинный приятель по духовной жизни. Но одновременно — подсознательный шпион неопределенной разведки. И адрес твой — на самом деле не адрес, но попыточка его вербануть. Ты, мол, адресок узнай, а на самом деле — шифровку передай. А за шифровку его накажут — и отвлекут наказанием от дзен-буддизма, иудеохристианства, второ- и третьестепенных российских поэтов начала двадцатого века, от чтения и семейного перевода болгарско-венгерской научной фантастики с антитоталитарным подтекстом.

Я его прошу: адрес! а он мне — книжки по семиотике. На хуища мне семиотика — во главе с необычайной смелости „Записками Тартусского университета"? Семиотику высылает — адрес узнать не решается.

Подожду еще два-три выпуска „Записок" — а после напишу в старинную мою ГБ: там меня знают, и, возможно, до сих пор за человека имеют. Напишу я в ГБ на имя былого моего сокурсника Володи Бабия. Я после окончания высшего учебного заведения в палестины уехал, а он — поступил на работу в отдел борьбы с моими идеологическими диверсиями.

...Где-то в предпоследний разок, когда приволокли меня на собеседование, он, сокурсник Бабий, помелькивал в дверях; на шее у сокурсника — галстук, где узел навечно сформирован легкою промышленностью, в руках у сокурсника — стопка ярчайших хлорвиниловых папок с секретными документами. Его помелькивание

было неоцененным мною психологическим приемом. Собственно, прием я воспринял, но не понял — к чему бы это?

Папки, папки. На секретные документы я плевал, а вот папки — понравились: в магазине таковых не укупишь. Чуть было не прыгнул я навстречу сокурснику Бабию: „Привет, Вова! Папку, дескать, не сдашь ли — махнемся? Ты у меня в прошлом году сборник „Треугольная груша" просил..." Не прыгнул — гордость не позволила, потому что я преследуюсь не за что-нибудь, а за интенсивное желание уехать туда, где такие папки на каждом углу даром раздают в виде рекламы.

Теперь я сожалею. В самом деле, канцпринадлежностей у нас достаточно, но именно папок из ГБ — ма!.. Красивые: фактурная полупрозрачность, нежная интенсивность окраски. Изготовлено — предполагаю — в Финляндии. А финских товаров в наших палестинах почти нет.

Двину к Бабию бандероль: „Треугольную грушу", банку гранулированного растворимого кофе (растворимое у них есть, а гранулированного — недостаточно), туда же записку: „Здравствуй, Володя! Ты, может быть, удивишься моему..."

И этого нельзя. Замандражирует служивый, заопасается. Адреса мне не пошлет, кофе пить не станет, — и у тебя, любимой моей, периферийной, семейной мамки, начнутся центральные неприятности. А через год — провернется двугосударственный маховик, зашлепнутся в те красивые папки дополнительные количества секретных документов — и примется меня ГБ вербовать — здешние перевербовывать...

Ну? Как мне твой адрес получить?

. . . . . .

Предметы памяти. Фотография и запонки — ценный желтый металл. В ценный желтый металл заключены глыбочки уральского камня-малахита.

Фотография — от периода твоего совсем девичьего проживания в родительском доме по улице Папанина, но, скорее всего, — теперь припоминаю — по улице Отто Юльевича Шмидта... А мы полярники-высотники. За семь последних лет опалестинел я — и все побочные песни слились воедино.

Фотография — морда твоя кругла, уста твои — перемежка дитятиной младенческой заплачки-засмешки с определенностию афродитской. Русская березка — запятая — осина, что ты, собственно говоря, стоишь, качаясь — до самого тына?.. И все твои краешки,

все твои ушки туманятся у границ: вроде бы граница, ан — нет! Туман.

Запонки. В год твоего ко мне трехдневного приезда (он, приезд, имел продолжение, но — дальше, дальше!..), так вот, тогда модны были на девушках рубашки мужеского покроя — под галстук, под запонки. Хороша была твоя рубашка, для грудей твоих хороша. Запонки же на прощание достались мне. Перед убытием сложил я их вместе с иными драгоценностями: запонками и захваткой для галстука, доставшимися мне от покойного деда — пьяницы и поэта. (Мы спалили полный портфель его стихов; стихи следующего рода:

Эй, бродяга, налей стакан водки!
Стар ты стал, и морщинист, и лыс.
Мы с тобою, болван, одногодки...
Ты не хмурься, приятель, не злись.

Плохие стихи. Хотя — есть в них известная красота *амбивалентной направленности:* бродяга — болван — приятель — одногодок...)

История с предметами памяти длится третий год — третий год подряд пытаюсь я обнаружить твою фотографию. Запонки-то потерялись безнадежно: во время раздела с женою квартиры. Но фотография — как и не было ее никогда! Однако ж, — драматически восклицаю я, — была! С диагональной надписью по-французски на обороте; галльская речь, она для чего? Скрыть слезный радостный позор твоей любви к вялому полукрасавцу общевосточной внешности...

Стыд и позор. Мой стыд — твой позор. Оттого моя речь сдавлена, и лишь фрайерский текст, коим я с тобою... ну, допустим... э-э-э, разговаривал, ни единого слова по-хорошему не сказал, — вот такой текст и образует мое к тебе письмо.

Стыд и позор.

Ты думаешь, — почему я тебе целку не ломанул, от рыцарства? От страха. Чтобы твои родители меня в тюрьму не посадили — меня, паучонка очкаристого, тунеядца. Папу надо было иметь иного, а не работника партаппарата! Тогда бы я беззаветно дефлорировал бы... А так — наглоталась ты, захлебывалась — даже в дыхательное попало; запивала меня портвейном таврическим, заедала меня бутербродом с сыром костромским.

А первое питье, что тебе от меня досталось — было шампанским-брют, из столовой самообслуживания, свершавшей ежеве-

чернюю метаморфозу в открытый ресторан „Таврида". Оркестр там не играл из-за низкоразрядности с 1954 года, пластинки крутили сквозь некачественный усилитель. Зато таких пластинок я нигде не слыхивал! Слаще варенья из розовых лепестков...

„Танго, — пели, — танго, ах — это старая пластинка..."

„И голос счастья, — пели, — меня по-прежнему зовет..."

Морской пейзаж размещен невдалеке.

Это означает, что повезла тебя родительница на Крымский полуостров, повезла тебя, скороспелку трогательную, неведомо почему — начитанную; повезла тебя первый эструс морскими купаниями охлаждать. А рядом — плыл я, выдающий себя за обрусевшего армянина (на самом деле я — жид). Плавки у меня голубые — румынские, очки черные — чехословацкие. Стеснялся я в обычных очках на людях появляться, так и зрение себе сгубил — не поправить никакими контактными линзами.

Мне — двадцать один, тебе — тринадцать. Криминальненько.

И застала нас мама твоя в ресторане „Таврида", и при всем народе звякнула тебя по морде — по круглой морде. Р-раз! И два. И три. И четыре. А я сижу, брют допиваю, скептически усмехаюсь. Страшно мне — позовет сейчас мама твоя милицию, обвинят меня в отделении в растлении (малолетней), яйца и почки отшибут... А у меня и самого — мама дома ждет. Папы, правда, нет.

. . . . . .

Первый приезд.

Это был перелет из Мурманска (напоминаю — ударение на „а"), перелет из Мурманска до самого крупного города украинского северо-востока. Билет на ТУ-124 стоил: зарплата моей мамы, пенсия моей бабки (за мертвого мужа — пьяницу и поэта), вместе взятые. Меня, как хорошо известно читателям „Хроники текущих событий", на работу не брали. Я имею в виду не конкретно себя, но других. Тогда „Хроника" еще не выходила...

Три дня тебя кормили — едой. За те три дня, что ты пролежала на моем расковыренном диване, над которым висели Анна Ахматова при свечах и фуксиноанилиновый Преподобный Сергий — Радонежский Чудотворец, занято было у соседей столько, что и до нынешнего дня мы должищ не отдали. Так и уехали должниками.

Ух, как я тебя наказывал, как фенделячил с оттяжкой — да по твоей любви, по твоей непостижной отчаянности, по твоим материальным, мандавошка малАя, возможностям. Полюбила — и приехала. Приехала из МурмАнска — любить мои лампочки без

люстр и хотя бы абажуров, мой пол без линолеума, мою кухню без холодильника, мою ванную без душа с колонкою сломанной, мою маму без зимнего пальто, бабку мою, на кою с 1959 года (смерть пьяницы-поэта) обеда ни разу не хватило; ты прибыла любить мою, так сказать, курортность — однако ж, не походишь зимой на украинском северо-востоке в голубых плавках и черных очках.

Пришло нам перевести с французского надпись на фотографии: „Дорогому учителю от преданной ученицы".

Второй приезд.

Он связан с ернической гиперстенией Советского Кавказа, где смешно выговаривают слово „девушка". Его так выговаривают: „д э в у ш ь ' к а" Смуглые люди, на меня похожие, любят б ' л а н д ы н а к с т о л с т ы й т р а к и. На языке Советского Кавказа „траки" обозначает задницу.

В то лето повезли тебя на Советский Кавказ в какое-то Поти, а ты удрала оттуда ко мне. Тебя подвезли на „Волге" с поддельным обкомовским номером. Была „Волга" ведома теми, кто смешно выговаривает слово „девушка". Водителям понравилась твой толстый траки. Ты сказала им, что невинна, — и твою невинность пощадили. Любили тебя в траки и в ротик. Один в траки, другой в ротик, два веселых гуся. Потом другой в ротик, первый — в траки. А невинность ты привезла дорогому учителю. Преданная ученица.

— Я выйду за тебя замуж... Пока нас нельзя расписать, я просто так буду у тебя жить... Я буду все делать в доме, мои родители пришлют деньги, ты же сам мне писал, что (как не вывернуло тебя от цитаты?!) ...ты за любовь мою цепляешься, льнешь к ней...

Черные кольца обстали твои мурмАнские глаза, на плечах стояли солнечные ожоги и кавказские засосы. Ерники-гиперстеники пообкусывали тебе соски — понарошку, но больно. И попку тебе повредили своими романтическими кабаками.

Мама моя и бабка забились на кухню без холодильника, лампочки поперегорали, горячую воду, чтоб тебе выкупаться, пришлось греть в кастрюлях.

— А на меня, наверное, опять всесоюзный розыск объявили... Я уже раз из дому сбегала, когда мне было восемь лет... Но ты не волнуйся, любимый, радость моя, мой маленький, я скажу, что меня грузины украли... А ты меня спас...

(Многоточия должны передать относительную разновременность тобой сказанного — и не более того).

Вот. Побудешь ты у меня, а твой папа собственноножно мне яйца с почками смешает; потом отправят меня в тюрьму, а там мне разобьют очки.

Я бы выгнал тебя на улицу прямо ночью, но мама с бабкой не позволили, — чтобы еще хуже не было. Утром принесли пенсию. Мама заняла недостающее у соседей, купили тебе билет — до Поти. На вокзал ты поехала сама, ибо нельзя мне выходить на улицу — разгулялся вдоль улицы отбивающий яйца-почки, трощащий очки всесою-у-у-у-зный ро-о-о-о-зыссссск...

. . . . . .

Достану я твой адрес, доберусь до тебя, сманю от мужа — и начнешь ты бороться за выезд к любимому человеку. Сообщаю возможность — фиктивный брак с жидом. Деньгами ли уговоришь, дашь ему пару раз — без разницы. Французский язык ты знаешь: вполне могут обнаружиться кое-какие переводы. Или пойдешь на курсы медсестер. Надеюсь, что ребенка ты догадаешься оставить родителям — они у тебя с возрастом подобрели — пусть воспитывают (внучку, внучка). Горячей воды — достаточно, недавно сменил нагреватель. Бабка — умерла, мама — болеет. Проживем!

Есть только возрастная сложность. Это т о г д а — тринадцать и двадцать один, теперь же — двадцать шесть и тридцать четыре. Я-то в гладком великолепии: японская платиновая оправа со стеклами, меняющими цвет в зависимости от солярийного опизденения, волоса мои почти все на месте, зубы — светятся по-прошлому. Телосложение сохранилось. А ты, березка-запятая-осина, со склонностью к раннему набуханию, как сберегласъ на семейной жизни, при белилах-румянах дрянных?!

Приедешь — поглядим. Покуда мне одиноко и желаю я тебя заполучить.

А не подойдет мне твое постоянное присутствие — выгоню ночью на улицу. Поедешь обратно.

Я за любовь твою цепляюсь, льну к ней.

Приезжай, целую тебя, твой дорогой учитель.

А.В.

СТИХИ ИЗ РОССИИ

Неотразима тишина,
Которой занят чей-то угол.
Как прелесть терпкая вина,
Она живит глаза и губы.

Ушная раковина гул
Глотает дальнего прибоя.
И векам сладостен посул
Шумов — предвестников покоя.

Как будто бы достигнув дна,
Легко и медленно круженье,
Но искажает глубина
Зеленые изображенья.

Не засыпай! В кошмаре-сне,
Где тени и движенья немы,
Ты захлебнешься на волне
Спасительной мифологемы.

Покой и тишина — как ртуть
Юрки — ни взять, ни прикоснуться...
Ах, если б все-таки заснуть —
Закрыть глаза и не проснуться.

* * *

Крысы с тонущего корабля!
Рядом стонущая земля!
И ваш мелкий крысиный бег
Той земле — прошлогодний снег!

Что вы ждете? Зачем? Куда?
Где дожжете свои года?
Где в отрой от звериных толп
В соляной обернетесь столп?

Я не с вами, не в ваш содом!
Груз мой — камень, бедой влеком!
С каждой ересью заодно,
Я за теми, кому на дно!

* * *

Перелетные птицы
Так внезапно и вдруг...
— Ах, куда ж вам летится?
— Все на юг, все на юг...

Улетают, надеждой
И утратой звеня
Обреченно и нежно...
— Возьмите меня!

Но разевает вечность пасть,
И я отшатываюсь — в бездну
Лететь — пропасть, остаться — пасть...
А точки исчезают в бездне...

* * *

„Храню я к людям на безлюдье
Неразделенную любовь..."
А. Блок

Солнце било. Солнце плыло.
Полыхало вдалеке.
И я вдруг заговорила
На инаком языке.

Улыбаюсь. Обращаюсь,
Тайну радости храня,
Но меня не понимают,
И не чувствуют меня.

Каждый прочен. Озабочен.
Занят делом и собой.
Знать, не к часу приурочен
Мой нечаянный прибой.

Не ко времени, не к месту...
И с протянутой рукой,
Остаюсь ничьей невестой
Я в безлюдице людской.

* * *

Одинокие женщины
Одиноко ложатся в постель
И привычной рукой
Успокоив волнение лона,
Погребаются сном,
Как в провал, как в метель
Погружаясь,
С последним мучительным стоном.

Автор этих стихов — поэтесса, живущая в России. Стихи поступили по каналам Самиздата и печатаются без ведома и согласия автора.

„Если вы захотите — это не будет сказкой".
Т. Герцль

Духовный кризис, переживаемый сегодня еврейским государством (и влекущий за собой его политические и экономические трудности) имеет, по крайней мере, ту положительную сторону, что побуждает лучшую, патриотическую часть израильского общества обратиться к пересмотру идейных истоков и реальных итогов сионизма и искать новые пути возрождения еврейского духа. В предыдущих номерах нашего журнала мы уже знакомили читателей с некоторыми размышлениями о нынешнем кризисе и путях возрождения страны (см. наши интервью с М. Кахане в № 11, Ю. Неэманом и И. Эльдадом в № 16); сегодня мы предлагаем вашему вниманию посвященное тем же проблемам обращение бывшего командующего израильскими ВВС, генерала в отставке Б. Пеледа, широко распространяемое ныне в Израиле. Автор обращения (и публикуемого далее интервью) — руководитель крупнейшей израильской электронной фирмы Эльбит, один из организаторов возникшего недавно общественного движения „Граждане — за Израиль", возглавляемого некоторыми отставными генералами и израильскими интеллектуалами и ставящего своей целью „защиту демократии и законности".

Бени Пелед

А ХОТЕЛИ ЛИ МЫ?

Начиная с 1973 года, в стране ощущается всеобщее чувство угнетенности, подавленности и разочарования. Структура власти распадается на глазах. Процесс близится к завершению, и кажется, что нет такого достаточно кардинального решения, которое могло бы его остановить. Даже замена одной правящей группы другой не смогла и, видимо, не сможет избавить страну и народ от нависшей над ними угрозы.

Так что же, нет выхода? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо найти главную причину всех наших затруднений. Такая причина существует, и цель настоящего обращения состоит в том, чтобы ее указать. Если эта причина будет устранена, тогда и только тогда можно надеяться, что страна выйдет из обступивших ее трудностей, что наша мечта не останется сказкой или просто еще одним эпизодом в истории еврейского народа.

Причина наших затруднений весьма проста: со времен Декларации Независимости, принятой в 1948 году, мы живем без каких-либо конституционных рамок, которые очерчивали бы обязанности государственной власти по реализации этой Декларации. Иными словами, наше

государство не определено во всех своих важнейших областях, во всех сферах государственных действий.

Оно не имеет провозглашенных им самим и записанных в конституции границ (даже провозглашенных хотя бы в качестве национальной цели).

Оно не имеет конституционно определенного понятия „израильского гражданства".

Оно не имеет конституционно определенных границ деятельности политических партий и отношений между религией и государством.

Оно не имеет конституционно определенных норм гражданской и военной службы (кроме законов о срочной и резервной службе в Армии Обороны Израиля).

Короче говоря: ни в одной из жизненно важных областей государственной деятельности Израиль не имеет четких конституционных рамок, определяющих и задающих деятельность политических сил.

Тот, кто полагает, что конституция — вещь необязательная, без которой вполне можно обойтись, должен обратить внимание на ситуацию, в которой мы в результате оказались.

Кредит доверия, предоставленный нам поначалу, быстро исчерпывается — как в мире вообще, так и в еврейском народе в частности. С той же скоростью исчерпываются возможности наших отговорок и оправданий — в том числе перед самими собой. Все наши апелляции к международному сообществу и международному закону оказываются неэффективными, ибо в международном сообществе действует правило, по которому суверенный закон доминирует над международным, — если такой суверенный закон у страны существует.

Как это произошло? Забыли мы или просто не знали, сознательно игнорировали или по недомыслию? Вернемся к истории.

В конце прошлого века Герцль предложил еврейскому народу путь решения его основной проблемы. Путь этот состоял в создании еврейского государства. Он означал исход из галута для той части еврейства, которая хотела создать свое национальное государство в Эрец Исраэль — независимое, суверенное государство, которое было бы равноправным членом семьи всех прочих народов, со всеми вытекающими отсюда функциями и обязанностями.

Вплоть до 1947 года все попытки убедить другие народы предоставить евреям территорию и суверенитет были безуспешны. Все

эти годы сионизм вел политическую борьбу как против британских мандатных властей, так и против части самого еврейского народа, выступавшей против идей Герцля, а также против части жителей Эрец Исраэль — неевреев. Эта борьба превратилась в вооруженную после окончания второй мировой войны и произошедшей в ней катастрофы европейского еврейства. Но все, что согласились нам дать мировые державы в результате нашей борьбы, был смехотворно малый кусочек территории Эрец Исраэль.

15 мая 1948 года мы провозгласили свою независимость на этой территории. В тот же день Египет, Сирия и Иордания при поддержке Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Великобритании начали войну против молодого еврейского государства, стремясь захватить для себя различные части Палестины и, в первую очередь, ту ее часть, которая решением ООН была предназначена для палестинских арабов.

Сирия и Египет не достигли своих целей. Иордании удалось захватить контроль над Иудеей и Самарией, и она немедленно аннексировала эти земли. Никто в мире не выразил тогда сомнения в ее праве на эту аннексию, хотя она была очевидно беззаконной и шла вразрез с желаниями самих жителей Западного берега. Иордания до сих пор изображает эти земли на своих картах, как часть своего королевства и именует их „Западной Иорданией", и никто — даже Израиль! — не протестует против этого.

Израилю досталась территория внутри так называемой „зеленой черты", то есть линии прекращения огня по Родосскому соглашению 1949 года. Это соглашение было нарушено Иорданией, Сирией и Египтом еще до того, как высохли чернила, которыми они его подписывали.

Израиль не провозгласил свой суверенитет даже в границах 1949 года — этот вопрос остался открытым вплоть до настоящего времени. Израиль никак не реагировал на нарушение Родосского соглашения, он не обратился с соответствующей жалобой в ООН и ограничился лишь операциями возмездия. За эти операции он каждый раз осуждался Советом Безопасности. Осуждался — и не понял, почему. Не понял, что суверенное государство не предпринимает таких ответных военных акций, которые со всей очевидностью лишены политического смысла. Не понял, что суверенное государство в случае нарушения заключенных с ним соглашений имеет суверенное право на *войну* — с целью добиться соблюдения этих соглашений или заключения новых. Израиль с самого мо-

мента своего возникновения отказался от права использовать силу для решения своих государственных проблем, от права, которое фактически признается за любым суверенным государством. Тем самым он создал принципиально неразрешимую ситуацию, которая с годами обострилась до того, что сегодня от него уже требуют не решения „израильской проблемы", а решения проблемы „палестинской".

Почему Израиль вел себя так, как не ведет себя ни одно суверенное государство?

Ответ — тяжелый и неприятный ответ — состоит в том, что Израиль до сих пор не является в полном смысле слова суверенным государством — ни во внешнеполитической, ни во внутриполитической области.

Израиль ведет себя как осажденная еврейская община, а не как суверенное государство. Возможность перехода от статуса общины к статусу государства была нами упущена в 1949 году.

15 мая 1948 года мы опубликовали Декларацию Независимости. Эту независимость мы защитили физической силой. Но принципы и намерения, провозглашенные нами в Декларации, мы не реализовали.

Декларация провозглашала необходимость созыва Учредительного Собрания для выработки конституции страны. После принятия конституции это собрание должно было быть распущено с тем, чтобы уступить место кнессету, избираемому на основе конституции и для реализации этой конституции. Декларация провозглашала далее, что конституция еврейского государства будет основываться на принципе абсолютного равенства перед законом всех граждан, независимо от их религии, расы и пола. Эта конституция должна была определить характер нашего государства — является оно религиозным или светским, еврейским или израильским? определить понятие гражданства — кто может считаться гражданином Израиля и каковы его права и обязанности? она должна была задать политические и юридические рамки деятельности партий — что дозволено и что не дозволено в ходе межпартийной политической борьбы? она должна была определить границы государства — на какие территории распространяется наш суверенитет?

Без решения этих основных вопросов государственного существования мы не могли стать суверенным государством и — как видно теперь — не могли вести себя как государство, желающее

войти равноправным членом в международное сообщество народов и поступать согласно его законам.

Так называемое „Учредительное Собрание" фактически злоупотребило своим положениям. Фракции этого собрания, по взаимному согласию, объявили себя кнессетом и фактически захватили власть, которую удерживают до настоящего времени. Вместо конституции была принята серия так называемых Основных законов, противоречащих друг другу и Декларации Независимости. В оправдание этого положения был выдвинут тезис, что конституция — даже если бы она существовала — не может решить главных проблем нашей страны. Этот тезис лжив, — точно в той же мере, в какой лживо усердно распространяемое сегодня утверждение, будто не в наших силах добиться экономической и политической независимости, принудить наших соседей к мирным соглашениям, проявить справедливость по отношению к жителям страны — неевреям, провозгласить наш суверенитет на всей территории Эрец Исраэль, противостоять, если окажется необходимо, всему миру и быть им принятым, по меньшей мере, на тех же правах, что Египет, Иордания, Сирия или ООП.

Именно отсутствие конституции привело нас к нашему нынешнему положению. И только принятие конституции способно заставить наше правительство всерьез взяться за решение наших внутренних и внешних проблем в соответствии с нашими национальными и общественными целями.

Герцль сказал, что если мы захотим — это не будет сказкой. Мы не захотели — и упустили время. Сегодня его осталось совсем мало. Завтра будет поздно, даже если мы захотим. Нужно вернуться к исходному моменту: собрать Учредительное Собрание, которое выполнит задачу, возложенную на него Декларацией Независимости, без оглядки на внешние и внутренние факторы.

К чему привело нас отсутствие конституции?

В отсутствие всякого иного определения продолжали действовать те партийные организации, которые были созданы в еврейской общине до провозглашения государства. Им было разрешено владеть имуществом и средствами, что дало им в руки реальный контроль над рядовыми членами этих партий и остальными избирателями. В их руках сосредоточились промышленность, сельское хозяйство, банки, рынки сбыта, медицинское обслуживание, транспорт, жилье, образование, религиозные учреждения и многое другое. Эти рычаги власти еще более укреплялись благодаря конт-

ролю партий над правительственными органами и бюджетом государства. Более того — правящие партии купили молчание оппозиции, позволив и ей действовать аналогичным образом (правда, с ограничениями, — чтобы оппозиция не слишком усилилась). Учреждения, призванные обслуживать общество, превратились в партийные вотчины, а профсоюзы государственных служащих — в группы давления, которые противодействовали любой попытке заставить их служить обществу.

Во внутриполитической области наши „Основные законы", идя вразрез с Декларацией Независимости, привели к возникновению дискриминирующих различий между евреями религиозными и неверующими, между евреями и неевреями, а также между различными группами евреев во всех аспектах прав и обязанностей личности. Даже национальное воспитание не защищено у нас единым государственным подходом, и сознание будущих граждан страны нередко формируют люди, чьи убеждения противоречат самим основам существования Израиля. Одним из результатов этого явилось забвение (почти преднамеренное и сознательное) важнейшего принципа национального воспитания, который провозглашает, что существует коренная разница между образом жизни, ментальностью и отношением к личным и общественным задачам евреев галута и граждан государства. На этом принципе были воспитаны все поколения нашей молодежи до 1948 года. Но с тех пор нашей молодежи усиленно вдалбливается представление о „единстве" всего еврейского народа, его „общей судьбе" и „общей кассе". Результаты такого воспитания налицо: 400 тысяч сыновей страны перебрались в богатый западный галут. Руководители еврейских общин африканских и арабских государств окопались в том же галуте и оттуда поучают нас быть „более гибкими", — чтобы не нарушать их галутный комфорт. Мы превратились для них в „проблему", — вместо того, чтобы быть „решением". Еврейство России следует прямиком с востока на запад. Религиозное еврейство в лице Совета Мудрецов Торы провозгласило, что территория государства — вопрос второстепенной важности по сравнению с миром; отсюда уже недалеко до заявления, что существование еврейства в галуте предпочтительней существования его в государстве Израиль, если того требуют „интересы мира". И это — наше религиозно-политическое руководство! Далеко ли оно ушло от наших „левых", от Мацпена до Шалом Ахшав, провозглашающих, что „мир" предпо-

чительней Эрец Исраэль? Завтра окажется, что нет такого квадратного метра в Эрец Исраэль, за который стоит отдать свою жизнь.

Но и сторонники „Эрец Исраэль шлейма" также занимаются демагогией. Что такое „Эрец Исраэль шлейма"*, если нет никаких конституционно определенных государственных границ и конституционно провозглашенной национальной цели?! Отсутствие этой цели, отсутствие единого определения государства, его территории и его гражданства привело к тому, что жители страны не ощущают себя чем-то единым, — они разделились на ряд общин, еврейских и нееврейских, почти не имеющих ничего общего. Еврейские общины разъединены и враждуют друг с другом, а нееврейские ждут — не дождутся того часа, когда мы освободим их ото всей этой путаницы: часть из них тянется к ООП, часть — к Иордании, а большинство просто выжидает. То же происходит в галуте; и то же происходит в советском еврействе: Поезд Свободы „Москва—Рим" — тому подтверждение.

Вполне возможно, что определенная часть галутного еврейства может прекрасно обойтись и без государства Израиль. Но израильтяне, живущие в Эрец Исраэль, существовать без него — не могут.

Наша внешнеполитическая ситуация характеризуется стремительной утратой того доверия, которым мы пользовались в первые годы после провозглашения государства. Но не арабская нефть, как ошибочно полагают многие, главная тому причина. Этой причиной является невыполнение нами обязательств, которые мы взяли на себя с провозглашением государства. И поскольку мы не стали подлинно суверенным государством, мы не решили — и не могли решить — ни одной из тех политических проблем, которые были вызваны к жизни нашим появлением на карте Ближнего Востока.

Мы не решили проблему государственного урегулирования статуса наших жителей-неевреев — и сегодня она ставит под сомнение так дорого обошедшийся нам мирный договор с Египтом. Мы не решили проблему наших граждан-неевреев на территориях, которые отошли к нам в 1949 году. Мы не решили проблему беженцев, которые скопились за тогдашними линиями прекращения огня. Мы не сделали этого и тогда, когда эти территории попали в наши руки в 1967 году. Напротив, — мы провозгласили, что хотим „только" их землю („исключительно в целях безопасности"), но *не хотим их самих* в качестве наших граждан, ссылаясь при этом на

** „Неделимый Израиль".*

наш либеральный характер и высокие моральные качества. В глазах любого суверенного государства эти рассуждения выглядят попросту смехотворно, и неудивительно, что ООП нажила на них свой нынешний политический капитал.

Мы не выполнили ни одного из обязательств, провозглашенных в нашей Декларации Независимости, и потому растеряли весь кредит былого доверия. Сегодня условия возобновления этого кредита диктуются нам Соединенными Штатами и Египтом, с одной стороны, восточным блоком — с другой, и Европой — посредине.

Но возможно ли было, в наших ли силах было решить все эти проблемы? Ответ очевиден. Да, это было в наших силах, если бы мы вели себя как суверенное государство и не испытывали бы непреодолимого отвращения к обязанностям суверенного народа.

Война за Независимость дала в наши руки дополнительные территории и население в виде жителей-неевреев. В предположении, что эти территории не являются окончательной национальной целью, было решено не рассматривать линии прекращения огня как наши национальные границы. Отказавшись от определения таких границ, мы отказались и от войны за них. В ответ на нарушения соглашения о прекращении огня мы проводили уже упомянутые операции возмездия и каждый раз удостаивались осуждения со стороны ООН. Между тем Иордания, которая аннексировала Западный берег, получила благословение всего мира. Египет, прибравший к рукам сектор Газы, получил благословение всего мира. Арабские страны, которые заточили своих собратьев-беженцев в невыносимые для жизни лагеря, получили помощь всего мира. А вину за ужасное положение этих беженцев мир возложил на нашу совесть, несмотря на то, что мы в те же годы абсорбировали более полутора миллионов беженцев-евреев, изгнанных из арабских стран.

Мы придумали многочисленные и хитроумные оправдания своему поведению. Мы говорили себе, что арабские страны никогда не согласятся на мир и потому-де нет смысла провозглашать национальные цели в каких бы то ни было границах. Мы убеждали себя, что арабские страны обладают неисчерпаемым потенциалом и потому-де не в наших силах принудить их к постоянному урегулированию. Мы уверяли себя, что даже если бы этого можно было добиться, на это не согласятся великие державы. Мы заявляли, что наша первая задача — абсорбция иммигрантов, а не война, террито-

рия и границы. Мы провозглашали благородные принципы неприменения силы по собственной инициативе и считали, что нет такой национальной цели, которая оправдывала бы применение силы, то есть войну. Мы не считали необходимым устанавливать цели даже в навязанной нам войне, поскольку утверждали, что победа в такой войне лишена политического смысла.

Мы изо всех сил отказывались от применения силы. На Синайскую кампанию 1956 года мы пошли только ради того, чтобы прекратить террористические операции из сектора Газы и открыть выход из Эйлата. На превентивную войну 1967 года мы пошли только из отчаяния и страха. Мы пришли в отчаяние, потому что Насер блокировал Эйлат и изгнал наблюдателей ООН со своей территории, а ООН признала право на это. Нами овладел страх, потому что наши собственные генералы утверждали, что наша армия не в состоянии защитить линии перемирия. Вспомним совет, который американский государственный секретарь дал тогда умолявшему о содействии Абе Эвену: „В жизни каждой нации приходит такой час, когда она сама должна решить, в чем состоят ее цели и как она должна действовать для их достижения".

Война 1967 года дала нам новые территории и новых жителей. Она дала нам мощную поддержку всего мира. Она возродила мировое еврейство. Она пробудила даже еврейство Советского Союза. И все это произошло потому, что мы в течение шести дней производили впечатление подлинно суверенного государства, воюющего за свои национальные цели.

Как же мы разбазарили этот новый кредит доверия?

Мы не потребовали заключения мирного договора, а согласились всего лишь на прекращение огня; мы провозгласили приобретенные территории „контролируемыми"; мы сообщили их жителям, что они остаются гражданами Иордании и по-прежнему подлежат ее юрисдикции; жителям Газы мы отказали в гражданстве и вдобавок основали наши гражданские поселения на их земле; мы сообщили всему миру, что хотим „только" безопасных и признанных границ, не указывая, каких, не сопровождая это требование ни картами, ни письменными объяснениями и предоставив каждому народу самому толковать, какие это должны быть границы; мы ввели на территориях „либеральный" оккупационный режим; вплоть до 1980 года мы не решались присоединить даже восточный Иерусалим; предоставленную нам финансовую помощь мы обратили на невиданное повышение уровня жизни и

личного потребления, а также — с помощью „партийных насосов" — перекачали в кассы всевозможных партий страны; мы терпели бесчисленные нарушения соглашения о прекращении огня и отвечали на них все теми же скомпрометированными „операциями возмездия"; мы сидели, сложа руки, наблюдая, как страна за страной предоставляют сначала моральный, а затем и материальный кредит ООП; мы сидели, сложа руки и наблюдая, как происходит деградация национального духа и растут пацифистские настроения, как в нашей собственной среде, в том числе и в кнессете, появляются открытые сторонники ООП.

Мы прекрасно знали, что в следующий раз мир не примет никакого нашего оправдания, если мы опять начнем „превентивную войну". Мы прекрасно отдавали себе отчет и в том, что следующей войны не избежать и что она будет начата не нами.

Все это мы знали — и тем не менее ничего не делали, надеясь, что нам удастся найти новые объяснения тому, что мы не хотим искать подлинно государственного решения наших проблем.

И мы действительно были атакованы. И снова произошло невероятное: в течение восемнадцати дней нашим вооруженным силам удалось остановить, контратаковать и разгромить противника, поставить на колени Египет, раздавить Сирию и заставить трепетать Иорданию.

И что же мы сделали с этой победой?

Мы опять согласились всего лишь на соглашение о прекращении огня. Мы стали вымаливать дополнительную американскую помощь, расписывая свои ужасные страдания. Мы стали рассказывать самим себе сказки о наших тяжелых потерях (которые в действительности составили всего лишь треть от предполагавшихся командованием ЦАХАЛа). Мы стали убеждать себя, что нам не обойтись без американских „мясных горшков".

Мы не воспользовались своей победой. Зато ею воспользовались египтяне. То, чего мы не знали о себе и о них, они знали о нас и о себе. Они знали, что физически мы сильнее их и останемся такими еще долгое время. Но они знали также, что духовно мы слабее их, что дух наш ослаб, что мы устали от тягот государственного существования, что мы не умеем вести себя как государство, даже если мы сильнее наших соседей. И поэтому они предложили нам мир — в обмен за Синай и обещание создать еще одно арабское государство в Газе, Иудее и Самарии. Они прекрасно поняли, что государство, отказывающееся править своими жителями как следует, не

сумеет надолго удержать не только этих жителей, но и их земли. Они поняли, что Израиль не является строго определенной государственной сущностью, — он все еще остается „гибким" образованием, формой без определенных границ, и потому эти границы еще можно изменить путем нажима и принуждения. Они поняли — как поняли это сегодня уже и остальные арабские государства, европейцы и американцы, — что „общинный комитет", именующий себя „правительством Израиля", не способен проводить подлинно суверенную государственную политику.

Единственная причина, которая мешает сегодня арабам согласиться на существование Израиля в каких бы то ни было границах, — это военная мощь палестинской еврейской общины. Но арабы прекрасно знают, что без четко определенных политических целей и общенационального единодушия в этих целях военная мощь — явление преходящее. Наши разговоры о „безопасных границах" никем не принимаются всерьез. Наши доводы, что поселения создаются в интересах „безопасности", не принимаются всерьез даже нашим собственным Высшим Судом. Неудовлетворительность этого объяснения была продемонстрирована нами самими, когда мы согласились ликвидировать Ямит. Доверие, которым мы пользовались, сегодня почти полностью перешло к ООП. Мы не удостоимся его вновь, даже если Египет нарушит мирный договор и нападет на нас. Мы не удостоимся его, даже если на нас нападут Сирия, Иордания или ООП. Мы можем завоевать его только в том случае, если начнем вести себя как суверенное государство, твердо знающее свои цели и готовое за них воевать.

Такова сегодня наша главная задача. Но задача без ясной программы действий — всего лишь набор слов, как это оказалось с задачами сионизма после провозглашения государства.

Нашей программой должна быть *борьба за конституцию.* Мы не собираемся здесь предлагать ее статьи и параграфы. Мы хотим лишь показать ее необходимость. Мы предполагаем, что эта конституция должна сохранить демократически-парламентарную форму правления в стране. Мы предполагаем, что она должна базироваться на Декларации Независимости. Мы предполагаем, что она должна провозгласить национальные цели „государства евреев". Мы убеждены, что попытка превратить „государство евреев" в религиозное государство противоречила бы таким национальным целям.

Мы призываем каждого, кто согласен с этими тезисами, действовать любыми доступными ему путями, чтобы заставить нынешнюю

власть вернуть народу свой мандат и провести выборы в Учредительное Собрание, которое подготовит конституцию страны и передаст ее на общенародный референдум. Если каждый начнет действовать, возникнет широкое народное движение, которое добьется своей цели.

Сегодня нельзя сказать, кто возглавит это движение. Вождей не назначают. Они выдвигаются сами, в ходе действий. Быть может, таким вождем будешь ты. Или он. Или тот, третий, еще неизвестный.

Мы предлагаем назвать это движение „Организацией Освобождения Израиля".

Мы убеждены, что в Израиле имеются все необходимые условия, чтобы осуществить освобождение страны. Вот эти условия: президентская власть; Высший Суд страны; идеи Декларации Независимости; армия, защищающая страну от внешнего врага; полиция и служба безопасности, защищающие страну от внутренних врагов.

Мы полагаем, что высшая административная и юридическая власть, опираясь на армию, полицию и службу безопасности и действуя в соответствии с идеями Декларации Независимости, способны, действуя законными путями, создать временное правительство, которое подготовило бы выборы в Учредительное Собрание и общенародный референдум.

Встань и действуй — никто не сделает этого вместо тебя!

25 июня 1980 г.

НОВАЯ КНИГА

ЮРЕК БЕККЕР. "ЯКОВ-ЛЖЕЦ"

Трагикомическое повествование о жизни на краю бездны, о мужестве и стойкости людей, помогавших друг другу даже перед лицом смерти, о еврее Якове, который творил ложь во спасение, и его друзьях из маленького польского гетто, которые верили этой лжи.

Перевод Е. Фрадкиной. 226 стр.

Цена: в Израиле — 37 шекелей, за рубежом — 9 долларов.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ E. FRADKIN, **ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ:** P.O.B. 7962, JERUSALEM, ISRAEL

Бени Пелед

МЫ НЕ МОЖЕМ ЖДАТЬ ЕЩЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ!

— Мой первый вопрос несколько далек от основной темы интервью, но я считаю уместным задать его вам, человеку с опытом военной службы за плечами. Каково ваше мнение о последних операциях возмездия, проведенных израильской армией в Южном Ливане? Были ли они успешными?

— Я готов ответить с полной определенностью: ни одна из наших операций возмездия не была успешной — ни последние, ни первые, еще в 1952 году. Причина этого в том, что использование армии для такого рода целей способно разложить и унизить даже самые лучшие в мире вооруженные силы. Такие операции не могут быть успешными, если они не преследуют большой национальной или политической цели. Поэтому все эти истерические вылазки работают против нас. Они губительны — и физически, и духовно.

— В нашем журнале публиковались в свое время статьи Яакова Хасдаи, бывшего главного воспитателя офицерского корпуса ЦАХАЛа. Он с тревогой писал, что наблюдает признаки морального и духовного упадка в армии, вызванного крахом каких-то идеалов в израильском обществе. Вы согласны с этим наблюдением?

— Нет. Наша армия сегодня — та же армия, какой она была раньше, разве что много лучше, чем пять-десять лет назад. Дело в другом. Дело в том, что израильское общество перестало доверять своей армии, оно ставит под подозрение любой ее шаг, любое действие. А произошло это потому, что вбили клин между обществом и армией. Разньше это не удавалось. Раньше армия была одним из сильнейших элементов нашего общества. Но в Израиле отсутствует защитный механизм, предохраняющий от дезинформации, от целенаправленных попыток дискредитировать все, что связано с духом нации. Начиная с 1967 года, эти попытки стали весьма активными, и вот — медленно, постепенно — они привели к тому, что подорвали доверие израильской общественности к ее собственной армии. Это началось уже в 1967 году и стало быстро развиваться после 1973 года.

— Чьи попытки вы имеете в виду?

— Я имею в виду целенаправленные попытки ослабить этот аспект нашей жизни, которые велись — сознательно или бессознательно, прямо или косвенно, — начиная с 1967 года. Коль скоро не удавалось ослабить нашу экономику, нашу внутреннюю политику (но тут уж мы сами постарались), — удар был направлен против двух других уязвимых мест — воспитания и армии. Это были два важнейших участка. На одном формируется сознание будущих граждан страны, на другом — представление о ее защитниках. И на обоих попытки дискредитации и разложения, к сожалению, удались.

— Я вынужден еще раз спросить: кого вы имеете в виду? Кто эти таинственные „они"?

— О, началось с разочарованных, сбитых с толку молодых людей. То были типичные представители израильской богемы — та самая талантливая молодежь, которую ишув буквально выняньчил, которой он предоставлял все и прощал все. И вот эти люди стали отходить от породившего их общества, начали становиться все более разочарованными, все более циничными и, как следствие, все более податливыми для тех, кто хотел ими манипулировать. Почему? Вообразите, что вы — молодой, способный израильский интеллектуал 60-х годов (а такие были уже и в 50-е), который не получает от своих учителей прямых ответов на самые важные для него вопросы жизни. Вы спрашиваете: почему многие сферы нашей жизни подчинены религиозному закону? И не получаете внятного ответа. Вы спрашиваете: почему мы дискриминируем наших граждан-неевреев? И не получаете внятного ответа. Вы спрашиваете: кто еврей? И получаете путанный, противоречивый, неудовлетворительный ответ. Вы спрашиваете, наконец: кто израильтянин?! Кто я?! И на это вы вообще не получаете ответа. Вы спрашиваете: почему мы не можем жить в мире с арабами? Вам отвечают: потому что арабы нас ненавидят, они никогда не согласятся на мир, им нельзя доверять — и прочий набор бессмыслиц, который и сегодня остается набором бессмыслиц. Тогда у вас, естественно, возникает вопрос: по какому праву мы здесь вообще находимся?! Но и на этот вопрос вы не получаете ответа. Нет ответа на вопрос, какое право мы имеем на эту страну! Вам предлагают всевозможные суррогаты — исторический, эмоциональный, религиозный. Но они вам не подходят.

Эта молодежь задавала очень разумные вопросы. Но она не получала разумных ответов. И это поколение молодых израильских интеллектуалов, которые понятия не имели, что означает быть евреем в диаспоре, которые были рождены свободными, эти простые еврейские „гоим", перестали доверять вырастившему их обществу.

Они-то и стали первой мишенью коммунистов. Тогда и возник Мацпен, тогда появилось знаменитое „михтав ашмениот", письмо выпускников гимназии Голде Меир, сразу после 1967 года, в котором они требовали ответить: почему мы остаемся на территориях? И заявляли, что не хотят быть оккупантами.

Эти мальчики поставили из своей среды шпионов для сирийской разведки в кибуце Ган-Шмуэль. Невероятно: израильские ребята в роли сирийских шпионов!

А потом мишенью стал ЦАХАЛ. У меня есть тому доказательства. Я могу показать, как подвергался целенаправленной атаке любой возможный аспект. Можно ли, например, представить себе члена кнессета, который вносит запрос министру обороны: правда ли, что израильские ВВС устроили прощальный банкет для уходящего в отставку полковника, потратив на это продукты летчиков, которые в результате две недели голодали?! И я, командующий ВВС, вынужден отвечать, что это ложь, что был обычный субботний обед, что ни один курсант летной школы не голодал из-за этого не то, что день, — даже и минуты! Этот член кнессета знал, что повторяет ложные слухи. Но он сделал свое: его запрос напечатали во всех газетах...

— Вы хотите сказать, что он — враг нашей армии, нашего государства?

— Нет, нет, он не враг Израиля. Он всего лишь боролся за „лучший" Израиль, за „более демократический Израиль", за „либеральный Израиль", за „социалистический Израиль". И я думаю, что в этой „борьбе" его направляли. Я убежден, что в противном случае человек с его воспитанием, его биографией не стал бы задавать подобных вопросов.

Все это началось после 1967 года. Прежде ЦАХАЛ только восхваляли, и это тоже было неверно. Но после 1967 года ворота раскрылись настежь. В „Га-Олам Га-зэ" меня объявили „фашистом" и „диктатором" за то, что я уволил из ВВС двух офицеров, нарушивших приказ о ношении головных уборов. А через несколько месяцев, когда я вышел в отставку и в интервью на телевидении сделал

несколько критических замечаний о нашем генеральном штабе, та же „Га-Олам Га-зэ" превознесла меня до небес: „Наконец-то нашелся человек, который не побоялся сказать правду о ЦАХАЛе!" Тот же самый журнал, на протяжении каких-нибудь трех месяцев!..

Я не призываю выяснять, кто финансирует редактора этого журнала, какие кружные пути ведут от некоторых наших молодых поэтов, драматургов, певцов и куда, с кем связаны некоторые наши журналисты, писатели, артисты, профессора, члены кнессета. Но атака идет, и она направляется, в этом я абсолютно уверен.

С другой стороны, некоторые из этих недовольных молодых интеллектуалов обратились к другой крайности: вы можете увидеть их сегодня в кипах, раскачивающимися над молитвенниками, ищущими „пути обратно" — в так называемую „еврейскую нацию". В галутную, космополитическую еврейскую нацию. Этим уже ничего не нужно — ни независимости, ни государства.

Это была концентрированная атака, направленная против нашего морального духа. Мы сами указали им мишень. Мы сами дали им возможность победить. Мы были открыты для нападения. И главным образом потому, что Израиль в юридическом смысле — даже не государство. У него нет механизма, который позволил бы остановить эту атаку. Израиль — это даже не демократия, это просто анархия, где каждый волен делать, что хочет.

— Вы рисуете очень мрачную картину: Израиль, окруженный врагами не только извне, но и изнутри. Наши писатели, поэты, артисты — все отравлены и отравляют страну... Не слишком ли это, ну, скажем, детективно — обвинять всех этих людей в связях с вражескими разведками?

— Я не обвиняю. Я говорю лишь, что существует большая вероятность этого. Существуют основания для подозрений. И не обязательно в связях с КГБ. ЦРУ ничем не лучше. Неужели вы думаете, что если США, Россия, Великобритания, даже Египет хотят добиться здесь своих политических целей, то они будут воздерживаться от недипломатических средств борьбы внутри Израиля? От войны, которую они ведут друг против друга во всем мире, в любой стране? Почему Израиль должен быть исключением? Если бы я был сотрудником одной из этих служб в Израиле и мне предоставилась бы возможность — через несколько промежуточных звеньев — повлиять на общественное мнение в нужном мне духе, я не колебался бы ни секунды! Единственная страна, которая от такой возможности отказывается, — это Израиль. Потому что у нас не понимают,

каким орудием должно пользоваться государство в осуществлении своей национальной политики. Даже Румыния это понимает, — только не мы!

Я не говорю о ,,шпионах". В такой войне нет шпионов. Есть ,,контакты". Есть организации, союзы, объединения — так много всего, что не всякий и знает, кто есть кто и кто где состоит.

— Вы начисто исключаете, что этими людьми руководят искренние стремления к миру, к демократии?

— Кто это говорит? Не я! Некоторые из них делают то, что они делают, предельно искренне. Некоторые... А другие — просто обманутые люди, которых ведут и направляют люди, далеко не такие невинные...

— Мы публиковали высказывания представителей израильской культуры, выступающих в духе, который вы отрицаете, — например, Амоса Оза. Их слова были проникнуты огромной искренностью и болью за судьбы государства...

— Прекрасный пример! Амос Оз — типичный пример того, что мы сделали с нашей молодежью. Вместо того, чтобы вложить в него то, что было вложено в наше поколение, его воспитатели в кибуце предоставили этого предельно чуткого, реагировавшего на малейшую несправедливость юношу самому себе. И в результате он не верит ни во что! Он абсолютно циничен! Он весь обращен только к прошлому, он так и говорит: ,,Я брожу среди теней — уничтоженного в 1948 году Еврейского квартала Иерусалима, среди мертвецов, среди мертвых потоков иудаизма". Это прекрасный образчик той нашей молодежи, которая выросла без всякого чувства цели, но со стремлением к справедливости и глубоким подозрением, что то, что мы делаем — несправедливо и преступно. Той молодежи, которая задавала много вопросов и не получала никаких ответов. Я глубоко уважаю Оза, но когда после войны Судного дня мне предложили разрешить ему выступить перед моими летчиками, я категорически отказался. Я сказал: ,,Нет, он не будет выступать перед моими офицерами. Я не подпущу к ним ни одного из этих больных, отравленных, безумных людей — ни Оза, ни Моше Шамира, ни Геулу Коэн, ни Арика Шарона". Я не хотел, чтобы та массовая истерия, которая началась после 1973 года, коснулась моих людей. Достаточно было того, что мои летчики пережили шок войны. Это был тяжелый шок: вдруг ощутить разницу между игру-

шечными полетами в Ливан и настоящими боевыми действиями. Что они знали раньше? Встал утром, поцеловал жену, пришел на аэродром, слетал за ливанскую границу, вернулся, снял перчатки, поехал с женой на Дизенгоф... И вдруг — восемнадцать дней подряд настоящей войны! Я говорил им тогда: „Вам следовало бы больше смотреть документальные фильмы о второй мировой войне в России, тогда бы вы поняли, что ваши восемнадцать дней — это пикник! Вы еще не видели наполовину разрушенного Тель-Авива или Хайфы!.."

И после этого — пустить к ним Оза, чтобы он рассказывал, что его больной мозг придумал насчет несправедливости нашей войны?! Нет, им нужно было отдохнуть, придти в себя, понять, что не было никакой катастрофы.

Все знают, что война 1973 года была не катастрофой, а победой. Почему же поднялась такая истерия? Потому что не нашлось национального лидера, который встал и сказал бы народу правду. Потому что все наши национальные лидеры в течение предшествующих двадцати девяти лет лгали стране. И теперь никто из них не мог осмелиться и сказать правду. Потому что все они твердили Озу и ему подобным, что мы слабые, несчастные, живем тяжело, сражаемся жестоко, никто не хочет с нами мириться, — и вдруг, после всего этого, встать и сказать, что война Судного дня была победой? И к тому же легкой победой?

Двадцать девять лет мы лгали народу. Мы не решили ни одной из наших национальных проблем. Зато мы вызвали раскол еврейского народа во всем мире; мы потеряли доверие ООН; мы создали наполовину фальшивую, дутую экономику; мы отдали систему образования на откуп людям, которые забивают молодежи мозги мусором на национальном уровне. Вот уже много десятилетий в наших школах не изучаются идеи Герцля. И это не случайно, — ведь стоило бы только раз заикнуться о них, как немедленно возник бы вопрос: почему мы не осуществляем эти идеи? Почему мы делаем все наоборот? И не один этот вопрос — много вопросов. Ибо если люди хотят быть суверенными в суверенном государстве, у них неизбежно возникает много вопросов, и они не смеют от них уходить, разве что они не хотят быть суверенными, а предпочитают жить в России, во Франции или в Соединенных Штатах, где другие будут отвечать вместо них на эти вопросы. Но если вы хотите быть независимыми, — извольте отвечать на эти вопросы сами! Отвечай-

те, как хотите, — но отвечайте! Можно уходить от ответа пять, десять, пятнадцать лет, но рано или поздно отвечать придется...

— Ответы, которые дают другие, я примерно себе представляю. Какие ответы предлагаете вы?

— Прекрасно. Тут я хочу провести черту. То, что я говорил до сих пор, — это оценка ситуации. И это то, что я делаю в общественной жизни всякий раз, когда меня к этому вынуждают, — обрисовываю ситуацию, предлагаю свою общую идею. Идея эта состоит в том, что мы должны вернуться к исходной точке. Демократическим путем установить, что есть что, и дать ответы на все вопросы — как окружающему миру, так и самим себе.

Теперь вы спрашиваете мое личное мнение: какую страну я хотел бы видеть, за какую платформу я бы голосовал на выборах в Учредительное Собрание? Сразу же хочу оговориться — я не политик, я не собираюсь создавать партию. Для меня политик — это необходимый инструмент любого демократического общества; инструмент, работающий в рамках этой демократии. Политик не имеет права делать что-либо, выходящее за эти рамки, противоречащее желанию народа, установившего эти рамки. Он избран для того, чтобы внутри этих рамок наилучшим образом достичь национальных целей. И орудие его в этом деле — компромисс с реальностью. Политик может сказать: таких-то целей я могу добиться немедленно; таких-то — через двадцать лет; этих — так-то, а тех — этак, но он должен работать внутри конституционных рамок, на этом я настаиваю. В этом смысле я готов сказать, что даже Россия, хотя там нет политиков, избранных народом, имеет некие четко установленные рамки. Это отвратительные рамки, они мне не нравятся, мне не нравятся облик этой страны и ее моральные ценности, — но тем не менее это страна, это государство. И не имеет значения, когда говорят — это тоталитарная страна, это тоталитарные рамки. Таков выбор русского народа...

— Отвлекаясь в сторону: это означает, что будь вы гражданином СССР, вы готовы были бы принять эти рамки?

— Мне пришлось бы сделать выбор: или я покидаю эту страну, если мне не нравится ее устройство, или я готов умереть, чтобы разрушить ее структуру. Но в последнем случае я должен четко отдавать себе отчет, что с точки зрения ее конституционных рамок я — бунтовщик. Я имею право на бунт, но я должен признать, что мои

действия — это бунт и система права, утверждая это и преследуя меня.

— Но в мире есть ведь и страны, не имеющие конституции — Великобритания, например...

— В Великобритании роль конституции играет совокупность прецедентов. И они ее действительно играют: любой английский школьник знает, что такое его страна, по какому праву она существует, каковы ее границы... Не то, что у нас.

Теперь — о тех конституционных рамках, которые я хотел бы видеть у нас. Прежде всего, я хотел бы видеть Израиль демократическим и секулярным, то есть нерелигиозным, государством. Я хотел бы провести полное разделение между делами Господними и человечьими.

— Иными словами, вы против „исторического компромисса", установленного Бен Гурионом?

— Бен Гурион пошел на этот компромисс, потому что он не был лидером настоящего государства. Он был, в сущности, главой еврейской общины, местечковой общины. Я хотел бы отделения религии от государства, но в то же время я за то, чтобы это государство было основано на израильских традициях.

Для меня иудаизм не охватывает полностью всего того, что я считаю своим культурным наследием. Иудаизм охватывает, в основном, ту его часть, которая сложилась уже после того, как мы потеряли независимость. Иудаизм надлежит уважать, и, возможно, он является той основой, на которой будет сохраняться так называемая единая еврейская нация внутри данной структуры, но для меня важнейшие, фундаментальные традиции нашего народа — это те философские и социальные традиции, которые возникли, когда мы еще были независимы. Есть совокупность того, что называется „еврейским законом" и что можно модернизовать и превратить в гражданский кодекс государства. Я убежден, что евреи выработали самые замечательные и самые социально прогрессивные законы в истории, самую демократичную социальную структуру из всех, созданных человечеством. Христиане и мусульмане лишь заимствовали это у нас. Китайцы — те, возможно, создали ее независимо.

Внутри еврейской культуры есть много чисто иудаистических ценностей. Внутри нее есть много и отвратительных вещей. Я хо-

тел бы сохранить из этого наследия только замечательные вещи, которые не имеют ничего общего с религией, и поставить их во главу нашего национального воспитания.

Далее, я хотел бы, чтобы наше государство было определено также и в смысле физическом, в смысле границ. На ближайшие десятилетия нам необходимо внутреннее „жизненное пространство", как ни неприятно звучит это слово. Мы нуждаемся в критической массе земли и воздуха, которых достаточно, чтобы нация была суверенной и независимой в своих действиях, чтобы ее не задушили ее собственные границы.

Мое частное мнение состоит в том, что такие границы должны проходить на севере по водоразделу, отделяющему все потоки, стекающие в нашу сторону — к Иордану и Кинерету, от потоков, текущих в Сирию и Ливан. Вода, текущая к нам, нужна нам, это наша единственная вода, без нее мы не можем быть независимыми. Наша граница должна проходить по берегу до Эль-Ариша, через Синай от Эль-Ариша до Эйлата и от Эйлата через Мертвое море и Иордан, включая так называемый Западный берег. Это минимальная критическая масса, которая может выдержать вражеское давление — и нападение — с востока, севера, юга и запада. Это можно доказать стратегически. Если же эта территория будет разделена на два-три отдельных государства, она будет съедена по кусочкам ее соседями.

— Не странно ли, что вы, рассуждая, как утверждаете, чисто рационально, приходите к тем же выводам, к которым другие приходят из соображений иррациональных — религиозных, исторических и тому подобное? Не оправдываете ли вы рациональными доводами некое свое иррациональное желание?

— Единственная иррациональность, которая — признаю — имеется в моих рассуждениях, состоит, я полагаю, в том, что „химия" связи моего народа с этой землей не могла бы работать где-нибудь в Уганде или Биробиджане. Так случилось, что здесь эта непонятная химия работает. Почему именно здесь — не могу объяснить. Моя настоящая фамилия — Вайденфельд. Со стороны отца я сабра в четвертом поколении, мой прадед поселился в Рош-Пине в 1860 году. Но моя мать репатриировалась сюда из Польши в 1925 году. С чего вдруг Вайденфельду вздумалось возвращаться к традициям Бар-Кохбы и царя Давида? Не знаю. Да и не задумываюсь. Я просто чувствую, что не стал бы умирать еще за один кусок земли для России, за кусок Уганды или штата Нью-Джерси!..

— Я хотел бы спросить: что вы понимаете под словом „демократия"?

— Отвечу вам так, как меня учили в гимназии: демократия это правление, которое избирается народом, для народа, из народа. Если хотите более глубокого определения, читайте Платона.

— Скажите, не слишком ли большие надежды вы возлагаете на чисто формальные определения, считая, что параграфы конституции решат все наши проблемы и трудности? Что из того, что мы определим наши границы, — разве от этого другие сразу их признают? Что из того, что мы определим Израиль как подлинную демократию, — разве от этого страна сразу станет подлинно демократической? Ведь страну составляют люди с самыми разными интересами, это не винтики хорошо отлаженной машины... Не слишком ли большие надежды вы возлагаете на машиноподобную, отлаженную работу государственного и общественного механизма?

— Я инженер, и я знаю, что реальная машина отличается от идеальной. Создавая схему машины — в данном случае, конституцию, — я сознаю, что это идеальная схема, что в действительности ее придется реализовать в тысячах экземпляров, которые неизбежно будут отличаться один от другого. И ей придется работать в реальных условиях. Поэтому я должен предусмотреть подачу смазки, и чистку, и осмотр, и ремонт — тысячу компромиссов, — чтобы сохранить ее до тех пор, пока она не умрет. Ибо она все равно умрет, — таков закон жизни. Но скажите: можно ли начать строить без предварительной теоретической, формальной схемы вообще? Может быть, вы предложите мне отказаться от десяти заповедей по той причине, что люди есть люди, что они все равно будут убивать, совокупляться с чужими женами и пренебрегать родителями?

Нет, я реалист. Я говорю — давайте начнем с черно-белого. Жизнь сама сделает это немного серым. Конечно, нужно предусмотреть механизмы, которые обеспечат работу системы. Конечно, нужно помнить, что люди есть люди, что они подчиняются нормальному статистическому распределению. Но я не соглашусь с человеком, который хочет начать строить машину из этого человеческого материала, не продумав заранее, какова структура и схема этой машины, ее назначение и цель. Израиль сегодня — пример того, что такое государственная машина, построенная без такой предварительной схемы.

— Все это очевидно. Я говорю лишь о том, что никакая схема не может предусмотреть противоречивых человеческих мнений и желаний, стремления выразить и осуществить эти мнения и желания...

— Кто говорит о том, чтобы заранее предписать всем одно мнение?! Разумеется, в конституционном обществе должна существовать свобода слова. Но лишь при двух условиях: каждый гражданин должен поклясться соблюдать конституцию и защищать конституцию. Он может защищать ее тем, что будет настаивать на замене ее другой, которую он считает более справедливой. Пожалуйста! Есть конституционные способы изменения конституции. Франция конституционным способом перешла от Четвертой республики к Пятой...

— В одной из израильских газет говорилось, что Бени Пелед — человек, который не поколеблется рубить головы ради своей идеи (в отличие от „подлинного интеллектуала XX века", который-де знает, что нет уже таких идей, ради которых стоило бы рубить головы). Так ли это?

— Отвечу прямо. Если произойдет худшее и для создания суверенного Израиля придется пожертвовать пятьюстами гражданами из трех миллионов, я счел бы это жестокой, но неизбежной ценой за то, чтобы иметь свое государство. Но я надеюсь, что никому не придется идти на это. Я верю в разум человека. Люди разумны, они знают, в чем их польза. И чем быстрее они поймут, что им необходимо такое государство, тем меньше шансов, что будут погибшие в борьбе за него.

— И все же — возвращаясь к обвинениям вас в фашистских наклонностях — если бы Израиль превратился в тоталитарное, фашистское государство, что вы избрали бы — преданность Израилю или преданность демократии?

— Я боролся бы с фашизмом насмерть. Может быть, я вернул бы свое удостоверение гражданина. Но я не стал бы бежать, — я сражался бы. Скажу вам другое: если Учредительное Собрание в конечном счете решит, что границы Израиля должны проходить по линии Нетания—Петах-Тиква—Ашкелон и что это должно быть религиозное государство, лишенное всякой независимой внешней политики, вроде Монако, — я останусь гражданином даже такой страны. Я останусь здесь — из-за той „химии", о которой говорил. Конечно, я буду бороться, стану бунтовщиком, может быть, уйду в подполье, но останусь, не эмигрирую в Соединенные Штаты...

— Тут я вынужден спросить, наконец, — кем вы себя чувствуете: израильтянином или евреем?

— Точное попадание! Скажу так. Однажды я беседовал с редактором „Едиот Ахаронот" Шломо Розенфельдом, которого я очень уважаю. Он прочел мое обращение, задумался, а потом сказал: „Вы, может быть, даже и правы. Но в евреях это не заложено. Нет у них этого непобедимого стремления быть независимыми. Я согласен с Ури-Цви Гринбергом: евреи знают, как вместе умирать, но они не знают, как вместе жить". Я ответил Розенфельду: „У меня есть свое решение. Видите ли, я не вполне тот еврей, о котором говорил Гринберг. Я не подхожу под его определение. Я мутант. Двенадцать лет подряд, с детского сада, в меня вколачивали, что я должен стать отличным от космополитичного „еврея вообще". И я стал евреем-мутантом". Может быть, в этом повинна земля этой страны, ее воздух, ее небо, но мутантами стали все мы, выросшие здесь до провозглашения независимости. Такого воспитания теперь нет. Но сама земля продолжает создавать все больше этих израильских евреев, израильтян. И сегодня в Израиле накопилось, я убежден, больше, чем необходимая критическая масса, людей, которые уже не на все 100 процентов евреи.

— Но и не на все 100 процентов израильтяне?

— Нет, конечно. Для этого нужно сначала определить, что такое израильтянин. И все наше богатство может быть утрачено, если такое определение не будет дано, если у нас не будет настоящего суверенного государства. Эти люди уже никогда не смогут жить, как евреи. Может быть, они начнут есть свинину и научатся насмерть драться со всеми, кто захочет отнять у них их землю, может быть, они превратятся в чингисханову орду, не знаю. Но говорю вам: я больше не еврей. Я утратил все защитные механизмы галутного еврея. Он две тысячи лет культивировал свой иудаизм, чтобы спрятаться и защититься от „гоим". У меня этих механизмов нет: я не ношу кипу, я не живу по еврейскому закону, он мне не нужен.

— И вы не ощущаете никакой связи с другими евреями в мире?

— О, нет! Я ощущаю к ним некую симпатию. Я вижу в них потенциальных израильтян. Я отношусь к ним, как, скажем, итальянский католик к католику французскому. Я могу встречаться с ними, разговаривать — на религиозном уровне, на духовном, но я всегда буду помнить, что он американец или русский, а я — из-

раильтянин. Я не вижу своих „соплеменников" в Симоне Вайль, Анне Паукер или Бруно Крайском. И даже в Эйнштейне, хотя он был потенциальным израильтянином больше других, быть может.

— И поэтому в своем телеинтервью вы предложили провести „черту" между израильтянами и евреями галута? Но вот что здесь тревожит: не понуждаете ли вы их этим немедленно решать, где они, по какую сторону „черты"?

— Это не так. Я говорю человеку: перед тобой альтернатива. Пожалуйста, можешь тянуть, сколько хочешь, я тебя не понуждаю, можешь решить перейти эту черту сейчас, можешь через десять лет. Ты всегда остаешься потенциальным израильтянином. Решение — твое. Но до тех пор, пока ты его не принял, считай себя, любезный, иным, чем я и мне подобные.

— Иными словами, это вы его таким считаете? Он-то, быть может, считает себя таким же...

— Это его проблема. Я так не считаю, и именно поэтому я хотел бы иметь четкое определение — не еврея, а израильтянина. Чтобы американский или русский еврей не мог считать себя израильтянином, сидя в Америке или в России. Ведь не считает же он себя американцем или русским по той лишь причине, что симпатизирует этим странам!

— Предположим, что из вашего призыва ничего не выйдет. Каков ваш сценарий на ближайшие годы?

— Экстраполируя то, что происходит в нашей общественной структуре за последние тридцать лет, я могу сказать, что любое новое наше местечковое правительство будет проваливаться все быстрее и на всех фронтах — военном, экономическом, политическом. И где-то около 1983 года всякому разумному человеку в Израиле станет ясно, что у него нет правительства суверенной страны. Он потеряет доверие ко всем политическим платформам нашей израильской еврейской общины. А экономически он будет к тому же гораздо голоднее, чем сейчас. И будучи голодным и разочарованным, он на что-то решится. Единственная надежда, — что и тогда останется достаточно людей, помнящих, что именно нужно сделать: вернуться назад и осуществить лозунги Декларации Независимости, создать государство, в котором все будут равны перед законом, независимо от пола, расы и религии.

Если же ухудшится только политическая ситуация, то события лишь отсрочатся. Кому нужно менять все в государстве, если на обед хватает? Думаете, Леху Валенсе удалось бы то, что он сделал, если бы в Польше не было очередей за мясом? Русскую революцию начали женщины, стоявшие в очередях за хлебом.

— И вы не опасаетесь возможности диктатуры? Генеральского путча?

— В Израиле? Никогда! Наша армия никогда не примет участия ни в каком путче. Я сам готов стрелять в любого солдата или офицера, который займет ту или иную политическую сторону. Армия должна быть вне политики. И она будет вне политики.

— Вы полагаете, что демократичность — в душе любого еврея, любого израильтянина?

— Отнюдь нет. Но евреи так долго страдали от всяких диктатур, что обратятся к ним лишь в самом крайнем случае. Лично я не приму никакой диктатуры. В бытность мою командующим ВВС ко мне приходили этакие жирные типы с сигарами во рту и говорили: „Что за бардак в стране, как вы это терпите, у вас же есть оружие?" Я отвечал им: „Это вы говорите мне? Вы хотите, чтобы я для вас сделал революцию, навел „порядок"? Да если я сделаю революцию, то первое, что я сделаю затем, — это заберу ваши виллы и машины, а вас самих повешу на фонарях! Так что убирайтесь подобру-поздорову. Вы это начали, вы и расхлебывайте!"

К сожалению, после 1967 года усилился наплыв в армию негодных людей. Сначала они заполонили систему просвещения, потом государственную службу, теперь проникают в армию. Если так будет продолжаться, нашей армии грозит превратиться в сборище идиотов с небольшой добавкой безумцев — настоящая бомба замедленного действия. То, что произошло сейчас с солдатами, портившими свои же танки, подтверждает мои опасения. Все это началось с легкой руки Голды. Это она говорила солдатам: „У вас тяжелые условия? Почему вы не жалуетесь в Гистадрут?" Даже Голда не понимала разницы между общиной и государством, между отрядом самообороны и суверенной армией. А то, что происходит сейчас, что произошло с командующим полицией, — разве это мыслимо в суверенном, конституционном государстве?! Командующий полицией обнаруживает непорядки в министерстве внутренних дел и докладывает об этом своему министру, потому что он думает, что перед ним — настоящий министр, человек, сознаю-

щий свою ответственность перед государством и законом. А перед ним, оказывается, — габай местечковой общины, который говорит ему: „Что ты поднял такой шум? Ты что, не знаешь, что у нас, у евреев, в местечке, всегда так делалось: один другому давал, другой у него брал, все довольны, что ты поднял шум на всю страну?" Это — министр? Это — государство?

— Вы непоследовательны: вы призываете других делать, но сами не делаете ничего...

— Вы правы. Но есть разница между безумцем и идиотом. Может быть, я безумец и высказываю безумные идеи, но я не идиот, который хочет прошибить стену лбом. Я не Ян Палах. Я не буду сжигать себя в знак протеста. Пока большинство народа не поймет, что оно этого хочет, я не пойду один. Но когда большинство поймет, — я буду с ним.

— Вы проявляете вполне понятное нетерпение тем, как беспорядочно идут у нас государственные дела. Но, может быть, это всего лишь следствие нашей государственной молодости, нашего постепенного превращения в настоящее, зрелое государство. Ведь у евреев нет опыта государственного существования. У них две тысячи лет не было государства...

— Вы предлагаете мне ждать еще две тысячи лет? Когда-то меня послали налаживать производство КФИРов. Я обнаружил там полнейший беспорядок и доложил начальству: „Если вы не разрешите мне ввести там „конституцию", они опоздают, по меньшей мере, на два года". Мой тогдашний начальник ответил мне: „Бени, у нас две тысячи лет не было своих реактивных истребителей, так у нас не будет их еще два года..." Я не согласился с ним. Я не могу отсчитывать от Авраама. Для меня запоздание на два года не относительно, а абсолютно. Вы правы, я тороплюсь. Если мы опоздаем создать подлинно суверенное государство, то мы опоздаем абсолютно. Мы не можем ждать еще две тысячи лет!

М. Юрьев

ДЕМОКРАТИЯ КАК ФОРМА ДИКТАТУРЫ

Эта фраза, пошедшая на заголовок, не есть псевдомакиавеллианский каламбур, но цитата. Цитата то ли из толкового словаря русского языка, то ли из известнейшего в СССР словаря под редакцией Ушакова. В полном виде это толкование выглядит следующим образом: „Демократия социалистическая — форма диктатуры пролетариата".

Итак, демократия как форма диктатуры.

Израильский вариант.

Мне представляется, что демократия от диктатуры либо же демократия от тоталитарного правления, с точки зрения гражданина, отличается не принципом выборности, но уровнем Государственной Силы. Вполне можно себе представить, что советские генсеки станут сменяться быстрее, чем до сих пор — допустим, каждые четыре-пять лет. Более того: сменяться они будут не по собственному хотению, а избирательным путем. Каждые пять лет народу будут предлагаться пять возможных кандидатов: Кириленко, Шелепин, Андропов, Суслов, Дымшиц. Меняться-то они меняются, а Государственная Сила остается прежней. Получается демократия (точнее, то, что мы именуем демократией)? По букве получается, но по сути...

Добрый король лучше злого премьера.

Возражения о разных партиях я не принимаю. Воронов будет членом социал-демократического союза, а Дымшиц — национально-либерального блока. За этим не постоим.

Следовательно, — дело в государстве. Единственный способ добиться демократического, толерантного режима — заставить государство ослабеть.

Я мог бы привести сотни примеров, демонстрирующих чрезмерную Государственную Силу в Израиле, но, к сожалению, большинство этих примеров читателю не подойдет. Ибо наш читатель, проживающий в условиях полной и безнадежной изоляции от израильского общества в целом и от особенностей государственного устройства Израиля, в частности, ни в какой демократии или толерантности не нуждается вовсе. Средний представитель совчеловевества — есть самая настоящая *авторитарная личность,* со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями: тяжкими сексуальными расстройствами, свирепостью и безжалостностью по отношению к окружающим, патологическим фарисейством, полным отсутствием хоть чего-нибудь похожего на самостоятельное мышление. Та политическая, нравственная и общественная атмосфера, которую надышали в своем кругу так называемые новоприбывшие, не идет ни в какое сравнение с атмосферой общеизраильской. Практически любой мало-мальски демократически настроенный израильтянин с ужасом и одновременно с насмешкой говорит об „этих русских" — если ему, израильтянину, случается хоть краешком бытия соприкоснуться с нами, дорогой читатель. Но он не соприкасается — в большинстве случаев.

Поэтому примеры Государственной Силы я возьму из нашего обихода.

Если кому-либо из нас вздумается покинуть Израиль — несущественно на время или навсегда — немедленно после заказа заграничного паспорта, мы получаем некую бумагу из сюрреалистической компании „ИДУД" — отдавай деньги, полученные тобой на устройство! Иначе закроем выезд из страны... Никто и никогда не доказал — и не докажет нам, — что эти деньги мы и в самом деле должны. Компания „ИДУД" никогда не выиграла и не выиграет ни одного судебного иска. Да она и никогда не вчиняла его. Наконец существуют способы эту компанию попросту обмануть — в подробности входить не хочу. Компания закрывает нам выезд незаконно. Вернее, она *законно* подает в суд, суд *законно — до окончания разбирательства дела* — принимает решение о нашей

задержке. Разбирательство может длиться долгие годы. Этого обычно никто позволить себе не может — ехать-то надо!

Но я — не об этом. Сам факт того, что Министерство внутренних дел сообщает компании „ИДУД" о том, что господин/госпожа X заказали себе заграничный паспорт — вот где откровенное и наглое попрание элементарных человеческих прав! Можно было бы найти оправдание этому факту, если б „ИДУД" была неким государственным учреждением, имеющим те или иные связи соподчиненности с Министерством Внутренних наших с вами Дел. Но компания „ИДУД" — организация негосударственная — ее начальство относится к Еврейскому Агентству. Попробовали бы такой фокус провернуть с израильтянином... И они уезжают, оставаясь должными банкам, магазинам электроприборов — вплоть до бакалейной лавчонки. Разумеется, если заимодавец *сам* узнает о том, что его должник намеревается удалиться в недосягаемые дали — он идет в суд. И суд — если успеет — задержит. На вполне законных основаниях... Иное дело — мы с вами.

Короче говоря, речь идет о нарушении *права личности на свободное передвижение.*

Быть может, нарушения эти проходят тайно? И стоит нам *заявить* — все изменится? Ни в коем случае! Особо настойчивые могут получить в письменном виде разъяснение министерства. Ими, мол, заключено соглашение с компанией „ИДУД" о том, что они, министерщики, будут сообщать имена и фамилии тех новоприбывших, которые заказывают паспорта. Иными словами, нарушение Декларации Прав Человека *санкционировано государственным учреждением.*

То же Министерство тех же Дел нарушает и Закон о Возвращении. Мы — граждане Израиля с момента прибытия, о чем свидетельствует наше удостоверение личности. Однако в течение первого года пребывания в Израиле заграничного паспорта нам не выдают — только путевой лист. Достаточно обратиться в суд — и паспорт мы получим. Закон на нашей стороне. А если не обратимся — не получим. Есть вполне официальное решение. Решение государственного учреждения о нарушении одного из основополагающих государственных законов.

Все это давно известно. Но — возмущаясь тем, что мы обычно именуем „произволом грубых и невежественных чиновников", мы почему-то забываем, — грубость и невежество в данном случае *дозволены государством.* Служащий того же „ИДУД" не посмел

бы проявить свою грубость, требуя у вас в залог заграничный паспорт — „до уплаты долгов", не посмел бы явиться к вам домой без приглашения, да еще и проводить допросы: почему и зачем вы заказали заграничный паспорт, — если бы не знал, что на его стороне Государственная Сила...

Еще один пример — общеизраильский.

Известно, что правоспособные граждане во всем мире вынуждены уделить некую толику своих доходов на содержание государства — то есть платить налоги. Существует множество систем налогообложения — в большей или меньшей степени приближающихся к так называемым „справедливым". Всегда, конечно, находятся общественные группы, считающие, что их денежки разбазариваются, уходят на „министерские виллы" и т.п. Во всяком случае, граждане по праву желают знать, на что именно затрачиваются налоги, каким образом распределяется сумма и — самое важное — быть уверенными в том, что их кровные уходят на дело общеполезное.

Среди прочих налогов, граждане Израиля вынуждаются платить за содержание государственного радиовещания и телевидения. Со скрипом — но платят. Итак: государство, отнюдь не спросив на это позволения граждан, монополизировало важнейшее средство массовой информации. Все предвыборные разговоры о ликвидации этой — весьма показательной! — монополии сошли на нет. Тем не менее мы обязаны содержать государственное радиовещание и телевидение — вне зависимости от нашего согласия.

Я рискую быть обвиненным в злостном преувеличении и в нарочитом передергивании, — но лично мне данная история напоминает некоего монарха из сказки Станислава Лема: монарх этот в целях экономии постановил, что осужденные на смертную казнь должны обезглавливать себя сами, поскольку должность палача „сокращается".

Если государство во что бы то ни стало желает сохранить монополию на теле- и радиоинформацию, то пускай само и несет все расходы — за счет сокращения количества министров или их жалования, но отнюдь не за наш счет.

Короче говоря — *государство лишает нас права свободного выбора на приобретение услуг.* Мы обязаны платить за то, что при иных обстоятельствах, возможно, покупать бы не стали (имея возможность выбирать телепрограммы по своему вкусу). Единственный способ протеста в описанной ситуации — отказ в уплате налога.

Отказавшись — мы нарушаем закон. И в наши квартиры явятся оперативники „Отдела по приведению в исполнение" — и отберут у нас телевизор. Закон есть закон.

Здесь самое время вспомнить о решении Высшего суда справедливости по делу о поселении Элон-Морэ: суд постановил его ликвидировать. Но, поскольку *государству было невыгодно* портить отношения с влиятельным национально-религиозным „Союзом верных", решение суда долгое время не выполнялось, откладывалось и т.п. И никакие „Отделы по приведению в исполнение" не вмешались.

Такое положение дел, когда демократические принципы соблюдаются государством в случае: а) выгоды; б) отсутствия необходимости их нарушать, — я называю ситуацией *дискретной демократии.* Дискретная демократия — и есть форма диктатуры. Государственной диктатуры. Государство должно быть *вынуждено* соблюдать демократические принципы, вне зависимости от тех или иных правительственных интересов, внешне- или внутриполитических соображений. Вынудить к этому государство может только общественность.

* * *

Существует всеобщий закон работы всех государственных машин: будучи пущена в ход, госмашина самостоятельно остановиться не хочет и не может; она будет распространять свои щупальца вширь и вглубь, сметать все препятствия на пути своих колес и шестеренок. Зная об этом, общество, во-первых, стремится запрограммировать свою госмашину так, чтобы ее действия были ограничены, а, во-вторых, проводит время от времени операцию по обрубанию упомянутых выше щупальцев. Но, так как госмашина обладает чувством самосохранения и аппаратом самопрограммирования, реакция общества зачастую не успевает за государством. Единственным средством спасения общества от „державности" является не демократический строй, как таковой, но *демократическая идеология.* Постоянной сверхзадачей людей должно стать не сохранение своего государства как самоцели и вершины всех стремлений, а сохранение демократического характера государства. И государство об этом должно знать!

Президент США Джимми Картер столкнулся со значительными трудностями, пожелав ввести эмбарго на поставку пшеницы в Со-

ветский Союз: фермерам это невыгодно... Как ни страшно звучит то, что я сейчас скажу, но я — на стороне фермеров! Несмотря на мое отвращение к агрессии большевиков в Афганистане. Но *свобода торговли, как и любая другая свобода, важнее любых государственных амбиций.* Не надо было с самого начала принимать решение о поставке пшеницы в Союз! Ведь тогда голосов протеста американская администрация не слыхала и охотно помогала советскому режиму в его борьбе с собственным крестьянством.

Тоталитаризация государственных машин — явление общее для всех стран в наше время. И тоталитаризм победит — не благодаря „подрывной деятельности коммунистов", а в результате повсеместного возрастания Государственной Силы, сведения демократических свобод к минимуму: свободе устной и письменной болтовни, ошибочно именуемой свободой слова.

Недавно мой знакомый израильский журналист восхищался широтой разоблачений на страницах местных газет: вот, мол, пример свободы! Но он забыл, что в большинстве случаев „разоблаченный" министр, чиновник, парламентский деятель не терпит никаких реальных неудобств. И уж никаких неудобств не испытывает государственная машина, — оттого что та ли, другая ее деталь проржавела — и об этом знают все (или почти все).

Соблюдение всего объема демократических свобод преследует одну главную цель: *ограничение свободы государства.* И если никакие газетные и радиовопли, никакие суперсправедливые суды не в состоянии эту свободу ограничить — демократия не осуществляется. И не следует утешаться бравой игрой мнений в печати: государство, набрав силу, прекратит эти игры задним числом, почувствовав, что *можно.* Час настал... Борьба государства с телевидением — только первое грозное предупреждение.

Но здесь я вновь вступаю в область, малоизвестную для читателя: скудные сообщения в русскоязычной печати о происходящем на телевидении делу не помогут. Читатель! Скажи мне, не задумываясь: кто у нас председатель Комитета по радиовещанию и телевидению?! То-то же...

* * *

Один из „бывших советских", а ныне твердокаменный национал-религиозник, заявил корреспонденту программы новостей: „Если демократия вступает в противоречие (он употребил слово „меша-

ет", но это, возможно, от недостатка языковых средств...) с еврейским государством, я — против демократии". Простим ему горячность, хотя моим мгновенным ответом было: если еврейскому государству мешает демократия, я — против еврейского государства. И все-таки простим. Уберем прилагательное „еврейский": многовековой комплекс государственной неполноценности влияет на высказывания не только совевреев, но и на вполне западные словоизъявления. Ответ должен быть иным: *государство, которому мешает демократия — государство страшное.* Опасное для всех его жителей, включая и тех, кто сегодня готов „обойтись без демократии". Сегодня он готов, а завтра — когда государство сочтет возможным обойтись без него самого? Волком взвоет, да поздно будет.

Но это, так сказать, объективные соображения. Позвольте спросить: достаточен ли в Израиле общественный „слой", *нуждающийся* в демократии? Разве нужна демократия спекулянту иностранной валютой — ведь до „либерализации" валютных операций ему жилось превосходно! А пилоты нашей „национальной авиакомпании" получавшие еще недавно 300.000 лир в месяц? Частные авиалинии их погубят! А монопольные автобусные кооперативы? А своеобразные промышленники, не могущие обойтись без госкредитов? А реформа налогообложения, могущая уничтожить „черный капитал" — разве нужна она отечественным уголовникам? Да не истребит ли строительных подрядчиков решение о массовом строительстве в Израиле силами зарубежных компаний? А свободная конкуренция в торговле?! Она убьет не только „профсоюзных капиталистов"...

Но я прекращаю экономические тирады — экономика не моя специальность.

Демократизация выбьет почву из-под ног служащих отнюдь не экономических институций. Гигантская пирамида подъячих всевозможных приказов, контор, ведомств развалится, если демократизация коснется государственного строя Израиля. В щепки превратятся кресла многочисленных „фарцовщиков от идеологии" — начиная с самого-самого верха и кончая издателями и авторами „изданий для новоприбывших"... Ведь миллионы тратятся на мелованую бумагу, где на фоне „библейской голубизны" печатается наглая беспардонная ложь, — достойный соперник „Спутников", „Советских Союзов" и „Блокнотов агитатора"... Знакомое всем „израильское радио на русском языке", где бездельничают *более*

80 человек (по сравнению с двадцатью пятью на Русской Службе Британской радиовещательной корпорации) — как выдержит оно самую умеренную конкуренцию с десятком профессионалов, получивших (пофантазируем!) возможность готовить передачи для СССР?

Впрочем, сложность заключается в ином.

Израильское общество в целом *привыкло видеть в государстве одновременно и „цель жизни" и „дойную корову".*

Государство же *никогда и ничего не дает даром: те, кто будто бы его „доят", превращаются в его послушных рабов.* Требующие, чтобы государство „субсидировало" их фабрики, их детей, их молоко и курятину, сами того не понимая, отдают себя государственной машине с головой. Они позволяют, чтобы государство решало за них — где и в какой квартире им жить, где работать, на чем и куда ездить, что есть и во что одеваться. Кажущиеся „победы", когда государство „уступает" требованиям о надбавке на дороговизну, о дополнительных субсидиях и т.д. — есть фикция. То, что заработано не нами — в любой момент может быть отнято. Государство („дойная корова") в один прекрасный день может не дать себя „доить".

Упомяну только об одной возможности. Вместо требований о свободном строительстве на свободной земле (государство — крупнейший землевладелец Израиля) свободными строительными организациями, израильтяне „выжимают" ипотечные ссуды у государства, настаивают на облегчении их выплат. А если государство начнет выдавать эти ссуды в виде премии „за хорошее конформистское поведение"? Где жить будем? Никто не догадывается потребовать у государства хотя бы строительства жилья в наем — *с законодательным решением о вечном владении* (скажем, как это в свое время произошло во Франции), когда после ряда лет квартиры переходят в собственность владельца...

В Израиле нарушен основной принцип демократического мышления: *государство — это мы.* Государство — всего лишь наша с вами собственность. Не правительственная, не чиновничья вотчина, а — повторяю, — наша собственность. А со своей собственностью мы обращаемся по нашему усмотрению. С собственностью же обращаться — мы умеем плохо. Поэтому все поменялось местами.

Перейдем к рассмотрению — краткому — вопроса о „цели". По моему глубокому убеждению, государство по имени Израиль от-

нюдь не конец еврейской истории и уж никак не „венец трудов". Государство — всего навсего *средство для создания Национального Дома для еврейского народа.* И если данное конкретное государство таким Домом не стало, мы вправе — и обязаны! — вносить в него любые мыслимые изменения. Вплоть до коренной перестройки. Потому вопрос: „А не принесет ли такое-то мероприятие вред государству?" — некорректен. Возможно, что и принесет. Проповеди пророка Исайи приносили вред тогдашнему государству.

И первое, что мы обязаны сделать — отбить у государства охоту и возможность вмешиваться *в личную жизнь.* Любой ценой.

* * *

Весь уклад государственной жизни в Израиле — недемократичен. Главный симптом такого положения — ежедневные и ежечасные мелкие нарушения прав Человека. Мы настолько привыкли к этому, что даже не замечаем происходящего. Ибо когда чиновник внезапно отменяет встречу с вами, когда срок положенного ответа на жалобу удлиняется вдесятеро, а то и совсем никакого ответа не получается — это не „грубость и безответственность", но нечто гораздо более ужасное: нарушение ваших основных прав, выход государства из повиновения... Если угодно — бунт машины.

Чисто психологически недемократичность выражается в постоянном припеве: „у нас демократия". В смысле — можете протестовать, результата все равно не добьетесь. Демократия, ограничивающаяся свободой протеста, — форма диктатуры. К тем же — психологическим — признакам недемократичности следует отнести рассуждения на тему об „особом пути", „трудном международном положении". Уж кого-кого, а недавних жителей СССР подобные ссылки должны немедленно настораживать.

Демократия не спустится к нам с „вершин правления", ее не дарują. С вершин спускается только тоталитаризм — при молчаливой (или громкой) поддержке общества. Государственные предпосылки для диктатуры в Израиле созданы давно. Но израильское общество до сих пор успешно сопротивлялось диктатуре — партийной, государственной, личной — просто потому, что *не было готово к ней.* Сейчас, вместе со всем населением земного шара, израильское общество для тоталитарного правления вполне пригодно. Хотя бы потому, что тридцать лет дискретной демократии оставили населе-

ние неудовлетворенным. Последние экономические трудности вызывают у огромного большинства ложное впечатление, будто в трудностях этих виновата чрезмерная „свобода". Поскольку израильтянин настоящей демократии не знал никогда, он ошибочно принимает яд за лекарство. Я не стану углубляться в рассмотрение всех возможностей — скажу только одно: перед Израилем два пути — к настоящей демократии или к настоящей диктатуре. До сих пор еще можно выбирать — возможности приблизительно равны. Через несколько лет выбирать будет поздно. Под любым предлогом: „внешней опасности", „национального возрождения", „религиозного правления" — наш гипотетический Национальный Дом превратится в лагерный барак, окруженный колючей проволокой. А какое знамя развевается над бараком — ей-Богу, не имеет значения...

Виктор Богуславский
и Александр Воронель

НАД СТАТЬЕЙ М. ЮРЬЕВА

А. Воронель: Я вполне согласен с Юрьевым: демократия есть действительно форма диктатуры. От того, что это сказал Маркс, справедливость самого утверждения не отменяется. Путаница начинается тогда, когда вместо демократии как юридического механизма, защищающего *права* личности и меньшинств, начинают рассуждать о демократии как полном народовластии. В реальной истории демократия всегда начиналась как „народовластие" ничтожного меньшинства при полном бесправии огромного большинства. Достаточно вспомнить хотя бы классический образец древней демократии — Афины. Кто в Афинах считался „демосом"? Только кучка свободных граждан. Рабы не были „демосом", у них в этой демократии не было никаких прав. И английская Хартия Вольностей тоже не всем дала вольность. В этом смысле и она провозглашала диктатуру. Но гораздо более существенным было то, что в этой Хартии были сформулированы определенные механизмы обеспечения прав личности. Верно, вначале эти механизмы действовали только для незначительной части населения. Это были привилегии. Но в дальнейшем в борьбу за эти привилегии вовлекались все более широкие слои, а поскольку такие привилегии были в принципе открыты

для каждого, то сегодня мы видим, что англосаксонские народы являют нам замечательный пример наиболее широкой демократии из существующих в мире. Но опять-таки, если присмотреться, — разве все без исключения пользуются и сегодня этими демократическими привилегиями? Оказывается, вовсе не каждый человек и даже не каждая группа, а только те граждане, которых можно назвать *активной группой* населения. А активными даже в Штатах сегодня являются далеко не все.

Юрьев, мне кажется, не понял именно эту главную особенность демократии. Демократия как народовластие — это идеал, демократия как механизм обеспечения *прав* — это реальность. Реальный механизм демократии состоит в том, что *право* влиять на общественную жизнь, *право* на все „права" имеют *все.* Но на практике одного права оказывается недостаточно, — нужно еще иметь *силу.* А сила есть не у всех людей и не у всех групп. Вот, например, в Израиле вскоре после войны Судного дня один человек — Моти Ашкенази — вышел на демонстрацию против Голды Меир, требуя ее отставки. Над ним смеялись: что может сделать один человек? А кончилось тем, что он-таки свалил Голду, вынудил ее уйти в отставку. Потому что у него была сила. И у рава Меира Кахане есть такая сила. Он может увлечь за собой массы. С другой стороны, у многих лидеров нашей русской алии такой силы нет, и сколько бы они ни произносили политических речей, реального политического влияния они, я думаю, не добьются — во всяком случае, в ближайшее время.

И еще одно важное, на мой взгляд, соображение. Говоря о демократии и диктатуре, мы часто понимаем под ними даже не механизмы, а *методы* управления. Советская диктатура — это то, что расстреливает своих граждан за попытку борьбы с ней. Элементы диктатуры в израильской, да и в любой другой демократии — нечто совершенно инсе. В Израиле за всю его историю был расстрелян, кажется, всего один человек — во время войны, за неподчинение приказу командира, — да и то этого командира потом судили и общество подвергло его остракизму.

В. Богуславский: У меня статья Юрьева вызывает ощущение, что автор (как, впрочем, к сожалению, и многие наши репатрианты) плохо разбирается в вопросе, о котором взялся так трепетно судить. Когда он говорит о демократии и ее отсутствии в Израиле, он в действительности ориентируется на то идеальное, абстрактное

представление о свободе и демократии, которое вынес из Советского Союза. Там этот идеальный образ демократии формировался в противостоянии всеобъемлющему государственному деспотизму. Поэтому и демократия — по контрасту — представлялась как абсолютная свобода от государства. В реальной израильской действительности никакой всеобъемлющей „государственной силы", о которой рассуждает Юрьев, не существует. Но нет и абсолютной свободы. Имеется много мелких препятствий на пути к этому столь желанному для Юрьева идеалу. Например, здесь человека заставляют, оказывается, платить долги. Долги Юрьеву платить не хочется. Он усматривает в этом ограничение своей личной свободы. А с ограничением своей свободы делать, что ему хочется, Юрьев категорически не согласен. И поскольку израильская демократия его, Юрьева, свободу ограничивает, он начинает утверждать, что она вовсе не демократия, а замаскированная форма диктатуры.

А. Воронель: Кто ограничивает и чью свободу? Это очень важно понять. Демократия — это всегда игра с ограниченным числом участников. В реальной демократии личность защищена от государства лишь постольку, поскольку она является членом какой-то группы. Я как-то встретил в Израиле канадскую еврейку, которая сказала, что бежала сюда от „тирании канадской еврейской общины". Я спросил, — а что, нельзя быть вообще вне общины, ведь Канада — свободная страна? Она крайне удивилась, — как это вообще вне общины? Вне общины или группы могут быть только совсем уж бесправные люди, какие-нибудь низы общества.

Но группы и общины тоже бывают разные. В Израиле есть группы, умеющие влиять на общество и государство, — это „сильные" группы, способные к самостоятельности, к общественной активности, защищающие интересы своих членов и борющиеся за них. Кибуцники, например, или вот, сейчас, поселенцы. А есть группы, которые в силу ряда причин являются „слабыми", неспособны к такой самостоятельности. Ведь это не случайно, что те деньги, о которых Юрьев упоминает, как об идущих на „государственную пропаганду", идут, в основном, на поддержку именно репатриантских изданий и начинаний. Израильские в такой поддержке не нуждаются. „Маарив" никто не субсидирует, и эта газета может проводить свою линию. А новоиммигрантские группы слабы еще и потому что они, в сущности, не объединены или объединены чисто формально — просто сроком прибытия в страну, тем, что плохо пони-

мают механизм новой жизни, не умеют им пользоваться, не умеют создавать группы давления.

Беды русской алии, которые перечисляет Юрьев и которые он объясняет чрезмерной „силой" израильского государства, на самом деле связаны именно со слабостью русской алии как общественной группы. Это очень важно понять, чтобы правильно судить о демократичности Израиля. Демократия всегда является формой диктатуры: демократией для одних и диктатурой для других. В отношении „сильных" общественных групп государство в Израиле — „слабое". Мы все это ясно видим: сейчас, например, власть в руках „правых", но они не могут справиться с Гистадрутом, потому что в руках у этого профсоюзного синдиката и экономика, и здравоохранение, и общественные организации, и даже печать. По отношению к таким группам, — а они объединяют большинство коренных израильтян и многие группы репатриантов, — государство бессильно. Тут ситуация ближе даже к анархии, чем к демократии, а уж о „диктатуре" вообще смешно говорить, когда видишь, как правительство скопом уступает каким-нибудь техникам авиакомпании „Эль-Аль". И этим, я думаю, объясняются многие наши нынешние явления в политической и экономической жизни. Зато кем власть действительно может „управлять", по отношению к кому она действительно „сильна" — это по отношению ко всяким неорганизованным меньшинствам, вроде евреев из России или из арабских стран, потому что эти группы неспособны еще организоваться и бороться за свои интересы, используя все преимущества демократической системы. Много выиграли забастовщики из центров абсорбции или текстильщики из Офакима? Так и получается, что по отношению к одним группам государство выступает как „слабое", демократическое, а по отношению к другим то же государство выступает как „сильное", как диктатура, ограничивает их права. Я согласен с Юрьевым, что действия банка „Идуд", который не дает гражданину свободно украсть, — это, несомненно, ограничение личной свободы. И я не сомневаюсь, что в развитом демократическом обществе группа, которая решила бы добиться отмены такой дискриминации, добилась бы своего. Почему бы, кстати, Юрьеву не создать такую организацию, которая боролась бы за право русских евреев уезжать из Израиля, не отдавая долгов? Другое дело, что лично я бы такую организацию поддерживать не стал. Я не против того, чтобы нашу свободу ограничивали в этом пункте. Я не против

того, чтобы ее ограничивали и в вопросе о заграничных паспортах. Конечно, то, что постоянный паспорт не выдают сразу же, — это нарушение закона. И объясняется это только тем, что наша группа недостаточно сильна, недостаточно организована, чтобы с этим нарушением, как и со многими другими проявлениями дискриминации, покончить. Этим объясняется, а не злонамеренностью, недемократичностью системы, как утверждает Юрьев. Но, сознавая, что это несомненное нарушение демократии, я лично могу пожалеть только о том, что паспорта задерживают всего на один год, а не на два, скажем. Потому что я достаточно насмотрелся в Риме на наших русских евреев, бежавших из Израиля, которые кричали: „Можете подавиться своим паспортом! Подумаешь, счастье — паспорт!" Во всех нормальных странах люди ценят свой паспорт, они несколько лет ждут, пока им его выдадут, пока их удостоят звания гражданина страны, только наши не понимают, что это право нужно ценить!

В. Богуславский: Любой факт можно представить так, чтобы он подтверждал нужный тебе тезис, если этот факт вырвать из общей картины, да еще к тому же немножко передернуть. Взять хотя бы эту проблему паспортов. Действительно, в первый год репатриантам из СССР не дают постоянного паспорта. Но сказать *только это* — значит как раз исказить общую картину. Во многих западных странах иммигрантам тоже не сразу дают документ, позволяющий им выезжать из страны на любой срок и потом возвращаться. В Англии, например, для этого нужно прожить не менее четырех лет. Дальше — упомянутое Юрьевым ограничение касается только репатриантов из СССР, иммигранты из других стран прибывают в Израиль со своими паспортами и получают статус „временного жителя", который могут сохранять в течение трех лет. Никаких ограничений на их выезд это не накладывает. Зато репатрианты из СССР получают израильское гражданство немедленно, а не по истечении испытательного срока, как в западных странах. То, что они этого не ценят, характеризует их самих, а не степень демократичности Израиля, конечно. Люди, вроде Юрьева, бесконечно твердят о том, что их заставляют отдавать долги. Они проявляют исключительную осведомленность в том, сколько денег „должно" им государство, — потому что они, видите ли, знают, что эти деньги дает „на них" американское еврейство. Они так заняты подсчетом, сколько на них дает американское еврейство, что им некогда вспомнить обо всех

бесчисленных льготах, которые дает им государство и о тех долгах, которые оно аннулирует по истечении определенного срока пребывания в стране. Самое забавное, — что эти американские деньги они почему-то считают „своими". Уж если Израиль им „должен", то, конечно, американские евреи — и подавно. „Американцы дают двадцать тысяч долларов на каждого репатрианта!" — кричит один. „Нет, тридцать!" — доказывает второй. „Израиль кладет себе в карман наши денежки", — обличает третий борец за „демократию". Ну, а раз государство ворует у них, то и они должны „иметь право" воровать у него, — такая получается логика.

Или вот — проблема выезда. Неверно, будто иммигрант не может выехать в первый год. Правда, он получает не паспорт, а „ляссе-пассе", то есть ту же „подорожную", но и она позволяет ему ехать куда угодно. Разница только в том, что она не позволяет ему оставаться в другой стране больше определенного времени, как это позволяет паспорт. Но эта разница не израильскими властями установлена, а законами других стран, направленными против нелегальной иммиграции. Американцы не считают беженцем человека, который является полноправным гражданином Израиля. И правильно делают. Если он беженец, то только в том смысле, что бежит из Израиля. Не случайно больше всего озабочены проблемой „невозможности выехать" именно те, кто хочет бежать из Израиля, бежать тайком, не платя долгов, оставив за себя расплачиваться своих гарантов, да еще спекульнув по дороге своими иммигрантскими правами (например, продав по полной стоимости купленную по льготной цене машину) . Именно такие люди с пеной у рта доказывают, что Израиль — чуть ли не концлагерь, что отсюда „нельзя выехать"! А потом появляются журналисты, вроде Юрьева, и поднимают эти обывательские разговоры на уровень „политического факта", который, якобы, доказывает, что в Израиле нет свободы выезда и вообще нет свободы, нет демократии. Как будто это не из Израиля каждый год четыреста тысяч человек выезжает за границу, а десять тысяч и вовсе покидают страну! Но когда это обыватель интересовался фактами. Ему важно другое: „не дают паспортов", значит — нет свободы.

То же самое с проблемой квартир. Юрьев слышал, что существует такая проблема, но в чем она состоит — не разобрался (хоть он и жалеет нас, бедных, не читающих, якобы, израильских газет и потому не разбирающихся в израильской действительно-

сти) . Он утверждает, что в Израиле невозможно самому построить дом или получить квартиру в вечное владение. Я, между прочим, по своей архитекторской профессии только и занят тем, что черчу проекты вилл, которые строят себе израильтяне. А все мы, репатрианты из СССР, живем в „амидаровских" квартирах, в которых можем жить до скончания века или приобрести в свое владение. Проблема квартир действительно существует, но не для нас, а для коренных израильтян, для молодых семей, потому что у них нет наших привилегий, наших льгот. И если Юрьев скажет мне на это, что иммигрантам „не дают квартир", то я отвечу ему, что в центрах абсорбции сидят (и бастуют) , в основном, те люди, которым предлагали уже по две, три различных квартиры, — только они от них отказывались. Им подавай четырехкомнатные квартиры, и не иначе, как в северном Тель-Авиве.

Юрьев приводит еще один пример „государственного засилья" — монополию государства на радио и телевидение. Конечно, плохо, что у нас одна, а не несколько программ, но я лично думаю, что это вопрос, скорее, нашей бедности, а не идеологического диктата государства. Если бы государство было так заинтересовано в своей идеологической монополии, как это изображает Юрьев, зачем бы оно само стало поощрять создание частной телевизионной компании? А ведь такое решение уже принято. По-моему, все эти разговоры об идеологическом диктате — просто демагогия, рассчитанная на наивных, которые, считает наверно Юрьев, по „невежеству" своему и не знают, что в Израиле нет ни одного государственного издательства, ни одной „правительственной" газеты, и даже со „своим", „государственным" телевидением государство в лице его нынешних „правых" руководителей ведет непрерывную борьбу, потому что там работают чуть не сплошь „левые" журналисты. Правительство, которое находится в постоянном конфликте со своим же собственным телевидением — не очень-то это похоже на идеологический диктат...

Конечно, и тут не следует упрощать. Правительство в этом конфликте зачастую побеждает, протесты радио- и тележурналистов не всегда приводят к успеху, — все это есть. Я не собираюсь утверждать, что в Израиле все благополучно по части демократии. Я утверждаю другое. Уровень демократичности в каждой конкретной стране — это производная от уровня демократичности не только ее законов, но и ее граждан. Когда Юрьев уверяет наших репатриантов, что они, де, вполне созрели для полной демократии,

а некая „государственная сила" им ее злостно не дает, это, по-моему, демагогия. Наше израильское общество никак нельзя считать достаточно зрелым с точки зрения демократичности его граждан. Мы все прибыли сюда из стран с разным общественным укладом: одни — из демократических, другие — из феодальных, а третьи, как Юрьев, — и вовсе из тоталитарных, с соответствующим сознанием. Чтобы требовать немедленного и максимального ослабления „государственной силы", нужно прежде всего самому быть достаточно „сильной" демократической личностью. Судя по аргументам Юрьева, он такой личностью никак не является. В действительности он защищает вовсе не демократию от „государственной силы", а исключительно свои „права". И права эти он понимает так, что ему от государства „положено" все, а государству от него — ничего, никаких обязанностей. Я думаю, что в его рассуждениях вообще очень многое идет от элементарного непонимания сущности демократии и лютой нетерпимости к любому ограничению его, Юрьева, личной свободы, то бишь своеволия, к любому недостаточно быстрому обслуживанию государством его, Юрьева, потребностей. Между тем демократическое государство, кроме всего прочего, еще и сложнее, чем тоталитарное, оно не может не быть сложнее, и поэтому жизнь в нем тоже гораздо сложнее. Не понимая — и не принимая — этой сложности, Юрьев рассуждает так же упрощенно, как большинство наших обывателей (и, кстати, как многие израильские и западные „левые") : раз есть хоть какие-то ограничения — значит нет демократии. И в результате приходит к выводу, который противоречит очевидному ощущению любого человека, приехавшего из СССР в Израиль!

А. Воронель: Я готов согласиться с Юрьевым, когда он говорит, что государство — это „мы". Но я согласен только в том смысле, что „мы" — это те, кто, в свою очередь, заботится о благе государства. Однако если кто в Израиле и нарушает этот основной принцип демократии, так это именно „мы", русские евреи. И тут встает очень важный вопрос: кто эти „мы", каковы „мы"? Ведь не случайно больше всего жалуются на отсутствие в Израиле свободы и демократии именно репатрианты из России.

Вот Юрьев негодует, что миллионы тратятся на бело-голубую мелованную бумагу, на которой печатается сионистская пропаганда для советских евреев. Чем, мол, не Советский Союз! Но позвольте, о чем речь?! Группа активистов алии добилась, например, финан-

сирования своего журнала. Им дают деньги, верно, — но разве хоть кого-нибудь интересует, что они там печатают в своем журнале? Это не только не интересует чиновников из министерства абсорбции, — это им вообще неизвестно. Государство дает деньги не на пропаганду, а на поддержку — и притом самых разных изданий, вот о чем Юрьев забывает сказать. Разумеется, можно возражать против такой траты государственных денег, но нелепо называть поддержку разных изданий проявлением диктатуры. Я могу заверить Юрьева, что никто этим группам не диктует, что печатать. А если кто-нибудь использует полученные деньги на ,,сионистскую пропаганду'', то, может, он искренне верит, что так нужно? Или, может, просто ни на что другое не способен? Или думает угодить этим какому-нибудь ультраидейному чиновнику (такие тоже, кстати говоря, чаще всего оказываются из ,,наших'' же, из бывших советских, привыкших к тому, что печатью нужно ,,руководить'')?

Мы, к сожалению, очень склонны винить государство (или ,,систему''), чтобы скрыть собственную неспособность или несвободу. Вот Юрьев пишет, что на русском радио ,,греется'' около восьмидесяти непрофессионалов, а профессионалов будто бы ,,не подпускают'' к микрофону. Он намекает, что это делается все из тех же соображений ,,идеологического диктата'' и ,,сионистской пропаганды''. Я хотел бы спросить Юрьева ,,где они, эти ,,профессионалы'', которых, якобы, не подпускают к микрофону? Что-то мы их не видим. Все профессионалы, которые в России работали на радио, работают на нем и здесь. Плюс еще какое-то количество непрофессионалов, которых мы сами же туда и устраивали, чтобы они хоть какую-то работу имели, если ни на что другое не способны. Давайте не будем хоть тут себя обманывать и валить на государство. Если оно в чем и виновато, так только в том, что по нашим же просьбам изобретало все новые и новые ставки для наших гуманитариев. Я полагаю, что нет ,,обойденных профессионалов'', о которых пишет Юрьев, а есть просто обиженные, которые свою профессиональную непригодность по российской привычке оправдывают разговорами об ,,идеологическом засилье''. Их, видите ли, не подпускают к микрофону, потому что они, де, не согласны вещать ,,государственную сионистскую пропаганду''...

Я думаю, что эти вещи связаны. Отсутствие демократического сознания — одна из причин, почему наша группа остается слабой и почему в отношении нас демократия оборачивается многими ограничениями. Люди, подобные Юрьеву, не понимая этой механики,

видят одни только ограничения и требуют полной свободы. А по-моему, ограничения должны быть. Я — за ограничения. Реальная свобода существует только для тех, у кого достаточно сил и достаточно понимания, чтобы эти ограничения преодолеть. Если же преодоление ничего не стоит, общество немедленно разрушается.

В. Богуславский: Есть и другой предел, — когда преодоление ограничений стоит жизни...

А. Воронель: Да, и мы как раз приехали из такой предельной системы. И поскольку мы приехали из системы, где за все приходилось платить, а за свободу — даже ценой жизни, то многие из нас требуют, чтобы им теперь все, в том числе и свободу, дали бесплатно. Я эти права бесплатными делать не хочу. Мне, например, кажется, что уже в Соединенных Штатах сегодня эта плата слишком низка: какой-нибудь подонок за двадцать долларов убивает человека. Я убежден, что цена человеческой жизни должна быть выше. Цена свободы должна быть достаточно высокой, — чтобы люди чувствовали ответственность. Я сомневаюсь в том, что наша главная задача сегодня — бороться за „расширение прав". Ибо я вижу, что в Израиле добрая половина населения все еще ниже даже того уровня прав, который им предоставляется, так сказать, „бесплатно", просто по законам израильской демократии. Слишком много у нас людей, готовых раскачивать лодку так, что она, того и гляди, может перевернуться. Страна переполнена выходцами из Восточной Европы, СССР, азиатских стран, для которых понятие ответственности, обязанности по отношению к обществу — звук пустой. Разве мы не знаем, например, что у нас уклониться от налогов стало чуть ли не доблестью и геройством? Я бы повторил еще раз: народовластие — это не для всего народа, а только для тех (порой даже не большинства народа), кто готов взять на себя не только права, но и обязанности. Кто вырос до уровня зрелого демократического сознания, предполагающего терпимость, ответственность и понимание.

Но если я говорю, что у нас еще не все доросли до этого уровня, что евреи из СССР не доросли еще до него, это не значит, что я пессимистически смотрю на перспективы израильской демократии. Недавно Солженицын в одной из своих статей упомянул, что Израиль — это пример того, что демократическое общество может существовать и без отделения религии от государства. Если продолжить Солженицына, то можно сказать, что Израиль — это также

пример того, что демократия может уживаться и с социализмом: я имею в виду израильские кибуцы. Живи мы лет семьдесят тому назад, Ленин мог бы сослаться на пример Израиля в оправдание своей идеи сочетания социализма с демократией в России. И оказался бы неправ. Я думаю, что в действительности защитные механизмы такого рода существуют, но кроются они не в общественной системе, а в национальном характере. Евреям и сращение религии с государством не помешало создать демократическое, в основном, общество, а в России и отделение церкви от государства не спасло от тоталитаризма. Я думаю, что это происходит в силу наличия у народа некоего внутреннего нравственного закона, благодаря которому общество как-то ухитряется преодолевать, сглаживать даже такие принципиальные конфликты. И в результате государство функционирует с гораздо меньшими отклонениями в тот или иной тоталитаризм, чем можно было бы ожидать в наших условиях и чем запугивает нас в своей статье Юрьев. В этих национальных защитных механизмах еврейского народа я вижу залог жизненности нашей израильской демократии.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-саеточе".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 15 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Адрес редакции и конторы: 217, r. du Fbg St-Honore, 75008-Paris France.

Тот, кто хочет отстаивать свободное общество, то есть капитализм, должен понять следующую аксиому: неотъемлемой основой такого общества является принцип прав личности. Тот, кто хочет отстаивать права личности, должен понять, что капитализм является единственной общественной системой, которая способна обеспечить и защитить эти права.

„Права личности" — это, прежде всего, нравственное понятие. Оно является тем логическим мостиком, по которому мы переходим от принципов, руководящих действиями индивидуума, к принципам, руководящим его отношениями с другими индивидуумами. Права личности — это понятие, которое позволяет обеспечить и защитить нравственное поведение личности в общественном контексте, иными словами — позволяет установить связь между нравственным кодексом отдельного человека и кодексом законов общества, между этикой и политикой.

Права личности — это средство подчинения общества единому нравственному закону.

Эйн Рэнд

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Каждая политическая система основана на неком этическом принципе. На протяжении многих веков в истории человечества неизменно доминировал принцип „коллективистской этики", то есть такая система взгля-

дов, которая подчиняет личность некой высшей, „коллективной" власти, некой „высшей идее", мистического или общественного толка. Иными словами, большинство существовавших — и существующих — в истории политических систем являются вариантами одной и той же государственной тирании, которые отличались только случайными историческими особенностями. Главным же и общим во всех этих системах было то, что нравственные требования в них обращены к индивидууму, а не к обществу. Общество поставлено *вне* нравственного закона и выступает в качестве его воплощения, источника или монопольного толкователя, а втолковывание личности ее долга жертвовать собой ради „общественного блага" считается главной целью „этического воспитания".

Но поскольку „общество" есть чисто умозрительное понятие, поскольку в действительности любое общество есть всего лишь совокупность отдельных личностей, то на практике подобный принцип сводился к тому, что „общество" воплощалось в его руководителях. Это именно они были освобождены от того нравственного закона, который считался обязательным для остальных „членов общества"; это именно они пользовались неограниченной властью и требовали слепого повиновения под тем предлогом, что „благо — это то, что хорошо для общества (племени, расы, нации и т.п.), а указы правителя — выражение воли общества".

Примеров таких систем можно привести сколько угодно: египетская теократия с ее фараоном — воплощением бога на земле; афинская демократия с ее неограниченной властью большинства; абсолютная монархия во Франции; государство общественного благосостояния в бисмарковской Пруссии; нацистская Германия и советский архипелаг ГУЛаг. Все эти системы были основаны на принципе коллективистской этики, поскольку коллектив (в лице правителя, „народа" или „расы") стоял выше нравственного закона. Иными словами, все они были разновидностями *безнравственного* общества.

Великим революционным достижением американской революции и провозглашенной ею Декларации Прав было подчинение общества нравственному закону.

Провозглашение индивидуальных прав человеческой личности означало распространение нравственности на всю общественную систему путем ограничения власти государства для защиты личности от грубой силы коллектива, для подчинения *силы — праву.*

Соединенные Штаты были первым *нравственным* обществом в истории.

Все прежние общественные системы рассматривали личность как средство, а общество — как самоцель. Новая система провозгласила, что человек есть цель, а общество — лишь средство для достижения мирного, упорядоченного и *добровольного* сосуществования отдельных личностей. Все прежние системы считали, что жизнь человека принадлежит обществу, что общество может распоряжаться человеком, как угодно, и что любая свобода, которой располагает человек, даруется ему по доброй воле, по *разрешению* общества, которое может в любой момент эту свободу отобрать. Новая система провозгласила, что жизнь человека принадлежит ему *по праву рождения, по природе,* и что единственная нравственная цель любого правительства — это защита индивидуальных прав личности.

Права человека — это нравственное понятие, определяющее и санкционирующее свободу действий человека внутри общества. В действительности существует *одно* и только одно основное право (все остальные — всего лишь его логические следствия): право человека на свою жизнь.

Жизнь представляет собой процесс целенаправленных действий, имеющих одну-единственную задачу — поддержание жизни. Следовательно, право на жизнь означает право осуществлять целенаправленные действия для поддержания своей жизни. Иными словами, это означает право предпринимать любые действия, которых природа требует от разумного существа для поддержания им своей жизни и наслаждения ею. Именно таков смысл „права на жизнь, свободу и стремление к счастью", которое провозгласила Декларация Независимости.

Понятие „право" относится только к *действию,* точнее — к *свободе действия.* Оно означает свободу от физического насилия, принуждения или вмешательства со стороны других людей.

Таким образом, для каждой отдельной личности ее право на жизнь является *положительной* нравственной санкцией — разрешением действовать по своему собственному разумению, в своих собственных целях, по своему собственному, *добровольному,* сделанному *без принуждения* выбору. Это же право в отношении всех остальных людей выглядит иначе: *оно не налагает на них никаких обязательств по отношению к данной личности,* кроме чисто *негативных:* воздерживаться от нарушения ее прав.

Право на жизнь является источником всех прочих прав. Главным из них является *право на собственность,* потому что без права на собственность все другие права невозможно реализовать. Поскольку человеку приходится поддерживать свою жизнь своими собственными усилиями, то человек, лишенный права на плоды своих усилий, лишается тем самым средств для поддержания своей жизни. Человек, плодами усилий которого распоряжаются другие люди, — это раб.

Необходимо помнить, что право на собственность — это право на *действие* (как и все иные права). *Оно не является правом на предмет.* Оно означает лишь право на стремление к обладанию этим предметом, то есть право на соответствующие действия, состоящие в изготовлении этого предмета или зарабатывании денег на покупку этого предмета. Оно отнюдь не гарантирует, что человек *сможет* заработать какую-либо собственность вообще. Оно гарантирует лишь, что эта собственность будет принадлежать ему, *если* он ее заработает. Иными словами, это право на стремление к приобретению, а затем — на сохранение, пользование и распоряжение приобретенными материальными ценностями.

Понятие „прав личности" настолько ново в человеческой истории, что большинство людей и по сей день не до конца понимают его смысл. Многие, повторяя старые теории, утверждают, что права являются „Божьим даром" или „даруются обществом". В действительности, однако, источником прав является сама *природа человека.*

Декларация Независимости провозгласила, что люди „одарены их Создателем некоторыми неотъемлемыми правами". Верим ли мы, что человек создан Богом или природой, это не меняет того факта, что он представляет собой особую особь — разумное существо, то есть такое, которое не может успешно действовать по принуждению. И потому права являются необходимым условием его особого образа жизни.

В сущности, источником прав человека является не Божественный закон и не постановление правительства или парламента, а закон тождества: А есть А; человек есть человек. Иными словами, права — это условия, налагаемые человеческой природой на человека, чтобы он мог существовать как человек. Для того, чтобы человек мог существовать как человек, он должен иметь *право* использовать свой разум, умения, способности по собственному усмотрению, он должен иметь *право* действовать по своему усмот-

рению, он должен иметь *право* действовать ради достижения своих целей и владеть результатами своих действий. Если цель разумного существа на земле — жить, как разумное существо, то тем самым за ним изначально предполагается *право* жить, как разумное существо; сама природа запрещает ему иррациональные действия.

Нарушить права человека означает принуждать его действовать против его собственных суждений или экспроприировать результаты его труда. Все виды принуждений сводятся, в конечном счете, к физическому насилию. А источником насилия над человеком являются либо преступники, либо правительства. Великим достижением Декларации Независимости было разграничение этих двух источников насилия над личностью посредством запрещения правительству прибегать к узаконенным вариантам действий преступников.

Декларация Независимости провозгласила, что „для обеспечения этих прав учреждаются правительства среди людей". Тем самым было сформулировано единственное оправдание существования правительств и определена их *единственная* задача: защищать права человека, охраняя его от физического насилия.

Таким образом, правительство из повелителя превратилось в слугу. Правительство должно защищать человека от преступников, а конституция призвана защищать человека от правительства. Декларация Прав была направлена не против частных граждан, а против правительства, ибо в ней провозглашалось, что права личности предшествуют любой общественной власти.

Результатом этой революции в истории человечества явилось создание цивилизованного общества, в которое за каких-нибудь сто пятьдесят лет превратились Соединенные Штаты Америки. Цивилизованное общество — это такое общество, в котором из человеческих отношений исключено физическое насилие над личностью, в котором правительство, действуя в роли обычного полицейского, может применять физическое насилие *только в ответ и только против тех, кто первым обратился к насилию.*

Таково было содержание политической философии, заключавшейся в принципе прав личности. К сожалению, этот принцип не был четко сформулирован. Он не был принят полностью. Он не был последовательно воплощен.

Главным противоречием американской (и западноевропейской) демократической жизни оказалось противоречие между принципом прав личности и остатками коллективистской этики. Принцип прав

личности рассматривает человека как свободное существо, коллективистская этика видит в нем всего лишь жертвенное животное на алтаре общественных целей. Понятно, что совместить эти два подхода невозможно. Коллективистская этика несовместима ни со свободой, ни с капитализмом, ни с принципом прав личности.

Понятие прав личности породило свободное общество. Поэтому разрушение свободного общества всегда начинается с подрыва прав личности.

В демократическом обществе невозможно поработить личность путем открытой экспроприации ее материальных или нравственных ценностей. Поэтому здесь порабощение достигается с помощью скрытых извращений. Точно так же, как в сфере материальной расхищение богатства страны совершается посредством обесценения ее валюты, так в сфере прав личности их расхищение производится путем их инфляции. Иными словами, провозглашается такое количество всевозможных „прав", что сам их смысл полностью обесценивается. И любопытно, что чем больше прав провозглашается на словах, тем больше порабощение и несвобода на деле.

Одним из самых действенных способов обесценивания прав личности является их перенос из сферы политической в сферу экономическую, демагогическая подмена „права на стремление" „правом на обладание".

Замечательный пример такого рода дала программа Демократической партии Соединенных Штатов (1960 г.), в которой провозглашалось: право каждого гражданина США на полезную и обеспечивающую существование работу; право на заработок, достаточный для пропитания, прочих личных нужд и отдыха; право на свободу от монопольной конкуренции; право каждой семьи на приличное жилье; право на хорошее медицинское обслуживание; право на защиту от экономических трудностей преклонного возраста, болезней, несчастных случаев и безработицы; право на хорошее образование.

Казалось бы, что тут плохого? Не это ли „право" каждого человека, как мы все понимаем? Не этого ли требуют многочисленные партии и движения в разных странах мира, не это ли идеал, к которому следует стремиться?

Но достаточно задать один простой вопрос, чтобы подмена стала очевидной. Вопрос этот: „За чей счет?"

Работа, питание, жилье, отдых (?), медицинское обслуживание, образование и т.п. не появляются сами по себе, по воле природы.

Все это — ценности, производимые людьми, продукты и виды обслуживания, создаваемые человеком. *Кто* обязан все это *мне* обеспечить? Другие? „Государство"? „Общество"? Если *я* имею *право* на то, что произвели *другие* — значит, я *лишаю* этих других того, что *они* произвели. Любое так называемое „право", которое делает необходимым нарушение прав других, не является и не может быть правом, ибо оно ограничивает чужую свободу. Никто не может иметь „права" возлагать на других такие обязанности, которых они не взяли на себя добровольно. Никто не может иметь „права" заставлять других обеспечивать его работой, жильем, отдыхом, едой, образованием, удобствами, путешествиями за границу, славой и т.п. Не может быть такого „права", как „право принуждать других".

Неприметное для многих, но фундаментальное извращение, заключенное в этих так называемых „правах", состоит в том, что никакое подлинное право не включает (и не может по своей природе включать) требования, чтобы *мое* право материально осуществлялось *другими* людьми. Мое право включает только мою *свободу действовать,* чтобы заработать осуществление того, что я хочу, *своими собственными усилиями.*

Насколько точнее, интеллектуально честнее были создатели Декларации Прав, которые говорили о „праве на *стремление* к счастью", а не о „праве на *счастье*"! Это означало, что человек имеет право предпринимать те действия, которые он считает необходимыми, чтобы достичь своего счастья; но это *не означало,* что другие должны, обязаны сделать его счастливым!

Право на жизнь означает, что человек имеет право поддерживать свою жизнь своей собственной работой (на любом экономическом уровне, какого его способности позволяют ему достичь); это *не означает,* что другие обязаны обеспечить ему все необходимое для жизни.

Право на собственность означает, что человек имеет право предпринимать экономические действия, необходимые для того, чтобы заработать собственность, использовать ее и распоряжаться ею; оно *не означает,* что другие должны обеспечить его собственностью.

Право на свободу слова означает, что человек имеет право выражать свои идеи без опасности их подавления или карающего вмешательства со стороны правительства. Но оно *не означает,* что другие обязаны обеспечить ему лекционный зал, радиостанцию или печатный станок, посредством которых он будет выражать свои идеи.

Любое действие, в котором участвует более одного человека, требует *добровольного* согласия каждого участника. Каждый из них имеет *право* принимать свое собственное решение, но ни один не имеет права насильно навязывать это свое решение другим. Нет такого понятия, как „право на работу", — есть только право свободного обмена, то есть право человека согласиться на данную работу, если другой человек (предприниматель) соизволит предложить ему ее. Нет такого „права на жилье" — есть только право свободного обмена, то есть право построить или купить жилье. Нет такого „права на приличную зарплату", если никто не хочет вам ее предложить за ваш труд или ваш продукт. Нет „прав потребителей" на молоко, ботинки, кинокартины или шампанское, если никто из производителей не соизволит произвести эти предметы потребления (есть только право произвести эти предметы самому). Не существует „прав" специальных групп, не существует „прав крестьян", „прав рабочих", „прав предпринимателей", „прав престарелых", „прав молодых" и т.п. Существуют только *Права Человека* — права, которыми обладает каждый *отдельный* человек и *все* люди, как личности.

Право собственности и право свободного (добровольного) обмена являются единственными „экономическими правами" человека (на самом деле, они тоже являются *политическими* правами); поэтому провозглашение всевозможных „экономических прав" на деле подрывает саму идею Прав Человека вообще.

Запомним, что права — это нравственные принципы, которые определяют и защищают свободу действий человека, но не налагают никаких обязанностей на других людей.

Частный гражданин, который блюдет *свои* права, не представляет собой угрозы правам и свободе других граждан. Частный гражданин, который прибегает к физическому насилию, чтобы нарушить права других, является преступником, и у людей есть законное право на защиту от него. Но преступники представляют собой ничтожное меньшинство в любой век и в любой стране. И вред, который они причинили человечеству, бесконечно мал по сравнению с теми ужасами — кровопролитием, войнами, преследованиями, конфискациями, голодом, порабощением, массовыми разрушениями, — которые принесли людям их правители и правительства. Любое правительство потенциально представляет собой наиболее опасную угрозу правам человека, ибо оно обладает законной монополией на использование физической силы против закон-

но обезоруженных граждан. Поскольку правительство не ограничено понятием „прав личности", оно потенциально является самым опасным врагом личности. Именно поэтому Декларация Прав имела главной целью защитить личность от действий правительства.

Как же подрывается эта защита?

Главным приемом здесь является обвинение гражданина в том, что он, якобы, „нарушает права" другого гражданина, за которого поэтому должно „вступиться" общество — в лице государства, которое для этого освобождается от всяких ограничений. Заявляется, например, что отказ финансировать оппонента есть нарушение „права" оппонента на свободу слова, есть „акт цензуры". Цензурой объявляют отказ хозяина газеты принимать на работу неугодного ему журналиста или публиковать статью, идеи которой диаметрально противоположны линии газеты. Цензурой объявляют отказ дельцов давать рекламы журналам, которые обливают их грязью. Цензурой объявляют протест миллионера, финансирующего ту или иную телевизионную программу, против безобразия, учиненного в этой программе.

В действительности слово „цензура" относится исключительно к действиям правительств. Никакое частное действие цензурой быть не может. Никакое частное лицо или учреждение не в состоянии заставить человека замолчать или помешать ему высказать свои взгляды: это может сделать только правительство. Свобода слова частных лиц включает в себя право не соглашаться, не слушать и не финансировать своих собственных противников.

Если же „другие" *обязаны* предоставлять материальные возможности для выражения неприемлемых для них идей, то разве непонятно, что тем самым этих „других" лишают *их* права придерживаться каких-либо идей вообще? Ведь право придерживаться идей предполагает, прежде всего, свободу действий, направленных на сохранение, то есть на защиту этих идей. Когда заявляют, что издатель „обязан" печатать книги, которые он считает нестоящими, что телевидение „обязано" выпускать на экран комментаторов, которые поносят убеждения хозяина станции, что владелец газеты „обязан" предоставлять страницы своего органа любому молодому хулигану, то тем самым заявляют, в сущности, что одна группа людей имеет „право" на неограниченные привилегии, тогда как другая низведена до роли их слуг.

Лозунг „экономических прав" санкционирует требования любого неудавшегося драматурга, любого незадачливого поэта-

авангардиста, любого сочинителя псевдомузыкальной какофонии и „абстрактного" живописца, не умеющего изобразить простое дерево, которые шумно домогаются „финансовой поддержки" и „субсидирования искусства" за счет налогоплательщиков, понимая, что сами по себе эти налогоплательщики им за их пьесы, картины и симфонии не заплатят ни гроша.

И покуда люди будут выдвигать или поддерживать требования подобных „прав", будет происходить все больше обесценивание подлинных прав личности. Будет все более смазываться тот факт, что право на свободу слова означает лишь свободу отстаивать свои взгляды и нести за это все возможные последствия, включая несогласие и противодействие других, отсутствие популярности и недостаток поддержки. Вся политическая функция „права на свободу слова" состоит лишь в том, чтобы защитить инакомыслящих и непопулярные меньшинства от насильственного подавления их взглядов, а вовсе не в том, чтобы *гарантировать* им поддержку, преимущества и награду в виде той популярности, которой они сами добиться не смогли. В Декларации Прав сказано: „Конгрессу запрещается принимать какой-либо закон, ограничивающий свободу слова или печати..." Там вовсе не требуется, чтобы частные граждане предоставляли свои микрофоны или газеты людям, которые призывают к их уничтожению, как не требуется от них, чтобы они предоставляли отмычку взломщику, который собирается их ограбить, или нож убийце, который собирается их зарезать.

Таким образом, мы видим, что понятие „экономических прав" или „прав коллектива" („прав общества") исключает принцип прав *личности* и ведет к порабощению человека другими людьми или государством. Есть только политические права личности (право на действие и стремление), и реализоваться они могут лишь в такой общественной системе, которая основана на трех принципах: собственности, свободного обмена и невмешательства государства — то есть *в капиталистической системе, придерживающейся лозунга* „laissez faire"*. И только те, кто отстаивает такую систему, являются истинными поборниками прав человека.

---

* „laissez faire" *(франц.) — „оставьте нас в покое"; ответ, который дал один из французских промышленников министру Людовика* XIV *Кольберу, когда тот спросил, чем могло бы государство помочь развитию французской экономики.*

Поразителен этот настойчивый поиск аналогий между польскими событиями июля-октября 1956, декабря 1970 и лета 1980 годов. Внешне сходство, разумеется, удивительное: всякий раз — восстание общества против власти и затем — попытка реформ. Но внешне все массовые движения вообще подобны друг другу. В действительности же *эти упрощенные аналогии беспочвенны.* Каждый из этих политических переломов имел совершенно иные причины, иное течение, иные результаты, каждый проходил в иной атмосфере и в иных условиях.

И вовсе не так уж верен распространенный взгляд, будто все эти три выступления масс были направлены против существующего строя и воодушевлялись одними и теми же национальными идеалами, которые в исторической перспективе сводились, якобы, к борьбе за суверенность Польши. Может быть, так будут судить о них через пятьдесят или сто лет. Но сегодня все это выглядит иначе.

Ближе всего к борьбе за *национальную* суверенность были события 1956 года. Позже зависимость Польши от восточного блока стала столь очевидной, что вопрос этот в массовых движениях даже и не поднимался — во всяком случае, не поднимался вслух. Ныне, в 1980 году, борьба

А.В.С.

ПОЛЬША
1956-1970-1980

шла за суверенность *общества* в рамках *ограниченной* государственной суверенности.

Последствия нынешней борьбы еще неясны, ситуация остается неустойчивой и кризис еще не преодолен. Тем не менее сегодня уже можно попытаться сформулировать некие общие итоги.

Начнем с прошлого. Что в действительности произошло в 1956 году?

Это был одиннадцатый послевоенный год и всего лишь седьмой год господства режима советского образца в Польше. В первые годы после войны в Польше еще сохранялся — правда, в обстановке террора — политический плюрализм, существовала многопартийная система, экономика развивалась относительно свободно, не затянутая еще в жесткий корсет планирования советского типа. „Реальный социализм", как его элегантно сейчас именуют, насчитывал в Польше 1956 года всего лишь семь лет от роду. Тогдашняя общественность, а главное — тогдашний рабочий класс — принадлежали к поколению, чье политическое сознание формировалось в межвоенный период. Традиции классовой борьбы межвоенных лет были еще живы в памяти. Память о страшной войне тоже была еще жива. Стабильность тогдашней Польши еще не казалась надежной — ей угрожала не только гегемония СССР, но и не до конца сведенные счеты с немцами. Будущее „Возвращенных земель" еще внушало беспокойство. В глазах поляков Россия была единственным гарантом польских границ на Одере и Ниссе. Но за это приходилось платить сталинизму чудовищным рабством и унижением.

В марте 1956 года Хрущев разоблачил миф о Сталине. Тиран был объявлен преступником. Внезапно оказалось, что социализм был извращен в результате сталинских ошибок и произвола. Оказалось, что хотя социализм сам по себе — благо для Польши, но то, что происходило в последние годы, вовсе не было социализмом.

Такая трактовка действительности была выгодна прежде всего руководящей верхушке ПОРП. Понятно, что насаждалась она прежде всего именно ею. Столь же понятно, что верхушка эта была неоднородной. Одни хотели спасти „настоящий социализм", тогда как другие спасали только собственную шкуру. Но независимо от побуждений, те и другие в октябре 1956 года оказались во главе поднявшихся масс. Это не означает, что массовый протест 1956 года был сфабрикован властями. То был подлинный протест широких масс, — но протест, который принял трактовку событий и план действий, предложенные правящей верхушкой.

Так произошло потому, что тогдашний польский рабочий связывал с существующим строем надежды на свое освобождение. Так произошло потому, что народ в целом не хотел ослаблять свое молодое государство, которому угрожала внешняя опасность. Так произошло потому, что очень многие принимали существующий строй, возлагая вину за его преступления на Сталина. В то время поляки видели зло не в режиме, как таковом, а в сталинской практике, унижавшей достоинство личности и покушавшейся на суверенность Польши. Им казалось возможным — в рамках существующего строя — восстановить эту суверенность, сохранив союз и дружбу с СССР. Они готовы были простить своему могучему союзнику его трагические вины, полагая, что отныне польско-русские отношения будут развиваться на основе подлинного равенства и подлинного социализма.

Необычайный энтузиазм, с которым был встречен приход к власти Владислава Гомулки, подтверждает этот анализ. Вспомним, что к власти возвращался коммунист, который всего лишь несколько лет назад жестоко навязывал обществу новый и нежеланный строй. Беспрецедентный феномен: политик, который в 1944-1948 годах олицетворял в глазах народа систему угнетения и террора, в 1956 году вызывал общенародную эйфорию. И все потому, что он был узником сталинизма, жертвой сталинских преступлений.

Можно жалеть об этих иллюзиях, но нелепо сегодня относиться к ним свысока. Разумеется, были и тогда люди, свободные от этих иллюзий. Но могли ли они что-нибудь сделать? И как? И пошли ли бы массы за этими интеллектуалами и учеными, которые — скажем горькую правду — были сами в значительной мере пособниками сталинизма — кто из тщеславия, кто из корысти, а кто — из разочарования в индивидуалистической цивилизации, которая так позорно скомпрометировала себя перед лицом гитлеризма?

Большая часть этой интеллигенции, только недавно кормившейся со стола власти, с искренностью и энтузиазмом возглавила октябрьское возрождение, поддаваясь общим иллюзиям и тем самым еще более упрочняя их в массовом сознании. Ведь что ни говори, XX съезд знаменовал перемены. И перемены наступили. Пусть не такие, каких ожидали, но все же значительные. Без них не было бы сегодня ни книг Солженицына, ни его самого, ни сотен тысяч других людей, живущих сегодня на просторах советской империи, от Одера до Курил.

В Польше же перемены были огромные: был восстановлен плюрализм в аграрной и религиозной политике, началась переоценка прежних идей.

Затем потянулись четырнадцать лет власти Гомулки — годы горького разочарования в „реальном социализме". Надежды на национальную суверенность были окончательно похоронены. Пришло сознание, что стране навязан строй, который не отвечает национальному характеру, традициям и стремлениям польского народа. Но в те же годы вышло на сцену и новое поколение, которое определенные принципы социализма: общественную собственность, право на труд, социальное обеспечение, государственное здравоохранение и государственное покровительство культуре — воспринимало, как нечто само собой разумеющееся. Социалистическое государство казалось им чем-то постоянным и неизменным. И именно потому, что оно отвечало за все в жизни, всевластие его казалось все более нестерпимым. Возродилась извечная антиномия: всеобщее равенство (которое Гомулка старался соблюдать) лишь усугубляло ощущение всеобщей несвободы. Стали проявляться имманентные пороки строя — отсутствие механизмов саморегуляции не только в области отношений между равенством и свободой, но также в области отношений между гражданином и государством.

Экономическое доктринерство Гомулки, его подход мелкого лавочника ко всем общественным проблемам, все более анахроничная экономическая система, которая подавляла всякую инициативу и вынуждала экономику страны работать вхолостую — все это вместе взятое и привело к декабрьскому взрыву 1970 года.

То был бунт людей, которым нечего было терять. Быть может, они и не голодали в прямом смысле слова, но нужда и беды оказались настолько невыносимыми, что заставили их выйти на улицы. То был взрыв ненависти и отчаяния. Без руководителей, без программ. Самая трагическая страница польской послевоенной истории! Лишь чудовищное разочарование режимом Гомулки привело к тому, что массы удовлетворились тогда простой сменой правящей верхушки. Даже самим своим приходом к власти Герек был обязан Гомулке — его глупости, его узости, тому ощущению безнадежности и духовного краха, которое царило в Польше 1970 года. Хладнокровное убийство рабочих на Побережье не имело пре-

цедента во всей польской истории. Никогда еще поляки не убили стольких поляков. Вооруженные поляки — поляков безоружных.

Это преступное кровопролитие, это страшное моральное потрясение позволило Гереку посягнуть на власть и захватить ее — без всяких конституционных гарантий. Народ согласился на это, потому что хотел любой ценой избавиться от Гомулки, от кошмара декабрьских залпов на Побережье.

Герек никогда не пользовался популярностью и доверием масс, даже в период экономических успехов первых лет своего правления. Вся его сила состояла в том, что *он не был Гомулкой.* И хотя он был заурядным человеком, а судьба не дала ему государственных способностей, он до самого конца помнил, что должен отличаться от Гомулки. И отличался от него во всем, и в дурном, и в хорошем. Личная скромность Гомулки — и тщеславная пышность Герека. Провинциальность Гомулки — и светские манеры Герека. Гомулковская система — антиинфляционная, стагнационная, мелочная; герековская система — галопирующей инфляции, инвестиционного сумасбродства, великосветской расточительности. Автократия Гомулки — и „диалог с народом" Герека. Неподдельная искренность Гомулки и циничный технократизм Герека. Гомулковское уважение к символам польской независимости, проявлявшееся во время переговоров с СССР, — и постыдное лакейство Герека перед русскими. Гомулка, который трясся над каждым долларом, — и Герек, при котором польские долги превысили двадцать миллиардов. Аскетический стиль руководства Гомулки и полная бесконтрольность герековского аппарата, этих бальзаковских нуворишей, но без бальзаковского очарования и вдохновения. Резкая критика всех и каждого со стороны Гомулки — и подлизывание Герека ко всем и каждому. Гомулковское ощущение силы и субъективной правоты — и герековское ощущение слабости и растерянности, которые он пытался прикрыть шумным рекламированием своих успехов и своей персоны. Упрямство Гомулки — и непоследовательность Герека. И наконец, уверенность Гомулки в том, что политика есть борьба, в которой можно потерять все, даже жизнь, — и убеждение Герека, что политика — это игра, лишенная всякого достоинства и преследующая прежде всего интересы выгоды и корысти.

Гомулка был политиком и деятелем государственного масштаба, но как человек он был мнителен, упрям, узок, неумен и лишен размаха. Герек был аппаратчиком, партийным бюрократом с огра-

ниченным кругозором, а по-человечески — слаб, нерешителен, напыщен, ленив и склонен к сибаритству. В Гомулке было что-то от инквизитора старой большевистской школы — и потому он дошел до преступления. Герек был тщеславным сибаритом, который следовал принципу „живи и жить давай другим" — и потому он не разогнал КОР, не преследовал независимые издания, и даже предприняв в 1976 году по настоянию своих советников некоторые репрессивные меры, очень быстро от них отказался, полагая, что „дольче фар ниенте" — лучший из стилей руководства.

Но в конечном итоге не личные особенности этих двух людей определили судьбы Польши, а изменения в польском обществе и прежде всего — рост политической сознательности масс. Десять лет правления Герека разрушили все прежние представления о принципах социализма. Более того — они шли вразрез с тем, что молодое поколение привыкло считать неотъемлемыми чертами общественной жизни. Принцип равенства открыто нарушался. То, что именовалось народной властью, на деле стало властью кучки придворных лакеев. Общественная собственность на средства производства оказалась фикцией. Рабочие комитеты были разогнаны, а официальные профсоюзы превратились в простые придатки администрации. Право на труд осуществлялось формально, без всякой связи со стремлениями и способностями личности. Социальное обеспечение и система бесплатного здравоохранения перестали функционировать. Профсоюзные дома отдыха были ликвидированы. Право на дешевое жилье превратилось в издевательство, ибо срок ожидания квартир достиг двенадцати лет, а квартплата выросла до фантастических размеров. Помощь государства культуре свелась к драконовой экономии и чудовищной цензуре. Все прежние представления о социализме оказались несостоятельными. Теперь в его облике появились новые, доселе неведомые черты. Откровенная борьба между кликами в руководстве, разнузданная коррупция, нуворишские замашки аппаратчиков, разбазаривание средств, воровство и преступность, хамство и издевательство над человеком в любом учреждении. А над всем этим — иерархическое расслоение общества на крохотную группу хозяев „народной Польши", которые все имели и все могли, несколько более широкую группу чиновников, сделавших карьеру и прислуживающих властителям, и широкие массы людей, живущих под гнетом растущих материальных тягот. Неслыханно разросшаяся система привилегий превратила страну в один огромный феодальный двор

с той существенной разницей, что при герековском феодализме господин не имел никаких обязанностей по отношению к вассалу, тогда как вассал был обременен всеми мыслимыми обязанностями по отношению к феодалу.

Герековская Польша превратилась в страну бесправия и беззакония, где прихоть или каприз новых господ мог в мгновение ока вознести человека или отшвырнуть его в самый конец длинной очереди за мясом или колбасой. Произвол, царивший не только в административных, но и в принципиальных экономических вопросах, превзошел всякое воображение. Страна катилась по наклонной плоскости, а государственная машина дышала на ладан. Запрет на любую личную или общественную инициативу, сковывавший Польшу уже во времена Гомулки, при Гереке достиг апогея. Гражданин превратился в раба государства, точнее — в раба враждующих клик, завладевших аппаратом власти. Люди с моральным и умственным уровнем Лукашевича, Щепаньского, Вжащика, Грудня, фантастические авантюристы, психологический гибрид уголовщины, невежества, жадности и жестокости, играли решающую роль в жизни страны. По существу, в последние годы правления Герека на всех ступенях административной лестницы заправляли тайные полууголовные банды, которые в других обществах хоть и существуют, но действуют на периферии, не претендуя на руководящую роль в государстве.

Экономический крах, лишь частично обусловленный мировым кризисом, был прежде всего результатом невежества, самодурства и гигантомании герековской клики. Он положил конец попыткам реализации новой модели власти. Не следует обманываться — модель эта имела все шансы быть реализованной, даже и в долгосрочном плане. И опять же — здесь невозможны аналогии с режимом Гомулки. Гомулковская, застойная и топчущаяся на месте, уныло аскетическая и подавленная демагогией, со дня на день беднеющая и отгороженная от внешнего мира, поглощенная проблемами закупок зерна и урожайности с гектара — такая Польша не могла существовать долго, в особенности после событий 1968 года, когда к власти пришли карьеристы послевоенного партийного толка, истосковавшиеся на своих маленьких постах по личному успеху, не знающие моральных препон и начисто свободные от идейных иллюзий своего былого шефа. Режим Гомулки трещал по швам уже в середине шестидесятых годов, а после марта 68-го

он разваливался на глазах у всех, чтобы окончательно пасть под звуки декабрьских ружейных залпов на Побережье.

Напротив, режим Герека, делавший ставку на коррупцию общества, на усыпление его идейных устремлений и политической чувствительности с помощью технических игрушек, подъема жизненного уровня, напыщенной болтовни о „динамичном развитии" и „новой Польше", — этот режим, справься он с давлением инфляции, имел, к сожалению, все шансы на устойчивость. К сожалению, — ибо моральная опустошенность, внутренний распад личностей, групп и даже целых профессиональных слоев, исчезновение прежних связей между людьми и атомизация общества росли с ужасающей быстротой. Общество, истосковавшееся по материальному благополучию, страдавшее от своей технической отсталости и примитивных условий жизни, жаждало тряпок, машин, житейских удобств, и в первые годы правления Герека жадно набросилось на соблазны технической цивилизации. Общественные инстинкты ослабевали, национальная символика отходила на второй план, значение культурных ценностей систематически дискредитировалось. Мацей Щепаньский был прав, когда хвастался, что его телевидение удовлетворяет 80 процентов духовных потребностей народа. Последовательное промывание мозгов дешевой бульварной продукцией приносило тем большие результаты, что параллельно с ним в первые пять лет шло удовлетворение материальных и технических запросов широких масс.

Перелом наступил в 1976 году. Если бы Герек тогда опомнился, если бы он приостановил свои гигантские капиталовложения и чуть больше внимания уделил рынку, его режим мог бы просуществовать еще долго — к огромному вреду для поляков и для Польши. К счастью, тщеславие партийного вождя и узость кругозора его советников победили даже их инстинкт самосохранения.

После июля 1976 года клика Герека была уже обречена — и об этом знала вся Польша, кроме самого эстеблишмента. В июле 1976, на теренкурах Радома и Урсуса, под звуки милицейских дубинок, обрушившихся на головы и спины рабочих, среди воя и улюлюканья показательных „массовых митингов", организованных Груднем и Лукашевичем, — именно тогда родились новые надежды. Впервые в истории польская интеллигенция со всей своей решимостью и мощью выступила в защиту рабочих. Начал формироваться единый общественный фронт, выступивший против разложившейся партийной верхушки. Заслуга КОРа перед поль-

ской историей огромна; позднее к его работе по моральному возрождению присоединились другие группы; начала пробивать себе дорогу идея независимых профсоюзов; тяга к самоуправлению охватила все польское общество.

Политический темперамент Герека и общее для всей его клики ощущение собственной слабости, характерное для людей, догадывающихся, что их никчемность и низость у всех на виду, чудовищная задолженность режима Западу — все это парализовало и ограничивало свободу маневров верхушки. В начале июля повышение цен на мясо вызвало серию забастовок во всей стране. Однако еще в середине июля, еще в начале сентября Герек мог спасти себя и свой режим. Но как говорит пословица: кого Бог хочет погубить, того он лишает разума. Эстеблишмент запутался в собственной сети. Трубя о своих успехах, он лишил себя возможности договориться даже в собственном кругу. Лакейские привычки парализовали аппарат. И режим — рухнул. „Вождь народа" пал. Не было выстрелов, как в семидесятом, но не было и той атмосферы застоя и усталости, как в гомулковские годы. Был духовный подъем почти во всех кругах общества — и одновременно все более явственный паралич государственной машины. Парализована была власть, а не общество. В декабре 1970 года портовики и докеры Побережья оказались одинокими: вся Польша застыла в ужасе, заслышав отзвуки декабрьских расстрелов. Летом 1980 года те же портовики и докеры, начиная свою великую битву за структурное преобразование польского общества, знали, что завтра забастовка охватит всю страну. Координация действий рабочего класса была идеальной, цели были сформулированы предельно четко, солидарность — сцементирована годами прежнего горького опыта. Не было иллюзий — была холодная решимость людей, сознающих свою огромную силу и свое политическое, моральное, человеческое, гражданское, национальное право.

Эта солидарность и стойкость рождены были опасениями, что власть и на этот раз может обмануть общество. Это хладнокровие, спокойствие, рассудительность и мужество рождены были горьким сознанием, что Польша не изолирована от мира и достаточно одного ошибочного шага, чтобы погубить не только дело возрождения, но и сам польский народ.

Кризис еще продолжается и все еще возможно. Но то, что уже совершили поляки летом и осенью 1980 года не идет ни в какое сравнение ни с октябрем 1956, ни с декабрем 1970 годов. В струк-

туре коммунистического государства появился новый фактор — свободные, независимые рабочие профсоюзы. Коммунистическое государство вынуждено было согласиться с тем фактом, что оно является работодателем и потому *интересы трудящихся не всегда совпадают с его интересами.* Партия, которая оказалась *одной из сторон* в споре с трудящимися, вынуждена была сбросить прежнюю маску выразителя интересов и стремлений всех трудящихся.

Родилась новая экономическая, общественная, политическая и моральная реальность. Тот строй, который сегодня в Польше называют „новым общественным договором", представляет собой совершенно новый, еще неизвестный истории общественный строй. Несомненно, в его возникновении есть доля заслуги и тех руководителей ПОРП, которые оказались на высоте требований истории и пошли на риск великого эксперимента. Их ситуация весьма сложна, и неудивительно, что реализация „общественного договора" происходит с такими трудностями, порой — с конфликтами. Трудности действительно велики — как общественные и экономические, так и психологические. Все и вся в сговоре против Польши — кроме самих поляков. Тут и трагическое положение экономики, и деморализация административного аппарата, и недоверие масс, и геополитика, и отсутствие опыта, и нетерпение общества.

И все же изменилось многое. Это ощущается на каждом шагу. Люди стали относиться друг к другу уважительней, средства массовой информации информируют более широко, объективно и всесторонне, существующее положение критикуется открыто, власть ведет себя сдержанно, скромно и даже приниженно, самоуправляющиеся группы множатся, как грибы после дождя. Но что важнее всего — польский народ расправил плечи. Народ обрел свое достоинство и ощущение мира с самим собой. Даже если все рухнет, даже если рухнут все завоевания минувшего лета (что кажется малоправдоподобным), — все равно произошедшее сохранит свою громадную национальную и общечеловеческую ценность.

Эти события уже стали легендой. На них будут воспитываться поколения, которые сменят наше. И в этом смысле завтрашняя Польша уже никогда не будет той Польшей, какой она была до лета 1980 года.

Статья впервые опубликована в польском эмигрантском журнале „Культура", № 11, 1980.

Вадим Белоцерковский

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЕ РАБОЧИЕ ПАССИВНЕЕ ПОЛЬСКИХ?

Цель статьи — не оправдывать или обвинять советских рабочих, а попытаться ответить на поставленный в заглавии вопрос.

Прежде всего отметим, что пассивность рабочих в СССР весьма относительна. Достоверно известно множество случаев забастовок, а также демонстраций и волнений. Особенно сильная волна забастовок и выступлений рабочих за свои права прошла по СССР в начале 60-х годов. Данные, собранные автором (в том числе и по самиздату) говорят, что подобные выступления имели тогда место в четырнадцати городах СССР. Наиболее известное и крупное из этой серии выступление рабочих произошло 2 июня 1962 года в городе Новочеркасске близ Ростова-на-Дону, где мирная демонстрация рабочих была там расстреляна с применением разрывных пуль, а в город были введены танки. А последние крупные забастовки произошли 6-7 мая 1980 года на автозаводе в городе Тольятти и 8-9 мая на автозаводе в городе Горьком. Они закончились удовлетворением требований рабочих (улучшение снабжения в городе и ряд других) и обещанием не применять ни к кому репрессий. Пока нет сведений, чтобы это обещание было нарушено. 1-2 октября двухдневная забастовка имела место на тракторном заводе в Тарту, Эстония. Кроме того,

в 1978-1979 годах в СССР были, как известно, предприняты попытки создания независимых профсоюзных ассоциаций: „Свободного профсоюза трудящихся" — по инициативе донецкого шахтера Клебанова — и СМОТа, Свободного Межпрофессионального Объединения Трудящихся. Обе попытки вызвали жестокие репрессии властей с применением психушек. Клебановский профсоюз был разгромлен властями и КГБ. СМОТ, видимо, еще держится.

Наконец, в последние годы стало известно много случаев индивидуальных выступлений рабочих с публичной — в Самиздате — критикой порядков в стране. Поступают сведения о том, что много никому неизвестных рабочих содержится в психиатрических тюрьмах за эти индивидуальные диссидентские выступления. По подсчетам московской группы „Хельсинки" (документ № 100), с августа 1978 по август 1979 года из 107 лиц, арестованных по политическим обвинениям, 49 — рабочие (для сравнения: из 700 человек, проявивших какую-либо диссидентскую активность до 1968 года, было лишь 6 процентов рабочих).

Но при всем том все же очевидно, что по активности в отстаивании своих прав и интересов никакого сравнения советских рабочих с польскими быть не может. И это отставание предстанет еще более тревожным, если учесть, что положение советских рабочих по всем составляющим *хуже,* чем польских! В том числе и по пресловутому „мясу", потребление которого в СССР (на душу населения) примерно в полтора раза меньше, чем то было в Польше перед началом последних забастовок (в июле 1980 года).

Сейчас в советской диссидентской среде, особенно в эмиграции, распространен мистический взгляд на национальную природу русского народа, которой пытаются объяснять его прошлое и настоящее. Автору чуждо представление об исключительности русской нации. Ему одинаково чужд и подход так называемых „русофилов", например, Солженицына или Осипова с одной стороны, и подход так называемых „русофобов" — например, Синявского или Шрагина с другой. Первые видят русский народ потенциальным спасителем мира от скверны коммунизма и безбожия (включая сюда и „смердящую западную демократию"): „Да грядет русский Бог во спасение миру!" (В. Осипов, „Земля", № 2, Самиздат); вторые же видят в нем носителя и вместилище извечного рабства, предопределившего характер большевизма и сталинизма, или, в духе Чаадаева, считают, что он призван (опять же — призван!) служить для всех примером, как не надо жить.

Да, русский народ в своем продвижении к демократии отстал от западноевропейских народов, от Северной Америки, Австралии, Японии, но ведь не так давно и многие из этих народов и стран „отставали"!

До сталинских времен поведение русского рабочего класса было вполне адекватным его социальному положению. Едва народившись, рабочий класс в России уже начал обычную для рабочих борьбу за свои интересы и права. Никакое, тогда совсем еще недавнее „рабское прошлое" не мешало выходцам из крепостной деревни — к тому же почти поголовно неграмотным или малограмотным — участвовать в массовом забастовочном движении, создавать нелегальные профсоюзы и кассы взаимопомощи. Во время двухмесячной забастовки в Иваново-Вознесенске летом 1905 года был создан первый в истории Совет Рабочих Депутатов (или уполномоченных, как тогда говорили) — новая форма демократии, то есть был совершен огромный творческий акт. Между прочим, интеллигенты принимали в том акте самое небольшое участие, и чистейшей, апеллирующей к антисемитизму, клеветой является утверждение Солженицына, что „Советы изобрел Израиль Парвус и управлял ими из тени".

Вполне адекватной по тем временам и условиям была и реакция рабочих России на империалистическую войну с Японией 1904-1905 годов. Тогда рабочие в Москве и ряде других мест возглавили первую русскую революцию. Столь же адекватна была их реакция на участие России в первой империалистической войне и на нежелание или неспособность Временного правительства вывести страну из этой войны, а также установить контроль над промышленниками. Эта реакция выразилась в том, что с августа 1917 года рабочие отдают большевикам большинство своих голосов на выборах в Советы, а затем и в Учредительное собрание (где большевики получили 25 процентов мест, в основном за счет голосов рабочих, так как большая часть крестьянства голосовала за эсеров, дав им около 70 процентов мест); большинство рабочих голосов отдается большевикам и на выборах делегатов как на первый Всероссийский съезд профсоюзов в январе 1918 года, так и на второй — в январе 1919 года (тогда выборы еще отражали истинные настроения рабочих).

Адекватным было поведение рабочего класса и его представителей в партии и после гражданской войны, когда стали впервые проявляться тоталитарные и госкапиталистические черты нового

строя. Вспомним, например, Кронштадтское восстание, „Рабочую оппозицию" и массовый выход рабочих из партии, многочисленные забастовки во времена НЭПа.

В том, что все-таки победила тоталитарная тенденция, тоже нет ничего мистического. Достаточно вспомнить о смертельной усталости народа после двух войн и двух революций, вспомнить, что значительная часть активных революционеров погибла в этих революциях и войнах, что более всех был прорежен и разметан именно рабочий класс, и до того относительно малочисленный в России (менее 5 процентов населения). Ну и, конечно, надо приплюсовать сюда также отсутствие демократических навыков и традиций и просто малограмотность народа. В этих условиях приходится удивляться, скорее, тому, что тоталитаризму все-таки было оказано заметное сопротивление.

Объяснимо поведение рабочего класса и в сталинские времена, когда гнет и террор достигли невиданной силы, а рабочий класс в результате форсированной индустриализации был к тому же на 80-90 процентов разбавлен недавними выходцами из села.

И лишь в послесталинские времена — и чем дальше, тем больше — реакция советских рабочих на свое положение и положение в стране вообще становится явно надекватной.

Попробуем разобраться в причинах этой надекватности.

Начнем с причин объективных, лежащих *вне рабочего класса.* Первая из них состоит в том, что в СССР машина угнетения значительно мощнее, чем в странах Восточной Европы, и, в частности, в Польше. Необходимость более жесткого подавления в СССР связана с тем, что от советских армий зависит сохранность всей советской империи, от Праги до Сахалина. В случае массовых волнений в Советском Союзе кремлевским руководителям никто извне не поможет; они не могут пугать свой народ „братской помощью" других социалистических стран, как то делают польские власти, чтобы удержать поляков в границах. Поэтому советским властям остается лишь давить массовое рабочее движение в самом зародыше, не рискуя играть в либерализм. Отсюда „психушки" для лидеров рабочего движения и танки с разрывными пулями для участников рабочих демонстраций. В сочетании, конечно, с пряником — удовлетворением требований отдельных крупных и дружных рабочих коллективов, организованно проводящих забастовки. Лишь бы не возникла цепная реакция!

Репрессивная мощь советского государства усиливается возмож-

ностью использовать представителей различных национальностей для перекрестного подавления массовых волнений: русские воинские части подавляют волнения в нерусских краях и наоборот. В Новочеркасске рабочих расстреливали солдаты из Дивизии Особого Назначения — малообразованные рекруты из мусульманских народов Поволжья, среднеазиатских или кавказских районов. У польских властей таких возможностей нет! Видимо, многонациональность и межнациональные антагонизмы в *тоталитарных* условиях могут иногда играть роль факторов, не только разрушающих, но и *укрепляющих* империю (по крайней мере, в мирное время).

Вторая объективная причина — отечественное происхождение режима. Советская власть не навязана народу извне, не держится на штыках оккупантов. В Польше национализм — реакция на советское угнетение — является фактором, укрепляющим солидарность рабочих, помогающим им находить общий язык друг с другом и даже с некоторыми представителями властей. Чересчур усердствующий чиновник воспринимается там, как коллаборант, и потому многие партийные функционеры искренне или на всякий случай потворствуют диссидентству.

Чтобы понять значение этого фактора, надо представить себе на минуту, что под Москвой стоят не русско-советские, а, скажем, китайские войска; и не Ленин на своем броневике, а Мао на танке ввез в Россию тоталитарный социализм!

Вдобавок, в СССР рабочий класс теперь везде многонационален и перемешан, особенно в России, где промышленность развивается особенно энергично и куда рабочие кадры стягиваются отовсюду, изо всех республик. Неизбежно возникающие при этом национальные антагонизмы ослабляют солидарность рабочих.

Третья объективная причина видится в колоссальных пространствах СССР. Несвободе всегда вольготно на больших просторах! В условиях строжайшей цензуры на всякую неугодную информацию о событиях, например, в Новочеркасске, люди в Москве стали узнавать лишь через несколько недель, а о восстании на флагманском крейсере во Владивостоке (также в начале 60-х годов) многие в центре вообще не узнали. К тому же сведения, доходящие в виде слухов, не вызывают и полного доверия, даже если эти „слухи" ретранслируются западными радиостанциями.

Заметим, что все эти факторы к тому же усиливают друг друга. Мощный и жестокий аппарат подавления, отсутствие национальной солидарности, огромные пространства и расстояния — все это в

совокупности и объясняет устойчивость тоталитаризма в СССР, а также во многом, на мой взгляд, — относительную пассивность советского рабочего класса.

Четвертая (и последняя) объективная причина этой пассивности — отсутствие серьезной поддержки со стороны других слоев советского общества.

Такой „польский" фактор, как независимая и влиятельная церковь, вообще отсутствует в СССР (исключение составляет лишь маленькая Литва). Что же касается интеллигенции, то диссидентское движение в ее среде прежде всего значительно малочисленнее, чем то имеет место в Польше. Причин этому здесь свой ряд, в который входят и многолетний сталинский террор, скосивший лучшую часть советской интеллигенции, и, увы, сильнейшее моральное разложение, а следовательно и интеллектуальное вырождение, захватившее широкие слои этой интеллигенции, а более всего — гуманитарной. Ложь сильнее деморализует не тех, кто ее вынужден потреблять, а тех, кто ее производит, пускай тоже вынужденно. А главный производитель лжи — гуманитарная интеллигенция. Не случайно она дает и самую малую — в отличие от всех других стран — долю диссидентов (по подсчетам А. Амальрика — около 22 процентов, тогда как техническая интеллигенция — почти две трети).

В довершение ко всему диссиденты из интеллигенции часто настроены очень элитарно и эгоцентрично по отношению к другим слоям общества, включая рабочих*. Дело порой доходит до настоящего сословного шовинизма. Например, ветеран диссидентского движения Б. Шрагин пишет („Противостояние духа", с. 216), что если „интеллигент в России — это зрячий среди слепых, ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых", то „массы — слепы, безответственны... И поэтому диссиденты не ищут прозелитов. Этим обеспечивается достаточно высокий нравственный уровень их среды". „Вести за собою массы, — продолжает в другом месте книги Шрагин (с. 310), — хотя бы по видимости могут лишь демагоги, которые выбрасывают „народу" вовсе не те лозунги, которые намерены осуществить. Массам надо обязательно преподносить идеи в специально адаптированном для них виде, то есть в виде искаженном". Другой весьма уважаемый

** Все это не относится к интеллигенции заводской, которая в СССР, как нигде, близка к рабочим по своим интересам и характеру.*

диссидент-литератор называет рабочий класс — классом „двоечников", то есть людей, срезавшихся на экзаменах в вуз.

Бытует среди интеллигентов зачастую и явный страх перед рабочими, убеждение, что случись „что", и рабочие тотчас бросятся грабить, жечь и убивать. Тот факт, что было уже много массовых выступлений рабочих, и они обходились без насилия и вандализма, эти интеллигенты не хотят принимать во внимание. Некоторые из них испытывают и страх, что рабочие вновь потянут дело к какому-нибудь новому, демократическому социализму, а ведь такого социализма, как они убеждены „быть не может, потому что быть не может никогда".

Все эти суждения зачастую порождены тем представлением о рабочих, которое многие интеллигенты выносят из своих контактов с деклассированными, деморализованными людьми из сферы обслуживания (или „обжуливания", как ее называют). Между тем в СССР, в условиях государственного капитализма, эта прослойка наиболее подвержена массовой коррупции и преступности.

И вот, в результате всего этого, рождается такая поразительная фраза в обращении к польским рабочим группы ведущих советских диссидентов во главе с академиком А. Сахаровым*: „Ваша борьба *восстанавливает* честь рабочего класса..." Не указывается только, какого рабочего класса: польского или вообще мирового! Прочитав эту фразу, я вспомнил высказывание одного литератора из нашей новой эмиграции: „...Рабочие — всегда опора коммунизма или фашизма; в будущей России их надо загнать вниз, на галеры! Дать им туда телевизоры и прочие блага, но держать их внизу!"

Разумеется, польские события и появление зачатков рабочего движения в СССР сдвинули многих советских диссидентов из интеллигенции в сторону рабочих. Но до польских степеней сотрудничества и взаимоуважения в Советском Союзе — еще как до луны! „Контакты свободного профсоюза с правозащитным движением были бы только полезны, — пишет Валерий Чалидзе, один из основателей этого движения. — Однако, тем, кто представляет себе социальную ситуацию в России, легко понять, насколько трудным может оказаться взаимопонимание между представителями разных

** Я убежден, что А. Сахаров не был автором этого обращения, и дал согласие на подпись заочно, из Горького. А. Сахарову органически чужд любой шовинизм, как национальный, так и классовый.*

слоев общества" (,,СССР — рабочее движение?", изд. Хроника, Нью-Йорк, 1978, с. 75).

Кроме объективных, существуют также и *субъективные факторы* пассивности. Они, конечно, существуют и в Польше, но там время их воздействия на рабочих было короче, а интенсивность воздействия меньше, чем в СССР.

При тоталитарном социализме рабочие, не имея возможности защищать себя обычными коллективными методами (профсоюзы, забастовки и т.д.) вынуждены, чтобы все же как-то улучшить свое положение, действовать, в основном, методами индивидуальными: выслуживаться перед начальством в качестве ,,передовиков труда", или, попросту, — штрейкбрехеров (что, надо отдать должное, наименее популярный способ); воровать, вынося с фабрики все, что можно вынести и продать*; или же искать ,,левую" работу, халтуру, частный заказ.

Широко распространены также методы ,,полузабастовок", когда рабочие лишь делают вид, что работают, или находят (а то и создают!) уважительные причины, чтобы сидеть, сложа руки, пока начальство с помощью приписок не повысит им сумму очередной зарплаты или премиальных.

Все эти методы, разумеется, чреваты деморализацией и создают атмосферу круговой поруки между начальством и рабочими: начальство смотрит сквозь пальцы на воровство и махинации рабочего — при условии, что рабочий ведет себя ,,лояльно". Но коррумпированным рабочим очень рискованно подниматься на какое-либо диссидентство: стоит им решиться на это, как они тут же ,,сгорают" по уголовным статьям. (Именно среди таких рабочих всего сильнее и процветает пьянство). Некоторые инфантильные диссиденты из интеллигентов видят в рабочем воровстве и вымогательстве ,,борьбу с режимом", но это, конечно, не борьба; это, скорее, капитуляция, отказ от настоящей борьбы и путь на дно, в равнодушие и апатию.

Насколько сильно влияет этот фактор на общую пассивность советских рабочих (иными словами — какая их доля вовлечена в

---

* *Воровство это приняло столь широкие масштабы, что власти, испытывая постоянный и острый недостаток в рабочей силе, вынуждены были Указом Верховного Совета СССР от 13 декабря 1977 года отменить уголовное преследование за кражи на заводах на сумму не выше 50 рублей, постановив ограничиваться в таких случаях лишь административными наказаниями и штрафами.*

эту повседневную советскую уголовщину), сказать невозможно — из-за отсутствия достоверных социологических исследований по СССР.

Равно как никто не может сказать, насколько влияет другой субъективный фактор пассивности — пьянство. Есть интеллигенты (и диссиденты), которые убеждены, что пьянствуют и являются полными алкоголиками поголовно все рабочие. Это, конечно же, чепуха. Но кто знает, как и насколько уже повреждено потомство рабочих-алкоголиков за долгие годы советского безвременья?

Дай Бог, чтобы решающими причинами, определяющими относительную пассивность советских рабочих, оказались внешние, объективные факторы, а не эти — последние, внутренние, могущие стать необратимыми.

Во всяком случае, чем дольше будет держаться тоталитаризм в СССР, тем больше будет эта опасность необратимой деморализации и алкогольной дегенерации большинства рабочих.

Вот на какие мрачные мысли наводит вынесенное в заглавие сравнение. А вывод этот, в свою очередь, напоминает, что существующий в СССР режим в совокупности с его военной и атомно-ракетной мощью может оказаться апокалиптическим для всего человечества.

КОНТИНЕНТ

№ 26

Проза: Г. Русский "Клейма". Ю. Гальперин. "Три рассказа". В. Марамзин. "Начальник". А. Малумян. "Лагерные притчи".

Поэзия: И. Бродский. Х. Фришер. Г. Плисецкий. Н. Горбаневская. В. Делоне. И. Лиснянская.

Публицистика: Э. Кузнецов. "Статус советского политзаключенного". А. Дравич. "Зарубежная Россия". Г. Кремп. "Китайская оттепель". Ж.-П. Руссо. "Финляндизация совести". Д. С. "Заметки о биографическом словаре математиков". С Куровский. "Доктриальная обусловленность нынешнего кризиса в ПНР". Э. Штейн. "Шахматные носороги". М. Володарский. "Игра в кошки-мышки". В. Белогродски. "Три ключевые темы диссидентства". К. Сапгир. "Муравьиный лев". Интервью с В. Спарре. Разговор с Чеславом Милошем. Критика. Библиография. По страницам журналов. Колонка редактора. Коротко о книгах. Наша почта.

Условия подписки на журнал "Континент": на год — 40 марок, на полгода — 20 марок. Цена одного номера — 12 марок. Пересылка за счет подписчика. Заказы и чеки принимаются по адресу: A. Neimanis–Buchvertrieb, 8000 Munchen 40. Bauerstrasse 28. Germany.

Нина Воронель

...И ВСЕ
НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Самолеты, самолеты, самолеты... Острокрыло и стремительно врываются они в распахнутое над аэродромом небо, заполняют весь экран. И сквозь рев реактивных моторов прорывается спокойный, негромкий голос: **„С той самой минуты, как тюремные ворота остались позади, что-то как бы щелкнуло внутри... Уже здесь, в Тель-Авиве, после шестнадцатилетнего тюремного марафона, я отказывался поверить сам себе, оглядываясь назад: настолько несовместимы две эти реальности: свобода и тюрьма, – что рядом существовать в сознании они не могут, как невозможно одновременно быть и мертвым, и живым".**

И сразу же крупным планом твердое, жесткое лицо, волосы в мелких светлых кольцах, умные осторожные глаза за стеклами очков и неожиданная на тонких скрытных губах почти застенчивая улыбка. За кадром вопрос на иврите, явно продолжающий начатый раньше урок: „Меня зовут Ева Мон. А тебя?" Улыбка становится еще более застенчивой: **„А меня – Эдуард Кузнецов".** Опять вопрос: „Какая профессия была у тебя в России?" Ответ: **„Я был профессиональный политический заключенный".** Вопрос: „А теперь ты кто?" В улыбке появляется еле-еле заметная хитринка; видать,

хороша была тюремная школа, после которой, не глядя, за битого двух небитых дают: **„А теперь я никто. Нуль без палочки"**. И дальше на протяжении часа Станислав Чаплин, режиссер телевизионного фильма „Эдуард Кузнецов. Дневники", только что вышедшего на экран израильского телевидения, пытается разобраться в путанице мыслей и чувств человека, прошедшего через камеру смертников, отсидевшего шестнадцать лет в самом страшном бараке ГУЛага — в спецлагере особого режима и катапультированного затем — на свободу.

Режиссер не пытается облегчить задачу ни себе, ни герою, ни зрителю. Он не будоражит нервы публики увлекательными сценами умыкания самолета, душераздирающими картинами ареста и суда, — отринув сходу соблазн романтического подхода, он сосредоточил внимание на другом: на психологической драме человека изломанной и необычной судьбы. И отходя в сторону, все время предоставляет слово самому Кузнецову, ибо кто может лучше рассказать о том, что случилось и как случилось. **„Все мы в значительной степени случайно попали в яркое перекрестье софитов паблисити. Тысячи и тысячи более достойных сгинули без вести оболганные и проклятые"**, — говорит кузнецовский голос за кадром, и сразу веришь, что он не притворяется, не обольщает ложной скромностью, а и вправду сам себе пытается объяснить удивительные обстоятельства собственной судьбы. **„Я еще в восемнадцать лет всерьез мечтал забраться туда, где тишина первозданная. И тогда, мнилось, я решил бы для себя главные вопросы"**.

Какой же вариант тишины первозданной достался ему для решения главных вопросов? В остром противоречивом монтаже сменяются на экране кадры документальные, реалистически снятые в реальных сегодняшних обстоятельствах, кадрами драматизованных сцен тюремных его дней. Чаплин использовал неожиданный ход, предоставив своему герою самому разыграть эти драматические эпизоды. И решение оказалось исключительно плодотворным: актерское исполнение Кузнецова разрушило все привычные представления о документальной драме. Столь убедительно и непосредственно играет он самого себя, что драматические сцены фильма вырастают в потрясающие душу человеческие свидетельства. Вот сдержанно, без малейшего намека на патетику, идет сцена встречи нового, 1971 года в камере смертников: Кузнецов и его сосед по камере в нарушение тюремного режима отме-

чают наступающий год, который может оказаться для обоих последним. Неторопливо течет русская речь, обрамленная ивритскими титрами, мелькает что-то насчет последнего желания перед смертью: **„Хорошо бы дожить до лета, ведь правда? Да не светит, видать"**, — и вдруг лязг многочисленных тюремных затворов, на пороге охранники — один, два, три, четыре. **„С чего бы столько?"** — тревожная мысль. И в ответ короткий приказ: „На букву К — на выход!" Никаких пояснений. Щелкают наручники. Прощальный кивок соседу: **„Прощайте, может, не свидимся"** — знакомый нестерпимый скрежет замков и затворов и дробное пощелкивание каблуков по каменным плитам коридора: **„Куда? Неужели уже на казнь?"** В кабинете из-за стола подымается сытый майор: „Именем Верховного Суда..." и многозначительно умолкает, пережидая паузу по системе Станиславского. А далее следует текст помилования — с заменой смертного приговора пятнадцатью годами каторжного лагеря. И в ответ на требовательный взгляд майора, ожидающего взрыва истерической благодарности, крупным планом лицо Кузнецова — сегодняшнего Кузнецова, воспроизводящего перед камерой всю гамму чувств десятилетней давности. Я не знаю, какой знаменитый актер сумел бы сделать это лучше, — в этих глазах, чуть прикрытых веками, непривычных встречать без очков слепящую ярость юпитеров, можно увидеть и мгновенное облегчение, и невозможность принять помилование как милость: **„Что, быструю смерть заменили долгой, за это благодарить?"** „Если мне через десять лет скажут, что ты исправился, Кузнецов, я не поверю", — криво усмехается майор. **„И правильно сделаете"**, — отвечает узник.

Но эпизод этот не составляет значительной части фильма: не на прошлом героя сосредоточено внимание режиссера, а на новом этапе его судьбы, на встрече его со свободой. Ведь это только в старых романах свадьба считалась счастливым концом — теперь даже младенцы знают, что все проблемы после свадьбы только и начинаются. Выход Кузнецова на свободу был не менее драматичен, чем его первая встреча с тюрьмой: срочный вызов без объяснения, усиленный ночной конвой, короткий приказ сменить полосатую лагерную одежду на испытанный судом и камерой смертников собственный приличный костюм. И опять самолет — образ самолета неразлучно связан со всеми поворотами кузнецовской судьбы. На этот раз самолет пересекает границу родины ГУЛага — и без всякого предупреждения, без подготовки Кузнецов оказывается на

сцене, на которую смотрит весь мир. От этого можно сойти с ума, можно получить инфаркт, можно потерять голову от слишком многолюдных встреч, от слишком ярких огней, от переплетения множества чужих воль и интересов. Но Кузнецов не сходит с ума, он старается разобраться в хитросплетении надежд и опасностей, которые несет ему новая жизнь: **„Хлопотливая штука — демократия... Надо помнить, что политики тоже люди, только в сто раз посуетней. Они все ужасно заняты и могут встретить тебя не столько по сердечному зову, сколько по служебной необходимости. Он, к примеру, вечером в бордель собрался или просто хотел подремать в шезлонге, а то, может созвонился с приятелем, да вспомнил — бац себя по лбу! — Боже, ведь сегодня надо встречать этого страдальца из России, как бишь его?! Вот еще напасть!"**

Такая трезвость в оценке людей, обстоятельств, а главное — своей персоны и значения ее в глазах других, — этому я удивляюсь снова и снова! Ведь несть им числа, несчастным, которым восторги и шумиха первых минут свободной жизни вскружили голову навеки, да так, что потом уже ни на что не достает душевных сил — ни на смирение, ни на протрезвление. И никогда уже не справиться с горькой обидой несправедливого забвения, а оно неизбежно — ведь свободный мир, как упырь живой кровью, упивается только свежатинкой, животрепещущей новостью с пылу, с жару. А недостатка в такой новости, слава Богу, нет и не предвидится — каждый день такой поток, что только успевай разгрести! И Кузнецову, несмотря на всю драматическую необычность его судьбы, уже пора думать о будущем, пора решать, кто он, что умеет и как может применить свой жизненный опыт к новым условиям. Прямо и честно сознается он себе, что нелегкая это задача: **„Что я знаю? — только лагерь. Умею ли я писать, писатель ли я? О чем я могу рассказать людям, чем с ними поделиться?"** Непросто это после шестнадцати лет тюрьмы. Он смотрит на захватывающую дух синеву Средиземного моря, на пеструю толпу на пляже, на пеструю толчею яхт в порту и примеряет на себя свои новые, еще не вполне подогнанные к его душе обстоятельства. **„Поскольку ты не знаешь, что именно следует сделать для того, чтобы все человечество с утра до ночи надрывалось от счастливого смеха, надо ограничить вмешательство в людские неурядицы случаями лишь вопиющих злодейств... Главное — не лицемерить, любви к людям у тебя не более, чем на два-три часа в день..."**

И поразительный феномен: фильм принят на-ура израильским

обществом, режиссер уже устал принимать восторженные поздравления представителей самых неожиданных социальных групп, от генералов до лавочников, газеты хвалят взахлеб, — и только бывший земляк, вчерашний москвич, ленинградец, киевлянин недоволен, разочарован и даже обижен. „Где герой, — возмущается бывший советский гражданин, — где его вдохновенный скульптурный облик? Отдайте нам нашего героя, мы не хотим верить, что и он, как и мы, — из праха земного!" И как бы предвидя эту реакцию, Кузнецов улыбается с экрана: **„И вот наконец и Судный день! Чертовски приятно, что крылья у ангелов-стражников белые, а не голубые, как у советских чекистов. Дошла очередь и до меня. „Нет, — сказал Бог, — ты не ангел". Эка, — угрюмо подумал я, — стоило ли так тщательно копаться? Конечно, не ангел. Лишь бы не черт".**

Слева направо: Эдуард Кузнецов; режиссер фильма Станислав Чаплин; оператор Шрага Мирхав.

Майя Каганская

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

...Однажды очень славный и давно немолодой человек, желая угостить меня чем повкусней и поприятней, сказал, что по совокупности достоинств я заслуживаю перевода из киевлян в ленинградцы и что он (понятно, — ленинградец) готов ходатайствовать за меня перед ленинградским землячеством. Но хотя путь из киевских варяг в ленинградские греки есть, конечно, путь славы и числиться по северным Афинам равносильно получению личного дворянства, я так же шутливо-серьезно отказалась, как он шутливо-серьезно предложил. Не потому, что храню верность случайному месту своего рождения, а потому, что в Ленинграде, как и в Киеве, и в любом другом городе союзного, республиканского, губернского или уездного значения никогда не чувствовала себя на своем месте.

Этот эпизод нашего причудливого быта я извлекла не для того, чтобы поразмышлять о странностях и сложностях моих отношений с любым — от улицы до страны — поименованным пространством... нет, психология *коллективная* занимает меня на сей раз и в том именно значении слова „занимает", которое роднит его со словом „занятный", а слово „занятный" — со словом „смешной". Я говорю о географическом снобизме своих соотe-

чественников (под ними же подразумеваю все русскоязычное еврейство).

Первая фраза, которой обмениваются при встрече прежде незнакомые выходцы из России, звучит как последняя реплика князя из пушкинской „Русалки". „Откуда ты, прелестное дитя?.." С той, однако, существенной разницей, что „прелесть" содержится не в вопросе, а в ответе. И доложу я вам, есть такие места, откуда „прелестным детям" и вовсе не положено появляться.

Как-то, по ходу автобуса и разговора, обменявшись со случайным спутником ритуальными формулами, услыхала я ответ неожиданного и, так сказать, загадочно-кроссвордного характера: „Я на букву „А".

Расшифровка географическая: из Черновиц.

Расшифровка смысловая: когда некто, подобно библейскому Ионе, сознавшемуся в своем еврействе, признается, что он из Черновиц, в ответ незамедлительно раздается протяжное: „А-а-а..."

Это „а-а-а..." мой автобусный собеседник воспроизвел со всем тем полифоническим богатством, которое в него обычно вкладывается: разочарование („...а с виду как будто приличный человек"); жалость („такой молодой — и уже из Черновиц"); жестокое презрение („...лучше бы вам нигде не рождаться..."); уведомление о невозможности дальнейшего знакомства („...я-то вообще либерал: не место красит человека... У меня у самого покойная тетя из Киева... Но вот жена... дочери-невесты... Так что вы, голубчик, того... поймите и простите...")

На тему географической „некошерности" есть анекдотцы и похлеще. Их, как правило, рассказывают сами „инвалиды четвертого пункта", что внятно напоминает антисемитские анекдоты в еврейском исполнении. Да и вся эта „ярмарка рождения" (а место рождения в несклонной к движению России чаще всего совпадает с местом проживания) представляется подчас вытесненной в пункт четвертый ностальгией по утратившему значению пункту пятому.

Принятая у нас пространственная культурология радикально отличается от общепринятой: у нас, чем ближе к северу (крайняя точка — Ленинград), тем кровь голубее, лицо — бледнее, одежда — человекоподобней, душа и мысли — возвышенней, а чем дальше на юг (крайняя точка теряется где-то в молдаванских степях), тем румянец и растительность — гуще, речь нечленораздельней (баклажаны к примеру, там именуют „синенькими"), а из пред-

метов домашнего обихода, по всеобщему убеждению, в особенном почете каменный топор.

Разумеется, и в пределах этой глобальной схемы не утихает яростное соперничество. Так, до сих пор остро актуален вопрос: кто выше (во всех отношениях) — москвичи или ленинградцы? Судя по расположению имен и звезд (можно через знак равенства), побеждают ленинградцы. Но в случае победы им не суждено в покое и довольстве почивать на лаврах, и не потому, что почивать на лаврах вообще неудобно — колются. Нет, еще один и уже окончательный поединок предстоит ленинградцам. Поединок с соперником, чье имя обычно не называется, но чье присутствие ощущается так же остро, как присутствие человека, по чьим документам вы самозванно живете. Давний претендент на подлинную столичность (западность) — наш северо-запад, Прибалтика: Таллин, Рига, Тарту... Это уже не та Европа, которую беспрерывно выгоняют в дверь, а она то и дело заглядывает в петербургское окно; Прибалтика и есть европейская дверь или даже, — как бы это поточней и покорректней выразиться, — прихожая, что ли...

(Заполучив счастливую возможность сравнить русско-прибалтийскую Европу с Европой без эпитета, я нашла сходство полным. Прибалтика и Европа действительно похожи, как искусный муляж булки и булка настоящая; на глаз одно и то же, только вкус разный).

Самые сильные страсти, однако, бушуют там, где борьба идет не за первые места, а за наиболее удаленные от последних. Скажем, родиться в Киеве (утверждаю как заинтересованное лицо) все же предпочтительней, чем в Харькове, во Львове — чем в Кишиневе, в Черновицах — чем в Бендерах, а уж чего предпочтительней Бендеры, — здесь мой опыт и воображение решительно отказывают.

Настоятельная потребность в иерархической структуре мира заменила давно вырубленные генеалогические деревья географическими визитными карточками.

...О художнике Саше Окуне я, как водится, услышала раньше, чем увидела его. Доносившаяся из разных мест и от разных людей весть о его приезде одинаково прописывалась ремаркой в пьесе из светской жизни: „Те же и ленинградский художник Саша Окунь", где „ленинградский" — титул, гарантирующий достоинство имени. Для посвященных, разумеется, сочетание города с именем имело смысл другой и вполне конкретный: „Алеф" — группа ленинградских художников-евреев (в идеале — еврейских художников);

общность поисков при разности стилей; борьба с властями и властью; неофициальные выставки в Ленинграде; постепенное убывание „Алефа" из России и перетекание в Израиль, а в числе прибывших последний во времени и один из первых по ленинградской известности, молодости и таланту — Саша Окунь.

Вопрос о том, что общего между Ленинградом и еврейством, похож на армянскую загадку. Для еврейского универсализма не то, что Ленинград, — Петербург слишком узок, а для еврейской местечковости не то, что Петербург, — и Ленинград не по карману.

К тому ж, Саша Окунь исхитрился родиться так поздно, что и мировая империя еврейского духа, и теплое еврейское местечко (не путать с местечковостью) удалены от него на равно мифологические расстояния: ассимиляция в России (точнее — в русской культуре), от которой он отказался, — пародия на универсализм, а выбор Израиля не есть выбор местечкового мифа или даже мифологизированного местечка по Шагалу. Меж тем, ностальгия по кочевому универсализму соседствует в полотнах Окуня (и в нем самом) с ностальгией по черте оседлости. Ущемленный и размытый призрак бывшей имперской столицы под его кистью с легкостью подчиняется двум этим равномощным и разнонаправленным тягам, образующим при сложении жонглерскую устойчивость еврейского существования.

В надменное пространство петербургских площадей и проспектов Окунь выбрасывает перенаселенные ленинградские коммуналки, наполняет улицы стадами свалявшихся одичавших вещей, громоздит пирамиды комодов и буфетов, стучит по торцам и гранитам колченогими стульями и охромевшими столами, а в предрассветном питерском небе прямой цитатой из Шагала размещает обнаженную розовую женщину.

Это — исход вещей из немилого Египта, „хаос иудейский", поглощающий „пафос хорошо организованного пространства", превращение столицы — в провинцию, Петербурга — в Витебск, продолжение шагаловского повествования для полемики с ним: красно-синий захлеб шагаловского письма уступил место черно-коричневому угрюмому тону; обнаженная над Ленинградом, в отличие от себя же над Витебском, источает свет больше по контрасту с общей темью, чем собственной розовой плотью.

С окраин империи черта оседлости переселилась в ее центр. Если верить шолом-алейхемовскому преданию, иллюстрированному шагаловской мифологией, черта эта была чем-то вроде раз-

делительных линий Васильевского острова или, в крайнем случае, островом, окруженном необитаемой сушей. Сам же остров был обитаемый и волшебный: там скрипач не только лазил на крышу, но и взлетал над нею, а взлетев, — отплясывал в воздухе залихватский „фрейлахс", упруго загребая ногами пустоту...

В результате переселения выяснилось, что черта оседлости — это магический круг, которым всегда обведен еврей и который всегда следует за ним, выворачивая город — местечком, интернационализм коммуналок — специфически еврейской скученностью, проблему жилплощади — проблемой жизненного пространства: люди летают просто потому, что им нет места на земле.

Бесконечные охровые заборы Охты, разбухшие от пивной сырости ларьки Пряхи, загнанные в тупик дворики и переулки малой Голландии на полотнах Окуня не принадлежат ни Петербургу, ни Ленинграду, ни прянично-медовой русской провинции Кустодиева: это — все та же шагаловская провинция, но обесцвеченная, обескровленная...

Так человек, всю жизнь хранивший в памяти олеографический рай детства, через жизнь вернувшийся в родные края и не узнавший их, обвиняет старческую дряблость сетчатки и потускневший хрусталик собственного глаза, забывая, что мир стареет вместе с нами. Земля стареет и стареет небо, стареют волосы, стареют бедра, стареет платье, вздутое от бега...

Шагаловский мир исчез, сгинул, вылетел в трубу. Его корова языком слизала, та самая шагаловская телка с бессмысленной печалью в лиловых глазах на зеленом до оскомины крестьянском лугу. Выцвели не краски Шагала — выцвел его мир. Свинцовый пепел припорошил масляную сказку о еврейском местечке, обозначив пустое место там, где когда-то — по слухам — цвела жизнь.

Хмурые фрагменты Витебска, обнаруженные Окунем за гранитно-мраморными архитектурными петербургскими пейзажами, — одновременный знак и археологической жажды, и отчаяния реставратора.

Сама же по себе еврейская провинция — как мир, а не миф — существует везде, где есть еврейский глаз, способный сотворить ее из любого подручного материала — клочка травы, растущей у забора, жестяной вывески, прищуренного или подмигивающего оконца, а главное — из той метафизической скуки, что прочнее камня и натуральных красок на холстах живописцев организует в еди-

ное пространство Петербург и Витебск, Москву и Бельцы, Иерусалим и Ленинград. Свою провинцию мы носим в себе.

Ленинградские полотна Окуня, прожившего в Ленинграде всю свою, по счастью, еще недолгую жизнь и открывшего в единственном европейском городе России черты безрадостного захолустья, — некий намек, а при хорошем прочтении — и вызов сторонникам отождествления всеобщей географии с историей собственной жизни и места рождения — с местом в культурной иерархии. С другой стороны, им — сторонникам — как будто в подмогу классические ленинградские полотна Окуня. Классические не в смысле стиля: кто и какой стиль решится сегодня так определить? В нашу разностильную эпоху (да при том еще, что каждый из стилей имеет свою классику) классическим я называю скромное соответствие перенесенного на холст пространства его отстоявшимся в культуре символам, конкретным эмблемам, предметным знакам.

Можно изобразить Эйфелеву башню со слоновыми ногами вместо причитающихся ей металлических конечностей или Медного Всадника — теми же цветными многоточиями, что и посетителей осторова Сен-Жак. В обоих случаях художники так видят; это их сюрреалистское или импрессионистское право. Но, по крайней мере, видят они именно Париж и Питер, а не Прованс и Таити, что все же на пользу художнику (можно оценить своеобразие зрения) и успокаивает зрителей (еще не все потеряно).

Это ли не классичность?

Саша Окунь рисует адмиралтейство, острова, набережные — весь бесспорный набор имперской красоты, который традиционно связан с Ленинградом. Художник не оспаривает красоту — он только не хочет заниматься подстрочным переводом языка архитектуры на язык живописи. Красоту он выводит не из чертежной мастерской, а из естественного призрачного света, в который и без белых ночей всегда погружен город. Сами же белые ночи (их изображения Окунь тоже не чурается) — уже обтесанные готовые плиты в сравнении с тем световым сырьем, которое пошло на застройку города. Подобно тому, как шинель, бывшая вначале призрачной мечтой Башмачкина, став реальностью, его самого превратила в призрак, так граниты и мраморы Петербурга, поглотив свет, стали призрачными, почти фантомными. Красота не убавилась — она лишь передвинулась от пушкинской иллюминованной царственности в гоголевско-достоевскую тень, не менее (и уже давно) признанную в качестве петербургского канона прекрасного. Ко множеству

гимнов Великому городу Окунь прибавил свою маленькую серо-зеленую оду.

...Совместив оба эти его взгляда на Ленинград со своими подлинными авторскими интересами (они отнюдь не искусствоведческие, но бытописательские и нравоучительные), — что я должна сказать? Какую мораль вывести? Какой урок жизни преподать своим читателям на примере искусства? Тот, очевидно, что раз талантливый художник увидел в Ленинграде Петербург и Витебск, империю и черту оседлости, то напрасно уроженцы Таллина и Риги относятся к ленинградцам (да еще бывшим!) как к нуворишам, ленинградцы к москвичам — как к узурпаторам, а все они вместе ко всем вместе — как к скифам каким, то ли с раскосыми, то ли с жадными глазами...

— „Какая разница, откуда мы, важно — кто мы, а мы все — евреи!" — должна бы я воскликнуть, еще и еще раз назидательно напомнив о художнике, который хотел открыть и воспроизвести еврейское в себе и в мире, используя для этого такой, казалось бы, негодящий материал, как бывшую столицу Российской империи; о художнике, который в этой бывшей столице жадно искал те самые черты провинциальности и местечковости, которые мы с таким злорадным удовольствием находим друг в друге. А то, что окуневская провинция тускла и угрюма, объясняется просто: провинция есть, а евреев — нет. Живописных евреев с мудрым взглядом, пейсами и талесами нет ни на Охте, ни на Пряхе, ни на Невском проспекте... Там их нет, но здесь-то они есть! И в каком изобилии! Отчего же не распахивается глаз навстречу ожившему шагаловскому чуду, как, несомненно, распахнулся бы тот же глаз, обнаружив в реальном Париже лилово-сиреневую прокладку импрессионистских полотен?!

— „Не оттого ли? — вопросила бы я риторически, — что художник, живущий в каждом человеке, прячется и умаляется в нас под непривычной ношей еврейства и оживает только в чужих, благополучно отписавшихся культурах?"

Итак, мужество? Не самопознание, а самопризнание, мужество как первейшее и необходимейшее условие самобытной красоты, — вот мораль, которую я должна бы извлечь из окуневских картин, используя их как наглядное пособие по национальному воспитанию.

Но — горький опыт и размышления над жизнью привели меня к иному заключению.

Из того бесспорного факта, что все художники — люди, я не решаюсь сделать вывод, что все люди — художники, за неимением времени и специального образования не пустившие в оборот отпущенный им талант. Не верю я и в то, что восприятие есть акт, сравнимый с творческим и соразмерный ему. В большинстве случаев восприятие искусства сводится к простому и пустому накоплению впечатлений, намного более сходному с накоплением вещей, чем с их созданием. Вещи используются в быту, впечатления — в разговорах (тоже бытовых).

Опыт художника значим только для другого художника. Встречи искусства с жизнью редки и обычно заканчиваются вничью. Ностальгия художника по провинциальному миру (или мифу) бессильна перед всеобщим отвращением к нему. Обитатели Меа-Шеарим не умиляют своим сходством с персонажами Шагала (или даже Эль-Греко), но раздражают и ужасают культурной и психологической чуждостью. Встречаясь с уроженцами Черновиц, Бендер и самого Витебска, мы не предполагаем в них дара летать по ночам и мистически озаряться под звуки скрипки.

Средневековые идиллические утопии и полученный с доставкой на дом багаж художественных впечатлений разбиваются вдребезги: массовая психология, в отличие от искусства, не выносит разнородных жанров существования.

Разумеется, нет провинциальных холстов, кистей и подрамников, — есть провинциальные художники. Но холст, натянутый на подрамник, не эквивалент и даже не символ пространства, в котором (или в которое) протекает наша жизнь.

Провинциалы существуют потому, что существует провинция, а место красит человека. Не в том смысле, что оно его украшает, нет, но оно его — окрашивает.

Подобно времени, пространство оставляет на нас следы своих пальцев. Оно прилипает к нам, как свежеокрашенная садовая скамейка, цепляется как репейник; оно морщинит нашу мысль и речь, как годы — лицо.

Легче избыть время, чем избавиться от пространства. Как хорошая химчистка, время просто стирает прошлое — от минувшего десятилетия до прошедшего дня. Но пространства трудно усваиваются, плохо перевариваются.

Наша речь повторяет ритмы улиц, по которым мы гуляли, из наших жестов выпирают углы домов, в которых мы жили, а мыш-

ление воспроизводит манию пространственного величия страны, из которой мы уехали.

С манией величия еще как-то можно справиться, труднее совладать с магией величин, всецело принадлежащей большим городам.

В склоке москвичей и ленинградцев я на стороне москвичей по той и только по той причине, что в Москве на целый Израиль жителей больше, чем в Ленинграде (не считая территорий — Западного берега и Подмосковья с населяющими их аборигенами).

Каким бы метафорам не подвергать понятие провинции, первоначальное представление, с ней связанное, — это пространственная зажатость, людская малочисленность и общая скудость жизни. Провинция отталкивает, как всякая несостоятельная претензия и межеумочность: навсегда не „земля и деревня" и никогда не „город и столица".

Неприязнь к провинции замешана не столько на страхе перед возвращением в историческое прошлое, вчерашний день культуры (провинция, судя по всему, такой же вечный спутник культуры, как столица), сколько на страхе перед тупиком настоящего, обочиной времени. И никто не одержим большим страхом перед провинцией и большей неприязнью к ней, чем она сама. Провинциал безошибочно узнается по лихорадочной спешке, боязни отстать от поезда и моды, не успеть на самолет, сексуальную революцию, в магазин или в Америку: вдруг закроют.

Несмотря на информационную жажду, иссушающую провинциала, внутренне он неподвижен, негибок, непластичен, он боится рвать с прошлыми привязанностями, мнениями, вкусами, друзьями дошкольными и школьными, в любые новые обстоятельства он привносит застоявшийся запах провинциального уклада.

Провинциал, как ни странно, существо куда более групповое, партийное, коллективное, чем жители больших (очень больших) городов, которые научаются первой заповеди индивидуалистической культуры — одиночеству.

Почему-то расселение по годам (во времени) воспринимается как более почетное, чем распределение по местам (в пространстве). Эпитафии типа: „люди 60-ых", „70-ых", „30-40-ых" и прочих годов или „предвоенное", „военное", „поколение до", „после XX съезда" — звучат, на общий слух, куда возвышенней, чем уничтожающие приговоры: „из Кишинева, Черновиц, Одессы, Марокко...". По мне — и то и другое отдает братской могилой, а я (как и осталь-

ные, впрочем) предпочитаю индивидуальное захоронение, достойно венчающее индивидуально прожитую жизнь.

Я люблю людей, которые располагаются внутри своей жизни, как женщина внутри раковины на одной из последних картин Окуня: соприкасаясь, но не сливаясь, в единстве, но не в тождестве. Людей без незаживающих шрамов времени и несмываемых пятен пространства, про которых хочется сказать, что они родились ни от кого, пришли ниоткуда и живут нигде. (Хорошо бы еще — ни с кем). Но их, этих людей, так мало, что множественное число здесь — просто грамматическое насилие над действительностью. А в действительности господствуют не личности, но типы, со всеми им положенными типовыми характеристиками.

Человек не выбирает места своего рождения. Но: проживший всю жизнь в провинции добровольно — сродни ей по природе, а проживший „по независящим от него обстоятельствам" — сроднился в результате. „Поэты рождаются в провинции и умирают в Париже", — говорят французы и правильно говорят.

Случайный, но не напрасный дар рождения в Киеве, например, со мною делят Бердяев, Шестов и „непримкнувший к ним" Булгаков (писатель, а не философ). Первые два и впрямь умерли в Париже, третий — в Москве (все-таки!), а я (надеюсь) их всех переумру: в Иерусалиме.

В Израиле, где пространства мало, а людей еще меньше, где дома с трудом складываются в кварталы, кварталы по-ослиному упираются переходить в улицы, улицы — в город и где атмосфера семейственности и трехстенного дома запахом жареной рыбы проникает во все закоулки, призрак провинции оживает, как детские страхи в темноте.

Смешной в проявлениях „географический снобизм" серьезен по сути и прав в своих опасениях: кому охота терять завоеванное и растворяться в худшем по качеству?

Москвичи, в основном, правильней говорят по-русски (а уж если говорить на любом языке, хорошо бы говорить на нем хорошо), злее и честнее мыслят (если мыслят); у ленинградцев (тоже в основном) вкус и манеры лучше, чем у бывших жителей южных окраин. Возможно, прибалтийские евреи болели катаром верхних и нижних дыхательных путей еще чаще, чем вообще падкая на простуду еврейская носоглотка в других концах империи; возможно, причина в перемещенных английских туманах, колониальной немецкой готике и контрабандных шведских товарах, но — факт

остался там, где ему и положено оставаться (отстояться): на лицах, в быту, в поведении. Прибалтийские евреи разговаривают тише, размахивают руками реже (а то и вовсе не размахивают), украшают себя и свои жилища изящней, чем буйное малороссийско-бессарабское еврейское казачество.

Попытка жить столичной жизнью в провинции никогда никому не удавалась. Провинция одноязычна, столица — полиглот, и провинция — один из ее бесчисленных языков. Столица в провинции только смешна, провинция в столице еще и колоритна.

...Помню апрельский вечер в Москве, начало которого я провела на повторном исходе „серебряного века", в кафе „Бом", среди разговоров об акмеизме Ахма... (дулиной) и футуризме ...ского (Вознесен); середину — полстолетия спустя, в предмайском хмеле Красной площади, скалившей кремлевские зубцы на восторги зарубежных гостей; а конец — то ли в Туле, то ли в Малом Ярославце, благополучно пропустивших и „серебряный век" культуры, и „золотой" — социальной справедливости.

В кафе мы с другом выясняли отношения, на Красной площади выяснили, после чего уже спокойно гуляли вдоль исторического памятника „Россия" и гостиницы „Кремль", пока не вышли на Софийку. Там, привлеченные густым липовым запахом из подворотни какого-то многоэтажного доходяги, затянутого в лечебный корсет строительных лесов, мы заглянули и загляделись на его изнанку. Наш взгляд налетел и расшибся об упоительно лиловый цвет байковых трико, обтягивающих мощный кавалерийский зад, чья верхняя половина целиком ушла в раздувание буддийски-пузатого и дзен-буддистски невозмутимого самовара.

Собаки, дети и кошки с притворным восторгом и неподдельным испугом встречали каждую новую россыпь разлетавшихся искр. Цвета тех же трико уютно простиралось над миром небо. Его подпирали охваченные буйным цветением липы. Во всю длину неба растянулся свеженький деревянный флигель с мезонином об одном оконце. Тугой абажур распирал оконце изнутри, как спелый абрикос — косточка. А во всю длину неба и флигеля возвышался ладно сколоченный стол, за которым тучноголовые мужчины забивали козла и гоняли чай, запивая водкой.

Распаренный бабий дух носился по подворью, раздувал мужичьи ноздри и домовито отделял расхлябанное городское время от черноземной вечности.

Столица „с черного хода" всегда провинция. Городской роман,

обернувшийся городским романсом. Но у провинции тоже есть свой „черный ход", свой пригород, и это — земля, почва, в которую уходят и роман, и романс, сворачиваясь в почвенный миф, национальное предание... Такова нормальная иерархия прочно укорененных культур, проросших в одном пространстве и разросшихся в историческом времени. Бытие проступает в них на поверхности бытом, отчего и быт, чувствующий под собой возделанную глубину, способен расцвести красотой. Даже очень чужое бытие, даже совсем чуждый быт. Смиримся с этим...

В мезонине московская Венера купает волосы в эмалированном тазу, из лиловых московских сумерек, как из кленовых сеней, выходят гуськом и в красных сарафанах малявинские парки...

Но тень этого воспоминания, дорогого мне по цвету, пересекается сейчас не с Кустодиевым и Малявиным, а с тенью моего приятеля — киевского художника. Он достиг дивного совершенства в изображении славянских и еврейских уродов, вписанных в интерьер славянского и еврейского быта, тоже уродливых. Славянские уроды подавались с ощутимым привкусом недружеского шаржа, еврейские с легким оттенком сочувственной грусти. Такая ненавязчивая расстановка ударений принесла моему приятелю всекиевскую славу подлинно национального, то есть — еврейского художника. Сам он, впрочем, утверждал, что изображает не уродов, а уродство, то есть не относительные свойства, но абсолютное качество, в силу абсолютности перешедшее в свою противоположность, в красоту; что никакой другой красоты в мире он не видит, не понимает и не принимает и, всецело преданный собственному эстетическому идеалу, нежно любит своих уродов без деления по национальному признаку.

К сожалению, мое доверие к этой цельной и непротиворечивой концепции было подорвано, когда я увидела:

„Автопортрет", где мой приятель, мужчина весьма приятной, но по-еврейски жалобной наружности, изобразился надменным красавцем, прямым потомком графа де ла Фер;

„Портрет жены", в жизни — тихой дамы с деликатно неброскими чертами лица, изображенной древнееврейской красавицей в стиле „Юдифь, попирающая ногами отпиленную голову Олоферна";

„Портрет дочери", прелестной и очень еврейской девочки, на холсте уловимо напоминающей инфанту Веласкеса.

Согласитесь, что такое распадение стилистики на ренессансную

(для себя и своей семьи) и средневеково-босховскую (для всего остального человечества) трогательно, но — настораживает.

Ныне мой приятель, киевский художник, пребывает в Соединенных Штатах в творческом отчаянии, поскольку незрелая американская культура еще не довела человеческое уродство вообще и еврейское в частности до нужной кондиции.

У Саши Окуня тоже есть уроды. Он выписал их с размахом больших голландцев, с ювелирной тщательностью малых.

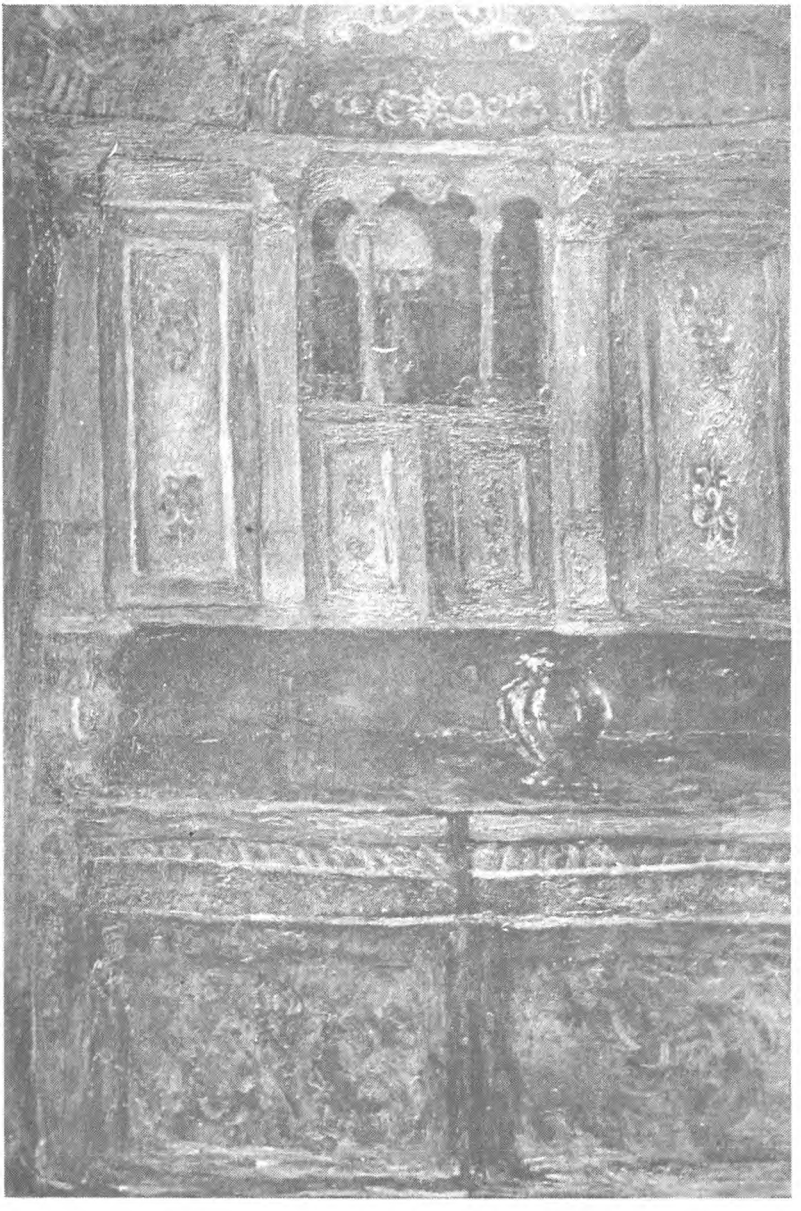
Уроды изгиляются вверх ногами, находя точку, точнее площадь опоры в собственных распластанных кровоточащих яйцах; силятся раздвинуть раму и выброситься из картины, как из окна; и всюду заливаются серебристо-жемчужными слезами: в отличие от самодовольных славянских и смиренных еврейских уродов киевского художника, это — страдающие уроды. Строго говоря, они даже и не уроды, поскольку вообще не люди. Их можно было бы забавно интерпретировать как неестественно-научную фантазию на тему случайной, боковой или тупиковой ветви эволюции, если бы...

Если бы сам создатель этого химерного мира, в начале которого были слезы, не показал нам, в каком именно направлении развились его антропоиды: на одном из полотен цикла уродам сообщены безошибочно узнаваемые еврейские черты. Уродливая супружеская пара пожилых евреев: она — в голом, обмякшем и отекшем теле, он — в зеленой майке явно советского производства, — плача, утешают друг друга. Плачут и утешают на железной кровати, на развороченной постели. Кровать (постель) — не место отдыха, не ложе сна и уж, конечно, не любви, но ковчег, плот, последняя твердь и последний оплот во всеобщей разрухе, в мировом разоре. В оконце, высоко занесенное над кроватью, заглядывает ослепительная синь, равнодушная к несочетаемости себя с ядовитой зеленью майки и гнилостной розой тела.

Не задаваясь вопросом, какие уроды, киевские или ленинградские, уродливей (то есть живописно красивей), подчеркиваю сходство двух художников, разъединенных поколениями и стилистическими привязанностями, но объединенных желанием национального самоопределения: еврейский образ мира (или образ еврейского мира) опознается обоими через гротескно-уродливый быт.

Что так?..

Если бы по внезапной прихоти наш мир был разрушен (закрашен) до основания (холста), а затем по прихоти не менее внезап-



Репродукции с работ А. Окуня: "Утешение"; "Художник и модель"; "Буфет".

ной некто захотел бы создать (написать) его наново, достало бы одних уцелевших натуральных красок. На новую землю пошла бы, скажем terra verta. Краснобрюхим Левиафаном заплескалась бы в ультрамариновом океане Англия, извлеченная из английской красной. Для молодой восточноевропейской поверхности не пожалели бы всех скопившихся запасов подольской черной, на которой сама собой — кровь и почва! — проступит серпуховская красная. Германия исторически вырисовывается из Пруссии, Пруссия же легко получается из прусской синей. Полней других — и по справедливости — возрождена Италия: Сиена — из сиены натуральной; Умбрия — из натуральной умбры; память о Риме, как тень Беатриче, „ombra adorata" — из умбры жженной; Неаполь — из неаполитанской желтой... Елочными подарками висят над этим новеньким миром сразу два Марса: марс желтый прозрачный и марс коричневый прозрачный. И ни одной звезды. Я имею в виду: шестиконечной.

Где цвета еврейской культуры? Где краски еврейской жизни? Где наша перспектива, прямая ли, обратная?.. Ничего нет. А ведь в первый день творения и в последующие пять мир наверняка пах, как совмещенная (по бедности) мастерская скульптора и живописца одновременно. Впрочем, почему „по бедности"? Масло на полотне, полотно на стене, какой ни есть статуй в углу — вот и роскошь готова. И я всегда предпочитала убогому достатку служивых квартир роскошную бедность художников, еще не выбившихся в товарные гении.

Признаться, крупномасштабные лишения, на которые в неизреченной мудрости своей обрекал нас господь, не смущают мой ум горестным: „Для чего"?! А для того, разумеется, чтобы тем ярче подчеркнуть наше избранничество.

Как сказано в одной старинной книге: „Я специально избрал себе профессию нищего, чтобы ничем не затмевать блеск моего дворянства".

Но чего я решительно не могла понять, с чем никогда не могла и не могу примириться, так это с запретом на изображение „всего, что вверху, в небе, и всего, что внизу, на земле".

Пусть собственность на землю, государство, саму жизнь (преимущественно свою, а, случится, чужую) — только ложный блеск, мишура, годная для случайных фаворитов времени, но не для нас, законных наследников вечности (каковая вечность, повинуясь андерсеновской присказке „Позолота-то сотрется, свиная кожа

остается", в конце сказки сотрет с других народов историческую позолоту и обнаружит присущую им свиную кожу). Пусть. Согласна. Но почему нужно было сорвать яркую заплату с нашего страннического рубища, серого от дорожной пыли? Почему, прогоняемые сквозь строй времен, мы не имели права прихватывать с собой полотняные или холщевые клочки с изображениями ушедших предков и пройденных ландшафтов и передавать потомкам, как водится у людей? Иль мы не люди? Чем провинилась кисть живописца перед кисточкой писца, натуральная краска перед типографской, молоток скульптора — перед сапожным молотком?

...Из всех видов и родов ностальгии, самой ноющей оказалась для меня не тоска по распавшейся связи себя — в настоящем с собой в прошлом, не по своей скитальческой, отрезанной и гонимой тени. (Да, гонимой: если *там* и *те* — часть моего прошлого, то и я часть их прошлого, и если я гоню воспоминания о *них* — и они изгоняют, изживают память обо мне). Но не злокачественная эта тоска с ее трагическими метастазами настигла меня, а какой-то непрекращающийся ностальгический глазной тик. Все мерещатся колонны и фронтоны. Атланты зернистого мрамора поддерживают балконные своды. Кариатиды пугливо застыли у парадных подъездов. Мраморные, чугунные и медные всадники с чугунным топом и стальным скоком скачут куда-то, меж тем как мелкий скульптурный люд погружен в свои обычные заботы и радости: бронзовые русалки смывают проступившую на них купоросную зелень в сточной воде городских фонтанов; радужно плюются бронзовые и гипсовые дельфины; мраморные мальчики натягивают свои мраморные рогатки, а в тени городских скверов затаились алебастровые олени с плохо вызолоченными рогами. (И это при том, что я жила в городе, более славном рекой, до середины которой долетит редкая птица, и тортом под названием „Киевский", чем скульптурными памятниками и архитектурными ансамблями. А будь я действительно по рождению ленинградка? Или римлянка? Парижанка? Афинянка?)

В результате: мое излюбленное место в Иерусалиме — постройка фермерского облика с грозной надписью „Police", вход в которую украшают два мраморных львенка. Подолгу и с нежностью созерцаю я эти символы британского империализма, хотя они больше похожи на вконец одичавших и обнаглевших иерусалимских уличных кошек. (Подозреваю роковое влияние среды вплоть до приспособления к ней).

По улицам Иерусалима в аркадском изобилии разгуливают стада овец, коз, баранов, черные, белые и пегие ослы со всадниками и без оных; разъезжают тех же мастей холеные лошади с обязательными всадниками на них. Последние же, точь в точь как Медный Всадник, — символы государства, поскольку полицейские. Но даже они не примиряют меня с отсутствием мраморных, бронзовых, медных образов и подобий всей этой блеющей, мычащей и ржущей милой живности.

Предвижу возражения негодующие („наша святая религия"... „основы основ"... „покусилась"...), высокомерно-поучающие („от невежества все... Рамбама читать надо"), не исключены, впрочем, и возражения успокаивающие: „Снявши голову, по волосам не плачут". Как сказать... к тому ж, в расхожей этой истине много неясностей из-за коварно опущенных слов: „Снявши свою голову, не плачут по своим волосам"? или „Снявши чужую — по чужим"? И я, смирившись, повторяю, с двухтысячелетним „безголовьем" не устаю вопрошать: „Где наши локоны?"

А локоны-то ведь на нашей голове никогда и не произрастали: запретили изображать задолго до утраты такого обременяющего наш универсалистский дух домашнего скарба, как земля, государство, храм... И это самое загадочное.

Только не нужно меня одергивать, окриков же особенно не нужно: магия! идолопоклонство! С магией дело обстоит в высшей степени запутанно: то ли она была, то ли ее не было. Вернее, сомнительно не существование магии (оно несомненно), а то, как мы ее сегодня понимаем: воздействие на объект путем его изображения.

Некоторые ученые полагают, что магии как факту (акту, ритуалу) предшествовало куда более первобытное состояние мышления, которое отождествляло „вещь и живую тварь", то есть то, что воздействует, с тем, что подвергается воздействию.

Держа эту версию в уме, обратимся к заповеди, которая ввергла нас в пластическую нищету: „Не сотвори себе кумира". Общепринятый смысл: не поклоняйся другому, то есть ложному богу: все боги, кроме давшего эту заповедь, — ложные.

Общепринятое семантическое толкование: во времена, когда евреи в числе других девяти приняли и эту заповедь, народы погрязли в идолопоклонстве, которое ритуально выражалось в культе обожествленных предметов — „кумиров", то есть вещей, созданных либо человеческими руками, либо природой („сотворенных"). Из чего будто бы логически вытекает запрет на изображение. Да в

том-то и дело, что не вытекает... Если что здесь и вытекло, то уж, конечно, сама логика.

Чтобы превратить заповедь в запрет, нужно прочитать ее буквально, то есть прочитать „со-творение" как „соучастие в творении". А такое прочтение предполагает отожествление „вещи и живой твари", человека, одушевившего предмета, с предметом, им одушевленным. При таких человеческих способностях и возможностях мир выглядит сотворенным неокончательно и небесповоротно; в нем, в мире, все еще можно что-то со-творить, на-творить; улучшить, ухудшить... Человек заходит в тыл творцу всего сущего в непредусмотренной роли соперника: „не сотвори", запрещая, признает тем самым, что человек может, но почему-то не должен „сотворять". Запрет смахивает на добровольный отказ в пользу другой стороны. Судите сами, насколько это расходится с фундаментальным учением нашей святой религии об абсолютном всемогуществе Создателя. И выходит, запрет этот (в отличие от заповеди) — не торжество монотеизма, а языческая диверсия, да еще на самом дремучем уровне язычества — магическом.

А с идолопоклонством — и того темней и запутанней. Один современный еврейский мыслитель (религиозный*) утверждает, например, что с точки зрения строгого монотеизма хождение к Стене Плача чистое идолопоклонство и что для подлинного монотеиста Стена Плача не более священна, чем, извините, сортир. Что же получается? Древние греки из тесаного камня делали статуи и поклонялись им, мы — тоже из камня и тоже из тесаного — сложили Стену. У древних греков религия была ложная, красота — истинная; религия исчезла вместе с самими древними греками, красота осталась. Но отними у нашей Стены (а, боюсь, и храма) религиозное свечение — красоты ведь никакой! Для чего тогда стена? Чтобы головой об нее биться? А я вам скажу: хоть Стену-то мне оставьте, „надо же человеку, чтоб было куда пойти", даже еврею, даже чтоб головой. Нет, Бог с ними, с учеными, особенно религиозными. Научные построения отпугивают своей гибкостью, религиозная догматика отталкивает своей несгибаемостью. Сегодня мы не в меньшем плену у научной магии, чем другие народы, они — не в большей степени идолопоклонники, чем мы, и правильно или неправильно истолкована заповедь, читай, не читай Рамбама, а есть то, что есть, вернее — чего нет. Нет еврейской живописи, еврейской

---

* *Профессор Лейбович.*

пластической культуры, нет интимных отношений еврея с пространством, с плотью мира, тканью бытья.

Нет и не было не только еврейской живописи — не было и еврейских художников. Не считать же таковыми всех поголовно художников-евреев: этническая принадлежность не обязательно совпадает с культурной (а с чем ей совпадать вообще при отсутствии культуры?) и сама из себя ни художественной школы, ни стилистики автоматически не производит.

Почему Модильяни — еврей? А потому, что за несколько дней до своей смерти он зашел в гости к приятельнице — художнице и, плача и раскачиваясь (неужто раскаиваясь?), спел у нее за столом „кадиш" по-древнееврейски.

Еврейским в Левитане я признаю только „Автопортрет" и только потому, что на нем изображен уж такой еврей — не перепутаешь. Но ведь и Шагал — еврейский художник на таком же и никаком другом основании. Да, Шагал изображал евреев, и потому он еврейский художник.

— А Витебск, еврейский Витебск разве не вдохновил его?

— С таким же успехом его бы вдохновили Шепетовка, Могилев-Подольск или Острова Зеленого мыса. Художник разборчив в выборе средств, но не пространств; его творческая похоть неприхотлива, он знает, что все преобразит в красоту, а если реальные пространства осточертеют, — он создаст свое, ни на что не похожее, и уйдет в него... Случались, правда, и капризные гении со своим культом „прекрасной дамы", как Гоген, помешавшийся на Гаити. Но с какой предусмотрительностью дух живописи дал ему в вечные напарники Ван-Гога, который извлекал красоту из всего, что попадало в глаз: от картошки с селедкой или огородных технических культур до случайных товарищей по психушке. Шагал, конечно, ближе Ван-Гогу, чем Гогену.

— Но мистика хасидизма, придавшая такое очарование и своеобразие шагаловским полотнам? Но духовная красота местечкового еврейства, запечатленная хотя бы в „Обнаженной над Витебском"? Не исключен ведь и еврейский лубок, еврейская народная живопись, существовавшая вопреки запрету? Это ведь уже не постороннее картине „содержание", но элементы стиля, формообразования?

— С живописной точки зрения (а другая нас сейчас не интересует) шагаловский Париж так же прекрасен и мистичен, как и шагаловский Витебск. Красочное обаяние подарил хасидизму Шагал, не

наоборот. И более того, скажу: с той же живописной точки зрения Париж у Шагала, вопреки биографической хронологии, предшествовал Витебску. „Обнаженка", над ним висящая, никакого, по-моему, отношения к духовной красоте витебских обывателей не имеет и выражать ее не может: голая? да еще повернутая задом, пышным, как у Веласкесовой Венеры? Это при еврейском-то пуританстве, чтоб не сказать — ханжестве, да еще местечковом?

А что, если „обнаженная" — просто-напросто мечта художника о парижской проститутке, она же (мечта, а не проститутка) — тоска по мировой культуре? Разве не благодаря своей доступности времени, своей внутренней (а не социально навязанной) потребности переходить из рук одного художественного метода в руки другого, ни с одним не желая сочетаться законным браком и оставаться ему верной до гроба, — разве не благодаря этим морально сомнительным, но творчески необходимым качествам европейская живописная культура дала Шагалу инструментарий, без которого Витебск так и остался бы „вещью в себе", живописно не выраженной, культурно неопознанной, а значит — как бы и несуществующей вовсе?

Будем откровенны: Шагал, конечно, великий художник, но мощный взрыв европейской и русской живописи, на который он так удачно подоспел, сохранил бы свой заряд и без участия Шагала: имен, полотен и концепций достанет на прокорм еще нескольких поколений зрителей, художников, искусствоведов.

Но стал ли бы Шагал — Шагалом, не преобразись к его времени европейская культура, не узаконь она все мыслимые стили, включая и лубочный, хоть русский, хоть еврейский (положим и его на шагаловскую палитру)?

Ведь не случайно наплыв порвавших с запретом на изображение евреев в европейскую живопись совпал с тем моментом, когда она сама на себя такой запрет почти что наложила, правда не на „образ" (тогда), но на „подобие", то есть реалистическое воспроизведение мира, его удвоение.

Стилистика Шагала — европейская, и только „фабула" (и то, разумеется, не всегда) — еврейская.

„Фабула" достаточный повод для нашего неизбалованного национального самолюбия, но шаткое основание для национальной живописи.

На голландских полотнах, например, все голландское, включая и само полотно: Христос в яслях и на кресте — голландский, и сами

ясли и крест голландские, и свадьба голландская, даже краб или фаршированный заяц — тоже голландцы. Сходу узнается французская кисть. Русская. Итальянская. Любая. Но не еврейская. Для самоопределения ей необходим носитель: нос, скрипочка, в крайнем случае буквы еврейского алфавита. Почему — понятно, и дело не в запрете, а в том, что живописной стилистике предшествует стиль бытия, на укладку которого уходят века меняющейся истории и неизменно приручаемого пространства.

Бытия у нас не было. Его обязанности взял на себя быт, отчего и стал уродливым. Еврейский быт называют мещанским. Неправда. Сегодня ,,мещанский'' — синоним любого быта. Галутный еврейский быт не мещанский, не буржуазный, не дворянский и, тем более, не крестьянский. Он внесословный, потому что доисторический. Он — первобытный ,,хаос иудейский''. Бытие, загнанное внутрь еврейского дома, превратило его в мифический космос, где каждая вещь только во вторую и третью очередь утилитарна, а в первую — ритуальна. Не вещь — застывшая метафора, не дом — храм. Помните у Бродского: ,,Этот буфет извне так же, как изнутри, напоминает мне Нотр Дам де Пари''?..

Никогда не сомневалась в том, что сумрачный этот образ не порожден поэтическим произволом, но моментально отснят, отщелкнут глазным хрусталиком, устроенным по образцу безнационального (,,общечеловеческого'') фотообъектива, то есть не только поэт — еврей, но и буфет — еврей; наша домашняя готика, дубовый Квазимодо, безнадежно влюбленный в козий пух гарцующих за окном снежинок.

А если бы не поняла когда-то, прочитав строку, — осмыслила бы ее ретроспективно уже здесь, в Иерусалиме, увидев ,,Буфет'' Саши Окуня. Моими глазами — это лучшая его вещь. И более — вообще лучший портрет вещи. Даже не портрет — автопортрет: до того буфет в ,,Буфете'' сам себя высказал, точнее — выказал и выстроил. Культовое сооружение. Еврейский Нотр-Дам с усохшей розой в разинутой полированной пасти. Как изображению мадонн эпохи ,,треченто'', ,,Буфету'' приличествует надпись в углу или на обороте холста: ,,Меня рисовал художник Саша Окунь''.

Безоговорочно противореча себе двухстраничной давности, я готова признать это полотно явлением национальной живописи. Сознаю, что такое определение ни на что реальное не опирается: буфет безнос и не играет на скрипке, а живописной традиции с ее повторной оборотностью тем и предметов у нас, как мы выяснили,

нет. Что же тогда? А так, нечто воздушное: собственный опыт, не однажды пересекавшийся и совпадавший с чужими; кем-то подтвержденные ощущения, с кем-то говоренные разговоры... Словом: слова-слова-слова. Слова — все, что нам остается, даже в живописи и даже не сами слова, а цезуры, паузы между словами, заполненные вздохами и взаимопониманием: „Да, конечно, Левитан изображал русскую природу... Но видел-то он ее еврейскими глазами. Вы меня понимаете?" — „О да, конечно, я вас понимаю, еврейские глаза, как не понять..." — „Ну, пусть там европейская живопись и прочий „гордый вздор иноплеменный". Ну, пусть Шагал учился и воспользовался... Но ведь т-а-ак изобразить еврея и вообще человека мог только еврей! Эта грусть. Эти слезы. Вы меня понимаете?.. Ну, положим, деформация... ну, допустим, не Шагал ее выдумал. Но ведь у него не просто деформация — у него гримаса! Наша еврейская гримаса иронии и боли как живописный прием. Чувствуете?.. Понимаете?.." — „Да, конечно... Гримаса... Кто, как не еврей... Очень даже понимаю..."

Особенно же драгоценно слово, так сказать, — со стороны, слово, возникшее не из взаимо-, а просто из понимания, чужое и потому объективное слово. Русский (по крови и стилю) художник про „Буфет": *„Это* и *так* мог сделать только еврей!" (Из письма к Саше Окуню).

Говорю об этом без издевки, а скорее как о непреложном факте. Существуют истины, добываемые только путем случайных накладок опыта, наводящих бесед и перекрестных вопросов, иногда — через поколения и страны, иногда — через стол и улицу. В кругу таких истин — при всей сомнительности их происхождения — явления так же намертво цепляются друг за друга, как суждения в безукоризненном силлогизме.

Галутный еврейский быт, ставший культом, с искривленным позвоночником и расплющенными конечностями из-за взваленной на него непосильной роли бытия, мог породить только уродливых служителей.

Уроды Саши Окуня появились в магическом пространстве его „Буфета", как и уроды моего киевского приятеля возникли из родственного Окуню ощущения и виденья непрочной основы еврейской жизни. То, что формой, цветом и светом этого уродства он озарил и соседский славянский быт, — лишь свидетельство его великодушия, но не характеристика соседей. Они не лучше и не хуже, они — другие. И пусть говорят о себе сами.

При всей призрачности понятий „еврейская культура" и „еврейская живопись", при всей междометийной, аховой и оховой их прокладке, какая-то традиция все же складывалась, какая-то общность намечалась. Рано или поздно чья-нибудь кисть суммировала бы опыт евреев-художников, а чье-нибудь перо извлекло бы из этой суммы типологический образ еврейской живописи. Ведь главное (и уже давно) было сделано: преодолен запрет на изображение.

Мне кажется, что запрет оправдан и осмыслен только в том случае, если бы изгнание было тождественно наказанию, не предусматривающему ни истечения сроков, ни амнистии. Равнодушный и суровый судья знает (осужденному же знать и понимать не обязательно: и так никуда не денется), что изображенный, пластически воплощенный мир ластится к изобразившему, приручает его к себе, как домашнее животное — хозяина, пригревает и согревает его, так что в конце концов становится домом, начисто уничтожая оговоренное приговором кочевье и бездомье.

Преодоление (пере-ступление) запрета — при символическом „прочтении" — могло бы означать неизбежное уже наше оседание и растворение, навечное поселение в местах рассеяния и обживания чужого, как своего. Но — ассимиляция катастрофически провалилась, и мы вернулись, несколько растеряв себя и растерявшись в столь долгой отлучке.

„Ты вернулся сюда? Так глотай же скорей..." А что, собственно, глотать?

...В очередной раз перебираясь с квартиры на квартиру, в очередной раз надеясь, что уж этот переезд (переход) — окончательный (то есть, по крайней мере, на год, ну — на полгода), я, для укрепления новорожденного быта, решила свой новый уголок убрать цветами. Захожу в первый попавшийся цветочный погребок в Рехавии, в одной руке пакет со всякой домашней дребеденью (ложки, вилки, рукописи), в другой — три графических портрета меня работы Саши Окуня. Тычусь в цветы и тут же — пакет разваливается, картины рассыпаются, все по полу. Хозяин (тянет к шестидесяти, выяснится через минуту — македонский еврей с типичным еврейским именем Марко и таким же типичным военно-морским профилем) сочувственно цыкает, подбирает вилки, рукописи и картины, рассматривает и спрашивает, кто рисовал и кто нарисован. Экономя иврит и время (и того, и другого в обрез), объясняю, что это я сама себя нарисовала. И конечно влипаю. Марко (галантно): „Здесь (пальцем в глаз) ты красивее, чем здесь (пальцем в

портреты). Впрочем, нарисовано хорошо, очень хорошо. (Браво, Окунь!) Видно, что училась. Вы там, в России, все ученые. А я вот нигде не учился, а рисую не хуже тебя (не меня, не меня — Окуня!) Посмотри и скажи, как тебе нравится. Правду скажи, как коллега коллеге".

Одна папка, другая, третья... Примитивизм, конечно, и — понятно — не Пиросмани и не Руссо, но открытое ими обаяние коснулось и этих холстов. Удовлетворенно пробежав глазами бескомпромиссно синие моря, идеально круглые улыбчивые солнца и паучьи фигурки, присматриваюсь к сюжетам, где и поджидают меня елочные сюрпризы. Прежде всего — абсолютное отсутствие цветов (растений) — вот она, царственная независимость искусства от действительности, даже и цветочной! Вместо наличной флоры — буйный мир человеческих страстей: паучий человечек на палубе воздел руки к небу, меж тем как к нему самому протягивают руки какие-то дамы (груди в профиль), нижняя половина которых явно отливает чешуей. Я (неуверенно): „Одиссей?" Марко заливается радостью такой же детской, как линии его рисунков. И пошло... Троянская война, Деметра, спускающаяся в Аид в поисках Цереры, Эдип и сфинкс. Давид пляшет во главе стада человечков, а Иосиф, сидя в зоосадовской клетке, разгадывает сны, тут же — жена Потифара и переход евреев через пустыню. Этнической и психологической разницы между эллинами и иудеями хозяин цветочной лавки не видит: и те, и другие — бородаты, огромноглазы, неумеренны в жестах и поступках и предпочитают сочетание черного с золотисто-коричневым всем остальным цветам спектра. Придуманная в Париже и на века провозглашенная свара Афин и Иерусалима, принятая всеми как математическая аксиома, посрамлена и опровергнута, к моему злорадному восторгу, в цветочной лавке в Рехавии, в центре Иерусалима, на исходе еврейской недели, гулко сползающей к субботе.

Это не первая моя встреча с рисующим Израилем. Израиль рисует массово, Израиль народный наконец дорвался до изображения и наверстывает упущенное. Примитивистская стилистика массова и универсальна, что конечно легко объяснимо ее кажущейся доступностью, но не исключено ведь, что мы присутствуем при инстинктивном стремлении выстроить свои отношения с пространством с самого начала, того средиземноморского начала, которое известно в мире под названием „греческой архаики". Усталый изыск европейской живописи — примитивизм — для нас оборачива-

ется знаком пространственной инфантильности. Мы — кентавры: мудрые старцы во времени, передвигающиеся на детских ступнях в пространстве.

Саша Окунь, видевший в Вене международную выставку примитивистской живописи, утверждает, что израильские примитивы — лучшие. Я ему верю: иначе и быть не может.

...В Израиле нет быта — чистое бытие. Как бы исступленно мы ни обживали свои дома, как бы ни отгораживались от заоконного пространства тюлевыми занавесками, палехскими матрешками, тульскими самоварами, собраниями сочинений русских классиков и гравюрами с видом кремлевской стены в снег или Медного Всадника в дождь — десятки и сотни наших хлипких уютов и гнезд не складываются в Дом. Пустыня за нашими окнами и порогами наших домов. На ее кромке затихают споры между ленинградцами и москвичами, киевлянами и кишиневцами, харьковчанами и прибалтийцами. Перед пустыней все равны, пустыне все равно.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

В начале марта в США выходит в свет первый номер журнала на русском языке

КУРЬЕР

полностью посвященного публикации различного рода объявлений, с основным разделом "Разыскиваю", через который вы получаете возможность разыскать ваших родственников и знакомых, проживающих в США, а они, в свою очередь, вас. Стоимость объявлений: до 10 слов — 1,5 доллара; 11—15 слов — 2 доллара; 16—20 слов — 2,5 доллара и т. д. независимо от количества объявлений. Редакция журнала ищет честных, энергичных людей в Израиле и Европе для приема объявлений и распространения журнала. Оплата сдельная в долларах. Предложения и объявления слать по адресу: D. Winn. POB 138 M, Morristown, NJ, 07960. USA.

Георгий Бен

Поучимся ж серьезности
и чести
На Западе, у чуждого
семейства.
Мандельштам О.

НОВОСТЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА НОВА (Обераммергау, 1980)

Огромная открытая сцена — 16 метров в длину и 5 метров в глубину. В центре, отодвинутая слегка вглубь, — крытая часть сцены шириной в 6 метров. Спектакль длится пять часов: два действия по два с половиной часа, между ними — двухчасовой антракт. В пьесе около 100 „говорящих" действующих лиц — главных и второстепенных; а кроме того, в массовых сценах на подмостки выходит в течение спектакля в общей сложности около 900 человек. Кроме того, в постановке участвует смешанный хор из 48 человек, не считая ведущего и 14 солистов. Спектакль сопровождается музыкой, которую исполняет оркестр из 65 музыкантов. А всего — включая тех, кто шьет костюмы, рисует и сооружает декорации, изготовляет реквизит, проверяет билеты, продает программы и т.д. и т.п., — всего в подготовке и осуществлении спектакля принимает участие около 1400 человек. В зрительном зале — около 5000 мест, все билеты всегда проданы, и чтобы попасть на спектакль, надо заказывать билеты заранее — за семь-восемь месяцев. И подавляющее большин-

ство зрителей — это не местные жители, а приезжие, живущие за сотни и тысячи километров отсюда, многие из них иностранцы, иные приехали и из-за океана. И этот спектакль — всегда с аншлагом — идет по пять раз в неделю с 24 мая по 28 сентября.

И самое поразительное, что это — не высокопрофессиональное „гала-шоу", а в чистом виде художественная самодеятельность; и участники этого любительского спектакля отобраны среди населения не какого-нибудь многомиллионного города, а маленькой баварской деревни Обераммергау, насчитывающей около 6000 жителей.

Не верится? Действительно, не верится. Но — факт, и от него никуда не денешься. И, надо сказать, зрители знают, что делают, когда специально ради этого спектакля приезжают издалека и платят больше ста марок за билет. Игра тут и вправду стоит свеч.

А началось все почти 350 лет назад — тогда, когда, как писал Мандельштам, „еще во Франкфурте отцы зевали, еще о Гете не было известий". И пир этот начался во время чумы.

Весной 1632 года, во время Тридцатилетней войны, в южной Баварии и в Тироле — в долине Лойзаха и в нижнем течении Аммера — вспыхнула чума. Чтобы „черная смерть" не распространилась на север, жители долины в верхнем течении Аммера выставили на холмах и дорогах сторожевые посты, которые задерживали всякого, кто пытался пройти с юга. Однако некий Каспар Шизлер, батрачивший в Эшенлоэ, в Лойзахской долине, по окончании летних работ захотел вернуться к себе домой, в Обераммергау, что в верхнем течении Аммера, и провести со своей родней дни Великого Поста, начинавшегося в третье воскресенье октября. Зная окрестные горы, как свои пять пальцев, Шизлер без труда обошел козьими тропами сторожевые посты и 19 октября пришел в Обераммергау. Но через два дня после того, как он переступил родной порог, у него на коже выступили черные бубоны, и еще через несколько дней Шизлер умер, занеся в родную деревню черную смерть.

С ноября 1632 по октябрь 1633 года в деревне Обераммергау, где было тогда около полутора тысяч жителей, умерло около четырехсот человек. Когда осенью 1633 года стало ясно, что чума не унимается, деревенские старейшины стали держать совет. Они судили и рядили немало дней и в конце концов сошлись на совершенно необычной, по современным меркам, панацее. Они решили дать священную клятву, что если Господь спасет деревню от чумы, жи-

тели Обераммергау каждые десять лет своими силами будут давать миракль о Страстях Христовых — о страданиях и смерти Иисуса Христа. То есть, в буквальном смысле (как писал в том же XVII веке поэт Пауль Герхардт), „пусть будет мне опорой в смертельной маяте тот чистый лик, который нам светит на кресте".

Старейшины торжественно дали эту клятву перед алтарем деревенской церкви в день святых апостолов Симона и Фаддея 27 октября 1633 года. И, как гласит хроника, после этого в Обераммергау от чумы не умер ни один человек.

В то время по Германии еще, может быть, более страшной черной смертью, чем чума, бушевала Тридцатилетняя война. Как раз в 1634 году, 25 февраля, в Эгере был убит Валленштейн со своими соратниками. По стране бесчинствовали орды ландскнехтов, горели деревни, в руинах стояли города; как писал Андреас Грифиус, повсюду были „огонь, чума и смерть... Но что позор и смерть, что голод и беда, пожары, грабежи и недород, когда сокровища души разграблены навеки?" И вот, в годину смерти и разрушения, жители Обераммергау решили сберечь свои „сокровища души" и истово взялись за подготовку своего миракля. Поначалу многие скептически говорили, что это, конечно, воздушный замок. Но, как сказал Торо, „если вы строите воздушные замки, труд ваш не пропадет даром: в воздухе им и место, только подведите под них фундамент". Жители Обераммергау подвели фундамент под свой воздушный замок и построили его: миракль о Страстях Христовых был поставлен и сыгран на алтаре местной церкви в пасхальные праздники 1634 года.

Если бы тогда кто-нибудь предсказал, что этот миракль проживет 350 лет и завоюет мировую известность, жители Обераммергау первыми бы, наверно, рассмеялись ему в лицо. Поначалу миракль был очень скромным представлением: в нем участвовало всего около 80 человек, включая толпу, и единственными зрителями были сами же жители деревни да монахи соседнего, в пяти километрах, Эттальского монастыря, которых в деревне всегда считали земляками. Из монастырской же библиотеки была взята пьеса, положенная в основу спектакля, — мистерия, написанная монахами бенедиктинского монастыря Святого Ульриха в Аугсбурге. Через десять лет неизвестный компилятор сделал гибрид из этой мистерии и пьесы на ту же тему аугсбургского мейстерзингера Себастьяна Вильда — поэта и портного. А позднее жители решили, что уж если делать спектакль своими силами, так и автор пьесы должен

быть свой; и в 1662 году директор местной школы написал новую пьесу (правда, включив в нее много отрывков из первых двух пьес). С тех пор все последующие тексты писали только местные авторы.

За сорок лет миракль приобрел уже какую-то известность в округе, и на него стали приходить жители окрестных деревень. В 1674 году маленькая местная церковь уже не вместила всех желающих посмотреть представление, и поэтому было решено повторить его в 1680 году, а для этого построить перед церковью, на открытом воздухе, специальные подмостки. И начиная с 1680 года, миракль исполняется в год, оканчивающийся нулем.

В XVIII веке молва об обераммергаусских „Страстях" стала разноситься по Баварии, и на представления начали прибывать зрители из более дальних мест — из долин Леха и Изара и даже из Аугсбурга и Мюнхена (большая часть их, конечно, приходила пешком). Спектакль с каждым десятилетием обогащался и усложнялся. В 1680 году было добавлено одиннадцать вставных песен. В 1750 году прежний текст был окончательно отброшен, и в основу спектакля легла новая пьеса, которую написал отец Фердинанд Рознер из Эттальского монастыря. Пьеса носила символический характер — там действовали не живые персонажи, а аллегории, — и, помимо прозаического диалога, в ней были пространные отрывки, написанные стихами. Затем, для сезона 1780 года, отец Магнус Книпфельбергер написал новую пьесу, которая игралась и в 1790 и в 1800 году. Совершенствовалась и сцена: в 1730 году в центре открытых подмостков был построен крытый „ящик" для исполнения камерных сцен. Кстати, если в XVII веке спектакль каждый раз давался один раз, то в XVIII веке наплыв зрителей потребовал уже двух, а с 1780 года — и трех представлений. В 1800 году сезон был прерван после третьего представления из-за наполеоновского нашествия, поэтому в 1801 году труппа дала еще три дополнительных спектакля.

В 1810 году баварский король Макс-Иозеф I запретил „Страсти Христовы", найдя в тексте пьесы идеологические недостатки (знакомая история!). Потребовался новый текст, и этот текст на скорую руку написал преподобный доктор Отмар Вайс из Этталя. Его пьеса была поставлена „вне расписания" в 1811 году и выдержала семь представлений. Но взыскательные жители Обераммергау решили, что, сочиняя пьесу в большой спешке, Вайс, как говорится, подкачал, и они потребовали, чтобы он переделал свой текст. В

переработанном виде пьеса Вайса была поставлена, также „вне расписания", в 1815 году. Должно быть, пьеса все же была не шедевр, и в 1845 году ее кардинально переделал другой эттальский монах — отец Иозеф-Алоис Дайзенбергер. Этот текст в почти неизмененном виде исполняется и по сей день (если не считать „национально-идеологических" изменений, о которых речь ниже).

Кроме того, в начале XIX века спектакль обогатился важным новшеством — хорошей музыкой: ее написал местный учитель, а также органист и руководитель церковного хора Рохус Дедлер — автор многих кантат, месс, ораторий и гимнов, некоторые из которых исполняются в Германии и по сей день. Музыка Дедлера к „Страстям Христовым" — это уже не просто несколько вставных песен, а серьезная, сложная и очень талантливая музыка: две увертюры, много хоров, дуэтов, арий (вся музыка Дедлера к „Страстям" — это сейчас две большие долгоиграющие пластинки). И что характерно, Дедлер создал не простенькие „зонги", адаптированные для певцов-любителей, а настоящую сложную музыку, требующую большого инструментального и вокального мастерства: как видно, Дедлер знал, что его односельчане с этим справятся. В 1950 году музыку Дедлера заново оркестровал профессор музыки Ойген Папст — также уроженец Обераммергау.

Слава обераммергаусских „Страстей" продолжала шириться, и соответственно росло число зрителей. В 1820 году было дано уже десять представлений, и с каждым годом их число увеличивалось, пока в 1910 году не достигло пятидесяти шести. Еще до того, в 1890 году, в Обераммергау была построена более совершенная сцена, со всякой хитроумной театральной механикой, и эта сцена дожила до 1930 года, когда были построены сцена и зал, описанные в начале нашего очерка.

Жестокий удар по обераммергаусскому мираклю нанесла Первая мировая война. Шестьдесят семь потенциальных участников спектакля не вернулись с фронта или вернулись калеками, и о сезоне 1920 года нечего было и думать. Сезон был перенесен на 1922 год, и тогда пьеса выдержала шестьдесят семь представлений (кстати, на одном из них побывал Лион Фейхтвангер, который описал этот спектакль в своем знаменитом романе „Успех"). В 1930 году представлений было дано уже восемьдесят. В 1934 году, „вне расписания", был дан юбилейный спектакль в ознаменование 300-летия со дня первой постановки „Страстей". Но в 1940 году, разумеется, жителям Обераммергау было не до спектаклей. Зато

в 1950 году, несмотря на послевоенную разруху и бедность, „Страсти" были поставлены снова и имели небывалый успех, выдержав восемьдесят четыре представления; многие восприняли этот спектакль как символ возрождения немецких культурных традиций после национальной катастрофы, к которой привела нацистская диктатура. В 1960 году было дано восемьдесят шесть представлений, в 1970 году — девяносто восемь, и в 1980 году — сто.

За почти триста пятьдесят лет своей сценической истории „Страсти Христовы" в Обераммергау приобрели мировую известность. Очень нередко на спектакль приезжали, среди прочих зрителей, короли и президенты, политики и генералы, писатели и музыканты, художники и ученые из Германии и многих других стран. В разные годы в зрительном зале сидели такие знаменитости, как Франц Лист, Федор Иванович Тютчев, Рихард Вагнер, Антон Брукнер, Франц фон Ленбах, Алексей Константинович Толстой, Макс фон Петтенкофер, Оскар фон Миллер, Александр-Гюстав Эйфель, Гельмут фон Мольтке, Генри Форд-старший, Уильям Говард Тафт, Дэвид Ллойд-Джордж, Герберт Гувер, Томас Манн, Рабиндранат Тагор, Макс Планк и многие другие. Однако только после Второй мировой войны — точнее, в 1960 и 1970 годах — возможности заграничных путешествий настолько расширились, что из-за границы стали приезжать уже не только сильные мира сего, но и простые люди, и иностранцы начали составлять довольно значительную часть публики. И отчасти в связи с этим (точнее, видимо, в связи с тем, что в 1960 и 1970 году в Обераммергау стали приезжать евреи из США и из Израиля) вспыхнул скандал, и обераммергауский миракль приобрел славу, которой его создатели не домогались: их обвинили в пропаганде антисемитизма.

Израильтянин Давид Плотник, побывавший в Обераммергау в 1970 году, по его словам, „ужаснулся, когда увидел, что спектакль рисует евреев как порочных людей, потворствующих убийству Христа" („Джерузалем Пост", 2 августа 1979). Вернувшись в Израиль, Плотник начал кампанию за то, чтобы убедить жителей Обераммергау восстановить в правах пьесу Рознера, которая, на его взгляд, „рисует евреев как представителей человечества, мечущихся между небом и адом, и показывает, что не все евреи были порочны, алчны и враждебны Иисусу". Одновременно с Плотником кампанию против обераммергауского миракля начали Антидиффамационная Лига „Бней-Брита" и Американский Еврейский Комитет. Внести изменения в миракль порекомендовал и Второй

Ватиканский Собор, который снял с евреев вину за гибель Христа и призвал католиков бороться с антисемитизмом (большинство жителей Обераммергау — католики).

Поскольку я не видел спектакля 1970 года, я не могу судить, насколько справедливы были обвинения, и поэтому я изложу их в том виде, в котором о них сообщалось в печати.

Во-первых, говорили противники спектакля, в пьесе Вайса и Дайзенбергера всячески обеляется Понтий Пилат, пытавшийся спасти Иисуса, и вина полностью возложена на Кайафу и Аннаса, настырно вымогавших у Пилата согласие на казнь Иисуса, и на еврейскую толпу, которая вынудила Пилата дать это согласие.

Во-вторых, в спектакле создается впечатление, что вся еврейская толпа, собравшаяся в крепости Антония (где помещалась иерусалимская резиденция прокуратора Иудеи) была единодушна в своей ненависти к Иисусу — и не нашлось евреев, которые бы ему симпатизировали.

В-третьих, некоторые персонажи пьесы произносят антиеврейские реплики. Так, Пилат говорит толпе, требующей казни Иисуса: „Кровавое проклятие на вас и на детях ваших!" А римские легионеры, ведущие Иисуса в застенок, называют его „еврейской свиньей", „грязным евреем" и тому подобное.

Возможно, были и другие доводы, но во всех статьях, которые я читал на эту тему, в разных вариациях повторялись лишь эти три.

Так или иначе, но несколько лет в Обераммергау кипели страсти уже далеко не Христовы. Жители разделились на два лагеря: на тех, кто ратовал за возвращение к пьесе Рознера (главой этого лагеря был Ганс Швайгхофер, игравший Иуду в 1950 и 1960 годах), и на тех, кто предпочитал внести поправки в пьесу Вайса и Дайзенбергера (этот лагерь возглавлял Антон Прайзингер, который в 1950 и 1960 годах играл Иисуса, в 1970 году был режиссером спектакля, а сейчас играет Симона из Вифании). Любопытно, что почти никто не требовал сохранить status-quo: все согласились с необходимостью перемен.

Основным — а по мнению многих, и единственным — достоинством пьесы Рознера было отсутствие в ней антисемитизма; эту пьесу одобрил и Американский Еврейский Комитет. Впрочем, некоторые (например, режиссер Ганс Майер) считают, что пьеса Рознера — гораздо более антисемитская по своему характеру, чем пьеса Вайса и Дайзенбергера: воистину, что для одного хлеб, то для

другого яд. Главное же возражение против пьесы Рознера заключалось в том, что это — плохая пьеса. Большинство жителей деревни склонялось к тому, что следует сохранить пьесу Вайса и Дайзенбергера, внеся в нее необходимые изменения. Однако муниципалитет — то ли уступая совместному ватиканско-еврейскому давлению, то ли по собственному разумению — требовал возвращения к пьесе Рознера. По требованию муниципалитета пьесу Рознера уже даже начали репетировать, что вызвало возмущение многих жителей Обераммергау: ведь муниципалитет знал, что большинство жителей — против возвращения к пьесе Рознера, и поэтому когда муниципалитет своевольно приказал начать ее репетировать, это было воспринято как антидемократическое выкручивание рук. „Ужас что было! — вспоминал один житель деревни. — Все перессорились. Я знаю парня, который до сих пор не разговаривает со своим отцом". На муниципальных выборах 1977 года вопрос о выборе пьесы был главным пунктом предвыборной кампании и привел к „падению правительства". Жители деревни прокатили на вороных прежний муниципалитет и выбрали „антирознеровцев", которые, вняв „гласу народа", распорядились прекратить репетиции рознеровской пьесы.

Однако, коль скоро почти все были согласны, что пьеса Вайса и Дайзенбергера требует изменений, для внесения этих изменений был создан специальный комитет, который возглавили Ганс Майер и эттальский монах отец Грегор. Комитет расширил роли некоторых персонажей-евреев, которые были друзьями и защитниками Иисуса. В толпе, собравшейся в крепости Антония, решено было выделить группы евреев, симпатизирующих Иисусу. Из текста пьесы были выброшены все антиеврейские реплики, кто бы их ни произносил. Но зато в прологе, в обращении к зрителям, появились строки: „Привет вам, о братья и сестры из народа, породившего Спасителя!" Эти и другие изменения удовлетворили большинство критиков. Тем не менее, наиболее радикальные приверженцы пьесы Рознера — в том числе и Ганс Швайгхофер — до сих пор считают, что этих изменений недостаточно. Противники Швайгхофера не без ехидства заявляют, что для идеальной переработки пьесы нужно просто-напросто заново написать Евангелие, чтобы, например, казни Иисуса прежде всего потребовал Пилат, а Кайафа был бы истовым христианином.

Чтобы уже не возвращаться потом к этой теме, я позволю себе забежать вперед и рассказать кое-что о том, каким образом преж-

ние противники миракля восприняли постановку 1980 года, уже после внесения всех поправок.

Мне неизвестны все высказывания, я не знаю, что думает Плотник, и я слышал, что некоторые былые критики теперь удовлетворены. Но вот что думают руководители Американского Еврейского Комитета и, в частности, его национальный директор по межрелигиозным связям рабби Марк Танненбаум.

Передо мной номер газеты „Сент-Луис Джуиш Лайт" от 18 июня 1980 года. Как явствует из этого номера, Танненбаум и несколько других американских евреев, посмотрев отредактированный спектакль, пришли к выводу, что он все еще является антисемитским, хотя и в меньшей степени, чем прежде. Каковы же их аргументы?

Роберт С. Джейкобс из Чикаго прежде всего протестует против тенденциозных, по его мнению, костюмов: „Еврейские первосвященники, раввины и фарисеи, — говорит мистер Джейкобс, — одеты в тяжелые восточные одежды, у них густые бороды, на головах у них что-то вроде тюрбанов. Первосвященники и раввины носят митры, украшенные закругленными рогами; это приводит на память средневековое представление о дьяволе как об антихристе. Евреи показаны детьми тьмы".

Полноте, мистер Джейкобс, неужели вы это серьезно? Неужели вы до такой степени не понимаете природы театра? Кайафа, Аннас и их сторонники — это отрицательные персонажи. Вы хотите, чтобы им было придано благородное обличье? Стариннейший метод театральных художников еще, наверно, со времен Эсхила — по возможности подчеркивать характер персонажей характером их внешнего облика и, в частности, внешним видом их костюмов (еще в древнегреческом театре персонажи-злодеи надевали страшные маски). Что же удивительного в том, что облик отрицательных персонажей вызывает неприятные ассоциации? Они ведь — „дети тьмы" (и отнюдь не все евреи). По логике мистера Джейкобса, художник, например, спектакля „Гамлет", который обрядил бы датского короля Клавдия и его „лукавых царедворцев", все сплошь датчан, в неприятные на вид костюмы, заслужил бы обвинение в том, что он — ненавистник датчан?

Логика мистера Джейкобса напоминает мне логику, скажем, тех советских школьных учителей или бухгалтеров, которые, увидев в кино глупого школьного учителя или жулика-бухгалтера, строчили в газеты гневные письма с протестами против клеветы на учителей и бухгалтеров. Мы, евреи, порой рвем и мечем, как толь-

ко в какой-нибудь книге встречаем среди персонажей несимпатичного еврея (за это обвинений в антисемитизме не избегли даже такие гении, как Шекспир и Диккенс). Но разве все евреи — ангелы с крыльями? Почему, например, Достоевский в „Игроке" спокойно вывел несимпатичного француза, не опасаясь обвинений в франкофобстве, а мы требуем к себе особенно нежного отношения? Этак люди могут подумать (и думают), что на нас шапка горит и мы в глубине души сами считаем, что мы — хуже французов. Для того, чтобы полностью удовлетворить мистера Джейкобса, нужно, видимо, действительно заново переписать Евангелие.

У рабби Танненбаума — более веские аргументы:

„Евреи показаны как люди, отвергающие Иисуса, и весь еврейский народ, согласно спектаклю, несет ответственность за его гибель".

Здесь я усматриваю намеренную фальсификацию, рассчитанную, возможно, на тех читателей, которые не были в Обераммергау. В спектакле сейчас намеренно и недвусмысленно подчеркнуто, что *не все* евреи — противники Христа. Но, кстати сказать, ведь если говорить честно, то в массе своей евреи и по сей день отвергают Христа, о чем рабби Танненбауму известно лучше, чем мне. Или он считает себя и своих прихожан христианами?

Рабби Танненбаум продолжает: „Первосвященник, члены Синедриона, фарисеи и народ Иерусалима и Израиля показаны как ненавистники Иисуса, ...в отличие от римлян, которые показаны как невиновные в смерти Иисуса".

Рабби Танненбаум, видимо, запамятовал, что в спектакле выведена солидная фракция евреев-доброжелателей Иисуса. Что же до римлян, то позвольте мне усомниться, что они в спектакле — невинные овечки. Кто, в конце концов, дал приказ распять Иисуса? Разве не Пилат? Пусть неохотно, пусть под нажимом, но он дал этот приказ. В России есть язвительное присловье: „Порядочный человек — это человек, который делает подлости неохотно". Но разве подлость, сделанная неохотно, — не подлость? Если римляне в спектакле непричастны к смерти Иисуса, то кто же на сцене в Обераммергау бичует Иисуса, кто конвоирует его на Голгофу, поднимает на крест? Разве евреи? Нет, римские легионеры во главе с центурионом Лонгином. Рабби Танненбауму следовало бы знать то, что знает Ганс Майер — да и любой школьник, проходивший историю древнего мира: распятие на кресте было традиционным *римским* способом казни; евреи же предпочитали забрасыва-

ние камнями: так был, например, казнен по приказу царя Ахава бедняга Навуфей. Кстати, почему бы на этом основании не обвинить в антисемитизме автора Книги Царств? Может быть, и вся Библия — антисемитская книга?

„Понтий Пилат, — продолжает рабби Танненбаум, — изображен как благородный, но слабый человек, легко поддающийся нажиму еврейской толпы".

Здесь рабби Танненбаум опять занимается неприкрытой фальсификацией в расчете на тех, кто не видел спектакля. Казни Иисуса требует не еврейская толпа, а специально отобранные клевреты Кайафы. Когда Пилат объявляет, что судьбу Иисуса должен будет решить народ Иерусалима, Кайафа говорит своим приспешникам: „Идите на улицы и собирайте наших приверженцев. А друзей галилеянина как следует застращайте, чтобы никто из них и носу тут не показал!" И приспешники Кайафы обещают вернуться „каждый во главе восторженной толпы". А Архелай злорадно добавляет: „Что ж, если Пилат хочет услышать глас народа, он его услышит!" Стало быть, казни Иисуса потребовал вовсе не народ, а „наиболее сознательные представители иерусалимских трудящихся", которые настолько же выражают мнение народное, насколько выражают его в наши дни те „представители общественности", что выступают на советских митингах с обличениями „отщепенца" академика Сахарова.

Далее: „Иисус изображен как противник иудаизма, а на самом деле он был по воспитанию евреем и всю жизнь исповедовал иудаизм".

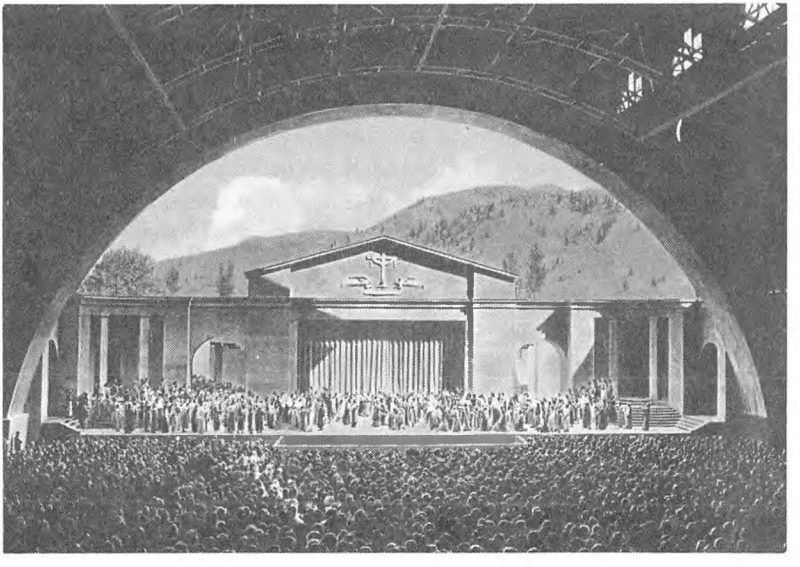
Мне не совсем ясно, что имеет в виду рабби Танненбаум. Лично я не нашел ни в тексте, ни в постановке никаких выпадов Иисуса против иудаизма (хотя в Евангелии такое встречается: например, слова о том, что суббота для человека, а не человек для субботы). Но даже будь в пьесе такие выпады, так ли это важно? Разве если человек противник иудаизма, то он обязательно антисемит? Яростными противниками иудаизма были многие основатели государства Израиль — истовые социалисты, которых и по сей день мутит от одного вида раввина. Да среди израильтян любых взглядов полным полно противников иудаизма. Разве все они антисемиты?

В том же номере газеты „Сент-Луис Джуиш Лайт" есть еще аргументация члена Антидиффамационной Лиги мистера Ната Камени, но мне, честно говоря, надоело цитировать; да и не смотрится мистер Камени после рабби Танненбаума. О серьезности доводов

мистера Камени свидетельствует хотя бы его жалоба на то, что плохие евреи в пьесе носят еврейские имена, а хорошие евреи — имена греческие. Уж не говоря о том, что большинство имен в пьесе вообще никем не выдумано, а взято из Евангелия (надо знать Евангелие, мистер Камени, прежде чем судить об инсценировке Евангелия), мистер Камени, видимо, считает, что такие имена друзей Иисуса, как Симон, Лазарь, Иосиф, Саломея, — это имена сугубо греческие, ни дать, ни взять, как Перикл, Эмпедокл или Архилох. Кстати, один из самых злобных врагов Христа носит в спектакле греческое имя Архелай. Что же до имен апостолов, то у них имена, конечно, греческие. Но что ж делать, если таковы они в Евангелии? Представьте, что вместо Петра на сцене появился бы человек по имени Эвен, — да зрители бы просто не поняли, кто это такой. И наконец в полное восхищение меня приводит неотразимый аргумент мистера Камени, что об антисемитизме создателей спектакля свидетельствует плохое качество английского перевода пьесы, предлагаемого в Обераммергау зрителям-иностранцам, не знающим немецкого языка. Умри, Камени, убедительнее не скажешь!

А теперь позвольте мне забыть про тех критиков, для которых нет искусства, а есть лишь идеология, и вернуться к искусству — то есть, к самому спектаклю.

(Окончание в следующем номере)



„УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА": ГЕРОИ И АВТОР

(Юрий Милославский. Укрепленные города. Часть первая — Собирайтесь и идите. Часть вторая — Верста Коломенская. "Москва-Иерусалим", 1980)

Эта странная и уродливая повесть, — быть может, лучшее из всего, что написано на русском языке в Израиле. Алия удостоилась своего памятника — кособокого и кривого.

Переезд лирического героя из Москвы в Иерусалим сказался на особенностях его зрения. Миросозерцание героя осложнено оптическим дефектом. Перспективы перекошены и смещены; спутаны Лод и Шереметьево; в Тель-Авиве заторчала полосатая коломенская верста. Все перемешано, как кадры разорванной кинопленки. Сюжет, спотыкаясь, скачет на одной ноге.

То, что я в силу некоторого терминологического педантизма величаю повестью, представляет собой хаотический агрегат сцен, решенных в разнообразных жанровых манерах. Ю. Милославский естественным образом тяготеет к малой форме (см., например, его отличные "Городские романсы"), точнее — к мизансцене. Здесь взгляд его зорок и пристален. Нельзя не похвалить автора за кошачью меткость многих наблюдений, за внимательное отношение к мелочам привычного быта, внезапно взрывающегося бурлеском. Превосходно сделаны описания пьянок, смешной "страшный сон" Анечки Розенкранц ("Спасибо, дочка, за день победы..."), встреча Липского с демоническими гебистами, разговор под песню "Я люблю тебя, Россия", допрос Володи Полторацкого и многое другое.

Мне кажется, гротескное выпячивание частностей за счет целого — не столько стилистический прием, сколько мировоззренческая позиция автора. Мозаичный метод изображения соответствует изображаемому хаосу. Это мир, развалившийся на тысячи кусков, по которым в панике снует лирический герой; мир кукольного театра, управляемого ошалелым Карабасом Барабасом. "Дайте же мне мягкую куклу, — доверительно шепчет рассказчик, — я, не забывайте, бывший актер кукольного театра имени Клары Цеткин, я надену куклу на руку (внутри горячо и сыро), надену, говорю, и покажу". И вот из дырки в полу выскакивает лилипут с пистолетом, знакомьтесь: Абрам Ошерович Тираспольский-Добролюбов-Чаговец. Персонажи, подчиняясь команде кукловода, привычно раздваиваются и растраиваются, чтобы затем слиться воедино. Из-за кулис, блестя глянцевыми щечками и кланяясь зрителям, вылезает полковник КГБ Джеймс Бонд. Его "Остин", в случае Государственной Необходимости, преобразуется в подводную лодку "Снегурочка-6". Герои мгновенно меняют паспорта, профес-

сии и повадки. В виде исключения они говорят "своим голосом", и тогда мы убеждаемся, что они ряженые: "Философ, блядь. Морда... марокканская, а рассуждаешь, как белый человек". Вместо образа — летучий эскиз, не портрет, а куски лица в балаганном гриме: "Глаза. Рот. Нос... Крупный нос".

С бутафорским треском раздаются балаганные оплеухи: "Валя Чаговец схватил Анечку за груди... толкнул на стенку, поднял, опять посадил и ткнул лицом в винегрет с постным маслом. Анечка начала плакать, а Валя за волосы выбросил ее в дверь". Потом Валю-Пьеро бил Арлекин-Ваня, а Анечка "собирала Валю с пола по кускам, складывала, подобно сказочной царевне, поливала живой и мертвой водой, — и он, наконец, оживал". Гебист Леша потащил чужую невесту, как куклу, за шиворот; мусора "сунули Плотникова в "газон" вверх карманами". И т. д.

Вообще, опознать в персонаже куклу нетрудно: у солидного психиатра Старчевского "детские пальчики на ногах, размер обувки не выше тридцать седьмого! Отдельные, полупрозрачные, с умеренными ноготками, лежали пальчики в открытой сандалии..."

Арлекиньими красками — красной и черной — размалевана автором Анечка-Коломбина — она же снегурочка и царевна: "И вернулась Анечка: платье красное было частично черным, а чулки черные — красными: от разбитых вдребезги коленок".

Мелькают в кукольной мастерской отломанные руки, ноги и "шнобели". Взгляд концентрируется на предметах, живущих своей, автономной жизнью: "Посмотрите, как великолепно он движется — предмет: сигарета, папироса любого сорта, какая-нибудь, черт ее знает, сигара". Безногий огрызок, стуча пластмассовым галстуком, насилует героиню. Другой отрезал соседке груди. Третий оскопил себя. "Перекошены плечи... вздут живот".

А вот то, что принято называть эффектом сломанной куклы. "Труба завершалась краном... в воде отмокали трусики. На длинном ремне, переброшенном через трубу... висела Анечка, одетая в мужчкой халат посекшегося синего шелка. Щеки Анечки были черны от краски, стекшей с ресниц". Хоронили же Анечку "в черном сатиновом мешочке, наподобие школьной торбочки для калош". С такою ходил рассказчик "на занятия до четвертого класса". Но на торбочке рассказчика "были вышиты имя-фамилия, а на Анечкиной — нет". Вот, пожалуй и вся разница.

Затем Анечка, повышаясь в литературном чине и получив статус Прекрасной Дамы, повадилась являться герою — "с белым личиком жасминного стекла, в душегрейке из сохранившейся посылочной шубы".

Все это не "извращение", а скорее творческая любознательность. Так ребенок ломает игрушку, стремясь познать ее устройство, а потом горько плачет.

Художественная позиция повествователя трогательно инфантильна. Герои кусают, облизывают и обнюхивают друг друга с младенческим или даже собачьим любопытством. Когда Верста случайно обозвала героя детской кличкой, тот, в приступе младенческой ностальгии, "заплакал, бросился на Версту... сдавил по ушам руками и стал мыть языком, вылизывать, захлебываясь... общими слезами и соплями". Это радость узнавания. Более колоритные цитаты насчет облизывания и обсасывания из застенчивости

опускаю; хочу лишь уточнить, что и "анально-сексуальные" сцены (Иван-Царевич, Мария Глушко), озадачившие читателя, очевидным образом связаны с главной инфантильной темой.

По-ребячьи удивленно ощупывает Виктор-Авигдор чужой, враждебный ему строй жизни, выпирающий экзотическими деталями и затуманенный в общих контурах. Израильский быт — только удобный предлог для повсеместной готовности видеть всюду непонятные загадочные хари — одновременно смешные и страшные (ср. "черный юмор" - очень, по существу, детские сказки Ю. Милославского).

Утрированно громко звучат в повести чужие голоса и чужие языки*. Сам лирический герой, как волк в сказке, легко меняет интонации и акценты. От своего, первого, лица он, ряженый, говорить не любит, охотно растворяется в общем гаме, а, появившись, подпевает другим.

В деревянном, мертвеньком мире ужасов он сам сходит за деревянного; соответственно, анализ личности героя принимает характер физического ее расчленения — то есть все того же кукольно-балаганного членовредительства. "Верста изо всех сил ломанула мне мизинец. А того не знала — не сказал ей, что ощущеньица болевые у меня понижены со дня Анечкиной смерти. Ломай, ломай".

Членовредительство в таком мире — аналог трупного разложения. Неудивительно, что у Авигдора "в доме кладбищем пахнет". Виной тому не тоска героя по покойной подруге, а художественный метод автора, за плечами которого болтается школьная торбочка. Симпатичные маленькие Франкенштейны, урча и с аппетитом дожевывая собственную ногу, расползаются из нее по всему пространству повести: "Ты веришь, я уже был мертвый..."

Прочие цветы вдохновения, не ведая стыда, растут прямо из экскрементов. Последнее обстоятельство вызвало, как известно, много горьких читательских нареканий. Между тем, если не придираться к простодушной склонности автора эпатировать публику и, с другой стороны, не обращаться за разъяснениями к д-ру Старчевскому, фекальную тематику можно оценить совсем иначе — творчески.

Поэтика "Укрепленных городов" напоминает поведение крошечных детей, использующих свои испражнения, так сказать, в художественных целях, вместо пластилина. Налицо творческая эманация в предельно точном значении слова. Ребенок буквально "из себя самого" создает предметный мир, что, по мнению психологов, возбуждает его исследовательские и эстетические интересы.

Фекальная основа, кроме того, придает персонажу повести ("говнусыну-говна") некую плотскую реалистичность, доступную проверке — на

* Характерно, что стремление к литературной точности перевода (замечательно передан израильский уличный жаргон) сочетается у Ю. Милославского с экзотическим остранением иврита, что обычно достигается за счет перевода буквального; действительно, очень смешон дословный перевод, например, передач израильского радио. Стоит ли, однако, злоупотреблять легким успехом-однодневкой? К сожалению, в заключительных главах "Версты Коломенской" бойкое смешение строя языков принимает местами прямо-таки лейкинские масштабы, и персонажи забалтываются до полного косноязычия.

вкус, на запах. Рулоном туалетной бумаги "молетт" отмахивается лирический герой от осаждающих его химер и привидений.

Экспериментальный интерес к реальности выгодно отличает "Укрепленные города" от молодежной прозы израильских и прочих зарубежных корреспондентов журнала "Юность". Конечно, молодежная проза тоже инфантильна (по определению), но ее инфантильность иного, худшего сорта. Молодежный писатель по-старчески слеп и глух. В искусстве изумленно-враждебное отношение к жизни дает гораздо более яркий эффект, чем томный нарциссизм лысеющего подростка.

Отсюда поразительный результат: голосом Юрия Милославского завыла, завопила, заматерилась несчастная наша эмигрантщина, прикинувшаяся было алией . Это ее растерянное и истеричное представление о мире, как о хаосе, невольно передал автор. Дыша перегаром, сгрудились вокруг повести убогие "прототипы" и, указывая на очередной обрубок-обломок, ликуют: "Это я! А это она!"

Здесь автору "Укрепленных городов" необходима сугубо экстетическая осторожность. Девицы, которые часто матерятся и редко моются (замоченные в мыльной воде трусики...), и не подающие надежд стихотворцы одобрительно смотрят, как социальный писатель Ю. Милославский расплевывается с сионистско-диссидентским прошлым.

Исходя из чисто эстетических установок, решаюсь предостеречь Милославского. Его сочинениям грозит опасность прослыть обличительными Записками суконного рыла о калашном ряде.

Вторая часть повести — тупик. В "Версте Коломенской" кукольная мелодрама уступает место газетной мистерии, а призрачная Анечка, идя навстречу социальному заказу автора, преображается в подпоручика Киже. Деталь, поданная в первой части крупным планом, во второй взывает к сатирическому обобщению. Журналистская готовность автора обличать и разоблачать (МИД, Министерство абсорбции, Голос Израиля) постепенно превращает повесть в то, что Набоков называл "доносом на квартальных"; причем израильский квартальный рассуждает почему-то слогом героев Зиновьева.

Это значит, что Ю. Милославскому не чужды морально-политические идеалы — и державные, и личные. Во мраке Анечкиной подворотни давно уже мерцает гладкая морда положительного героя. К счастью, в повести он закодирован лирическими намеками и вынесен за скобки (скверные стихи из обоих эпиграфов).

И, разумеется, не его потустороннее присутствие заставляет нас внимательно прочитать эту довольно сентиментальную книгу. Как заметил один наблюдательный поэт, "Бывает такое небо, Такая игра лучей, Что сердцу обида куклы Обиды своей жалчей".

Такая игра лучей иногда называется творчеством.

Михаил Вайскопф

СПИ СПОКОЙНО...

(В. Катаев. „Уже написан Вертер".
Новый мир, № 6, 1980, Москва)

Телефон был в полуотключке. Лишь звонки одного человека не знали технических условностей. Они настигали меня еще в дверях, — он знал, когда я возвращаюсь с работы. Жена, усталая и измученная нашей жизнью, говорила: „Опять твой..." Не звонил он лишь в те дни, когда у нас было очередное или внеочередное еврейское мероприятие. Вдруг — тишина. А через две недели в трубке опять жизнерадостный голос Бориса Ильича Куняева (и этот — поэт): „Знаете, я болел, но подумайте только — с кем вместе я лежал в палате! С Валентином Петровичем Катаевым!.."

„Учитель, научи ученика", — только и подумал я, давно оставивший надежды, как всяк входящий...

Вот и все мои личные воспоминания, связанные с „одним из старейших", возможно — и старейшим. Остальное — только его книги, статьи, выступления и подписи под письмами. Обо всем этом вы знаете не хуже меня.

Новую повесть Катаева прочитал случайно: в том же номере „Нового мира" — публикация Б. Л. Пастернака О повести старался ни с кем не говорить — приятного мало, скромно отвечал: „Нет, не читал". И вот — пишу о ней.

Сюжет повести несложен — арестован молодой человек, за него хлопочут, молодого человека отпускают, за что расстреливают и тех, кто хлопотал, и тех, кто отпускал, и тех, кто следил за ним. Сделано в уже привычном новокатаевском стиле, с выкивоками, закидонами, завитушками и строками из стихов Осипа Эмильевича Мандельштама — атмосферы ради. Как всегда, красиво, и для современного страдателя по передовой или модерной прозе — на, вот возьми ее скорей.

За простотой сюжета — примитивный расклад героев: бледный юноша из хорошего происхождения, романтически начитанный, его страдалица-мать, стукачка из бывших гувернанток с нерусским именем Инга, да несколько гнусных евреев — эсеры, троцкисты, злодейки-домохозяйки, словом — те, кто из своей жестоковыйности втянули русский народ и прилегающие к нему другие народы в междоусобную резню. Еще раз обращу внимание на дворянское происхождение почти невинной жертвы. Чуткий В.К. унюхал эту ностальгию по дворянству, ведь сегодня каждому девятому интеллигенту кажется, что именно он — почти из дворян (эту игру в почти-благородное происхождение вы найдете и во всех других

последних произведениях В.К.).

Говорят, повесть — антисемитская. И — приходится согласиться, ибо, если выкинуть „сохатые" (В.К.) лица, коверканные-исковерканные русские слова и всякое подобное, повести не будет вовсе. Весь постыдный интерес к ней, все напряжение — и на первый взгляд, и, очевидно, по замыслу Катаева — именно в этом. Есть там только одно небольшое отличие от неофициальных антисемитов: мои соплеменники играют роль не революционеров, а предателей революции. Вся эта возня меня мало занимает, как и мало задевают призывы покаяться. Я так думаю, что жить пора — нормальной, человеческой жизнью, а не загибать пальцы друг на друга.

Но есть в повести старейшего (или одного из старейших) герои, которые заинтересовали меня более всего — неясные лица, почти мистические фигуры исполнителей и осуществителей. Безмолвно вершат они. Цитирую: „Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись". Так и пляшут они по повести, безликие и бестелесные, разве иногда — деталь, штрих, почти ничего не говорящий. Ну, что еще? Проступающий в негативе Троцкий? А все же не описал их Катаев почти, хотя даже на совсем эпизодических и фамилий не пожалел. Боялся, что, проявившись, потянут за собой на свет и другие смазанные фигуры? И уж не его ли самого?

Спи спокойно, дорогой товарищ, с тобой и так все ясно и понятно. Спи спокойно, совесть тебя мучить не будет. Спи побольше — пиши поменьше.

И. Малер

ИСКУССТВО КНИГИ

(Булат Окуджава. „65 песен". Музыкальная запись, редакция, составление — Владимир Фрумкин, „Ардис", 1980)

„Вы пропойте, вы пропойте..." — поет Булат Окуджава.

Воспоем славу книге. Что может быть прекрасней? Вы скажете — женщина. Вы скажете — мелодия. Или скажете — вино. А поэт ответит вам: „Все во мне, и я во всем" (это Тютчев), — и поместит себя в книгу. Вы берете книгу (обойдитесь без остроты „имеете вещь!") — и в ваших руках покоится мир. Вот сквозь него под листвой летних лип идет по Москве троллейбус, вот стоит Окуджава, к кому-то полуобернулся, отвечая — „не нас калач ржаной

поманит", — но все это только обложка большой, во много страниц, отпечатанной в четверть листа, как бы нотного формата книги, а там, внутри ее и вдали — шестьдесят пять его песен, и нотные записи мелодий, и аккорды негромкой его гитары, и сам поэт, задумчиво глядящий с фотографий. Вы путешествуете с ним по этому миру, иногда гитара умолкает, и Окуджава, читаете вы, говорит негромко:

„Я не гитарист и не певец, я не умею писать ноты, и мои сочинения имеют мало отношения к эстраде. Ибо это *стихи,* которые я исполняю в сопровождении гитары. Я создаю музыку по памяти и сохраняю ее в памяти. Такая музыка, оказывается, придает спетым словам соответствующее настроение. Попытки специалистов положить мои стихи на музыку или оркестровать мои простые мелодии пока совершенно не удавались. Впрочем, для меня слова и интонация важнее, чем музыка. Может быть, я пытаюсь вернуться здесь к первоначальной, музыкальной форме поэзии".

Простые мысли излагает Окуджава, но сколь многие не понимали их, как долго оттирали его песни в тень подальше, чем, помимо других официальных лиц, занимались и советские музыковеды-идеологи (есть и такие). Из музыкантов первым и всерьез заинтересовался песнями Булата Окуджавы ленинградец Владимир Фрумкин. Он был их истинным пропагандистом, он тонко, умно и тактично исследовал природу особых свойств как самих песен, так и авторской манеры их исполнения. В. Фрумкин в своих работах (он занимался также песнями А. Галича, Новеллы Матвеевой и других поэтов-певцов) высказывал новое и весьма нестандартное. Основную его работу об Окуджаве в России так и не дали издать. Не первый подобный случай... Но вот лежит перед нами книга-альбом, книга — сборник стихов, книга — сборник нот, которую выстроил — составил и отредактировал — В. Фрумкин и в которой он впервые публикует мелодические записи и аккомпанемент наиболее известных песен поэта. Он же, составитель, написал и интереснейшее предисловие, он же решил и непростую композиционную задачу — поместил в книгу комментарии поэта и его фотографии, не нарушив этим стройность сборника, а напротив, еще более усилив эффект той интонации, о которой говорит сам Окуджава. Добавим, что все тексты дублируются в подстрочниках и переводах на английский.

Есть понятие, которое не очень часто вспоминается сегодня, в век массовой печатной продукции: „искусство книги". Это одно из прекрасных искусств, из тех, что пахнут вдохновением и потом старинного ремесла. Не часто появляются книги, сделанные именно с искусством, с любовью, с вдохновением. „65 песен" Окуджавы — из их не-

многого числа, и воспевая книгу, воздадим достойную долю хвалы тем, кто выпустил ее в свет.

Книга вышла в издательстве „Ардис", хорошо известном тщательностью и продуманностью своего выбора, высоким уровнем всего, что в нем выпускается. Появление в „Ардисе" таких книг, как, например, недавняя же великолепная „Фотобиография Цветаевой" и теперь вот альбом Булата Окуджавы, открывает в деятельности издателей новую своеобразную страницу. Можно только с благодарностью встречать такие работы, — ведь столь много дают они уму и сердцу!

Воспоем славу книге — „еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебный..."

Ф. Розинер

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА

А. Б. БАУР "ПОСЛЕДНЕЕ ПОТРЯСЕНИЕ ЕВРЕЕВ",
состоящая из трех частей: "Возвращение", "Израильский тупик", "Пред распутьем".
В книге раскрыты истинные причины подъема и спада алии из СССР в Израиль в свете советской и особенно израильской действительности. Автор глубоко убежден, что основные мысли, изложенные в книге, трансформированы Божественным Провидением.
Цена книги — 5 долларов в любой валюте. Заказы и чеки принимаются по адресу: А. Бедрицки, п/я 28065, Тель-Авив, Израиль.

Правление Фонда "Москва—Иерусалим" выражает благодарность репатриантам из СССР — жителям поселения Таль-Эль за активную поддержку и помощь, оказанную журналу "22".

Теперь, когда "22" остался единственным толстым русскоязычным журналом в Израиле, его независимое существование, как никогда прежде, зависит от активной помощи репатриантов из СССР.

Подписывайтесь на журнал "22" — трибуну свободной мысли русского еврейства в Израиле.

Книготоварищество "Москва—Иерусалим" объявляет подписку на 1981 год

на общественно-политический и литературный журнал

ДВАДЦАТЬ ДВА (№№ 17—22)

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
сенсационная повесть Джорджа Штайнера об охоте израильских разведчиков за Адольфом Гитлером в бразильских джунглях (пер. с англ.)
знаменитая пьеса самого спорного и шокирующего израильского драматурга, Ханоха Левина (пер. с иврита)
фантастическая повесть Станислава Лема о новых приключениях прославленного Йиона Тихого в мире психимического будущего (пер. с польск.)

В 1981 году — только в нашем журнале — Израиль, Россия, Запад:
юмористическая повесть Александра Гольдмана о славном городе Кишиневе
роман Владимира Соловьева о нечаянном бегстве из-за железного занавеса
новые произведения авторов Самиздата — "На той войне незнаменитой", "Полежаев и Бибиков", "Конец командировки", "Случай Зощенко"

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
главы из бестселлера знаменитого американского экономиста Нобелевского лауреата Милтона Фридмана "Рожденный выбирать"
главы из книги крупнейшего историка, консультанта Рейгана по американо-советским отношениям Ричарда Пайпса о русской революции

В 1981 году — наши постоянные авторы — очерки, статьи, эссе:
Александр Воронель, Майя Каганская, Наталья Рубинштейн, Нина Воронель, Эдуард Кузнецов, Дора Штурман, Михаил Хейфец, Юрий Милославский, Нафтали Прат, Исраэль Шамир, Виктор Богуславский, Юрий Меклер.

условия подписки до 1 июня 1981 г.

В Израиле: 200 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц); тем, кто подпишется до 1 мая — скидка 10%, т. е. подписка на год — всего 180 шекелей; организациям — 250 шекелей.
За рубежом: 29 долларов (организациям — 34 доллара); авиапочтой (за номер): в Европу — 3 доллара, США — 4 доллара.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на 6 номеров журнала "22", начиная с . . . . . .
Журнал высылать по адресу: . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ЭТОТ ПОДПИСНОЙ ТАЛОН И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ: "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: "22", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги:

ДЖОЭЛЬ КАРМАЙКЛ. "ТРОЦКИЙ" (300 стр.) — впервые на русском языке объективный рассказ о человеке, который был главной движущей силой октябрьского переворота в России. Книга читается как острый психологический детектив. цена 14 долларов

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. "МОРДОВСКИЙ МАРАФОН" (256 стр.) — дневники всемирно известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии; наблюдения и мысли человека, пережившего 16 лет лагерей, разделенных смертным приговором, и не утратившего вкус к жизни и трезвость взгляда. цена 10 долларов

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ" (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете; две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ.
цена 4 доллара

"КНИГА МАККАВЕЕВ" (128 стр.) — русский перевод с греческого античного оригинала, книга-хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью. цена 6 долларов

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. "УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА" (176 стр.) — опубликование в журнале "22" первой части этой горькой повести вызвало бурю споров в израильской и эмигрантской печати, что не помешало признать безусловный талант автора. цена 10 долларов

ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ" (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ", издание второе, переработанное и исправленное (192 стр.) — точная и насмешливая философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии интеллигента, сформировавшегося в советской России. цена 8 долларов

ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW–JERUSALEM", **СЛЕДУЕТ ВЫСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"**: "MOSCOW–JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.